

МАРК

АЛДАНОВ

САМОУБИЙСТВО

Марк Алданов
Самоубийство

«Public Domain»

1957

Алданов М. А.

Самоубийство / М. А. Алданов — «Public Domain», 1957

Последний роман М. Алданова «Самоубийство» охватывает значительный период от II съезда РСДРП до смерти Ленина: три революции, Гражданская война в России и Первая мировая война. Роман, по слову Г. Адамовича, убедителен и полон живого дыхания. Алданов передает облик самого времени и создает художественный образ Ленина, появляются и зловещие фигуры Сталина и Муссолини. Нетерпимость – объединяющее свойство, присущее всем революционерам, по мнению автора, – сила разрушительная, и именно она губит не только людей, но и саму страну, в которой происходят революционные преобразования. Писатель не скрывает своей мысли о преступности жертвовать миллионами жизней ради социального опыта. Роман был впервые издан в Нью-Йорке в 1958 году.

© Алданов М. А., 1957

© Public Domain, 1957

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	15
III	21
IV	29
VI	38
VII	44
Часть вторая	51
I	51
II	58
III	64
IV	71
V	74
VI	82
VII	85
VIII	88
IX	96
Часть третья	109
I	109
II	112
III	118
IV	123
V	126
VI	134
VII	138
VIII	142
IX	147
Часть четвертая	151
I	151
II	156
III	162
IV	169
V	173
VI	177
Часть пятая	179
I	179
II	182
III	186
IV	189
V	194
VI	198
VII	201
VIII	205
IX	210
Часть шестая	212
I	212

II	217
III	220
IV	223
V	225
VI	228
Часть седьмая	230
I	230
II	235
III	238
IV	242
V	246
VI	249
VII	251
VIII	254
IX	257
X	260
XI	263
XII	266
XIII	269
Часть восьмая	271
I	271
II	273
III	277
IV	283
V	285
VI	290
VII	292
VIII	295
IX	297
X	301
Послесловие	303

Марк Алданов

Самоубийство

Часть первая

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль русс»¹ в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

– ...Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

– Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

– Не оказалось? – с усмешкой спросил Рихтер. Это был невысокий, коренастый лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстуком, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдаемыми, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые иголкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня – это меня-то! – какой я «фХакции». Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся. – Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещенье в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, – назвал имя видного бельгийского социалиста:

– Он во всяком случае пригодится, очень любезный человек, – сказал Кольцов.

– Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

¹ «Грязный русский» (*франц.* sale russe).

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров; еще не так давно в Лондоне его мучила «зона». «Неужто начнется опять!» – думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде, она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у миноги, чтобы на небо лезть». – Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла Володей. Даже люди, бывшие с ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его «Владимир».

– Этот съезд очень важен... Он собственно представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет, – сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

– Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! – сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег!

– Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор», – сказал он. – Хозяин этой гостиницы член партии и мой приятель, он верно сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

– Я вас провожу, Владимир Ильич.

Нанял извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, выдавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

– Почему же будете нести вы? Я покрепче вас, – сказал Ленин нетерпеливо, и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

– Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде, – сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

– Я еще точно не знаю соотношения сил, – уклончиво ответил Кольцов. «Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» – сердито подумал Ленин.

– Соотношение сил уже известно, – сказал он как бы равнодушно. – «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южнорабоченца, шесть болота, остальные искряки.

– Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? – вставила Надежда Константиновна. – Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

– А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? – поспешил перевести разговор Кольцов.

– Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд, наконец, выявит свою личину! Во всяком случае в Феклу ни одного из этой компании не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са², – сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Феклой» называлась редакция «Искры».

– Они и не претендуют на это, – сказал Кольцов обиженно. Он смутно – и совершенно неосновательно – подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме. – Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

– Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант», – насмешливо подумал Ленин.) – Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

– А если они уйдут со съезда?

– Скатертью дорога, – сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Неприменно раньше поставить вопрос о Бунде», – решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

– У вас, Владимир Ильич, верно еще и нет бельгийских денег?

– Есть деньги, разменяли на вокзале, – сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг, – очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

– Я разберу вещи. Да и работа есть, – сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

– А мне надо бежать, – поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

– Бегите, – с готовностью согласился Ленин. – Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

– Не надо, никакой прописки не требуется, – объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер – он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов – уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо «Тройственным союзом»: Ленин – Мартов – Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов – Аксельрод – Засулич. Но, как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести – это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советниками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

– Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления, – сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ. – А что, этот амбар отсюда далеко?

² Все, что хотите, только не это (*франц.* Tout ce que vous voulez, mais pas de ça).

– Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

– Какие любезные! Если недалеко, пойдём. Ты ведь, Надя, тем временем разберёшь вещи?

– У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашенных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

– Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

– Для себя они, небось, нашли бы помещенище получше, а? – говорил Ленин, продолжая хохотать. – А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля» или «Империаля» или там «Континенталья». Это для дрекгеноссов-то, а? – Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. – За амбар гехеймраты³ с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: гехеймраты всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, с «саль рюсс», можно не считаться. – Он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. – Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет денег. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневаётся... Дайте, посидим, передохнем, – сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

– Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич, – сказал Кольцов, тоже садясь.

– Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово, верно что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклициание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком много боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из важных. Вот Потресов тот действительно генеральский сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется, – сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало ввернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы ввернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера, – он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. В вожди

³ Тайные советники (нем. Geheimrat).

он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съезживался: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» – подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренно считали добрым, милым, благожелательным человеком. Он был «Ильич»; Плеханов никогда не был «Валентинычем».

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдавливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

– ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, – сказал он якобы с грустью. – Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, это устав и выборы, в частности выборы редакции «Искры».

– Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек, – поспешно сказал Кольцов. Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («Тоже никогда не сделал бы Плеханов».)

– Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, – сказал он. Хотел было сказать: «вы умный человек», но язык не выговорил. – Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка! Вдобавок, почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич давно песок сыплется...

– Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

– Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат⁴: он, Плеханов и я. Прелесть что за журнальчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

– Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый, – сказал он мягко. Лицо Ленина искажилось бешенством. У него покраснели скулы.

– Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин-де нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия не дом терпимости!

– У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

«Но я болван», – мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «кулак» и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

⁴ Сожительство (*лат.* concubinatus).

– Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и не интересны! Вы можете оставить их при себе! – сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его поручениями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забежала). В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

– Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

– Пиши, я подожду, – сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык; быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно «беззаветно». Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

– Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

– Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! – сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомойник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце Инвалидов; рядом, с взволнованными исторической сценой лицами, стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории, – читал он. – Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Викторией заканчивается в истории, по крайней мере, в Европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлось на том, что настал, наконец, для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы. («Экое, однако, дурачье! Пора бы им в желтые домики», – думал он, читая с искренним наслажде-

нием.) Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим, в частности, то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Thank you, Kaiser!»⁵ (Ленин непристойно выругался). Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же Осборнская трагедия нашла и у...»

– Бундовцы уйдут, и черт с ними! – неожиданно сказал Ленин. Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем без особого удивления: знала его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

– Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны, – ответила она.

«*Sans vibrer à l'unisson*»⁶, – пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль Дешанель. «Какой еще к черту Дешанель, будь он трижды проклят?» – подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обеих королев.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет, «зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в Лондоне; сам чувствовал на лице измученное выражение – на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствующая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь «зоны» могу околеть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «Королева». – «Третья!.. Нет, это совсем не то!» – радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству...» В свите были и люди, погибшие 11 июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топо-

⁵ «Спасибо, император!» (англ., нем.)

⁶ «Не колеблясь в унисон» (франц.).

ром двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии...»

Он разыскал на обложке Лазаря Петровича. «Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны». Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкаф с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». – «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой Драге», – подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал, видимо, щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень, видно, «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации. Лучше всего было бы, конечно, если бы единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольные», – люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: «диктатура!» Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе а ла Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок, так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам назвал их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуетодиномышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглым дураком», Троцкого «шлемцом», «негодяем», «сим мерзавцем»; «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дряненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще когда-либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, – бывший Иегудиил Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: назвал только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книжки же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурился глазами» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников в сущности не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком *rechthaberisch*⁷, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длинном наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, – ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен. Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырёх человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова: он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоел со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску...»

– Кончила! – радостно объявила Надежда Константиновна. – Теперь будем пить чай!

– Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он – и только он – уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, – разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольничьих.

– Разрешили вскипятить воду и дали чашки, – сказала Крупская, вернувшись с подносом. – Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердись?

– Не сержусь, – рассеянно ответил он.

– Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

⁷ Неуступчив (нем.).

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

– Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, «за компанию» с тобой, – говорила она.

– Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхдженгльменами», – иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорытна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму, с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, – писал он, – но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне совестно отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги, как «долг», уж если ты такой гордый чудаки и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачивающуюся работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

– Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

– Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

– Это у них восторга не вызовет.

– Я давно примирилась с тяжелой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

– Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

– Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуйста, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

– Партия занимает слишком много места в твоей психике.

– Хорошо сравнение! Впрочем, делай как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запиравшийся чемодан. По выработанной Людой конституции, вещи всегда укладывал он. Все уло-

жил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг, – в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

– Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи наконец хороший мэдлеровский чемодан! – нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то...» Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал, – «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадами. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

– Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать!

– Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне, прочел надпись «Париж – Вентимилия», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним.

– Кулька с провизией в сетку не клади, положи на скамейку, – сказала она. – Посидим на перроне, здесь душно.

– А не стащат чемодана?

– Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится.

На перроне они заняли места на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу.

– Первая из пяти, полагающихся по моему правилу в день.

– У тебя на все правила! Разве так нужно жить человеку, да еще в двадцать девять лет?

– По-моему, именно так, и в двадцать девять лет, и в семьдесят девять... Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала.

– А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена – просто, а «гражданская». Это к ее герцогскому стилю и не идет, они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому «лучшему» обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому что она еврейского происхождения, хотя и крещеная...

– Их общество не «так называемое», а в самом деле лучшее: цвет московской интеллигенции. И в нем о происхождении никто не думает, – сказал Рейхель без убеждения в голосе: он недолюбливал евреев.

– Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга.

– Вспомнила однако именно ты, хотя ты принадлежишь к «революционному кругу».

– Я, конечно, пошутила. Но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать? Как тебе должно быть давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами.

– На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни.

– А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве: может быть, хозяйева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Со всем тем, я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, он в буржуазии белая ворона.

– То-то и есть, что ты всю буржуазию не любишь.

– Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое, он из лучших представителей своего класса и поэтому...

– Какой там класс! – сказал Рейхель, не дослушав.

– Да, да, знаю, никаких классов нет, и социологию вообще кто-то выдумал, а есть только биология, – сказала Люда пренебрежительно. – Но вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он, наверное, много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих. Как это Татьяна Михайловна не заезжает на этот раз в Париж, к своему Вороту? – насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она, впрочем, и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера завивала волосы щипцами и «притиралась» (не принято было говорить: «красилась»). На ней и теперь, с утра был элегантный синий жакет с модной длинной расширявшейся книзу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что «признает и абсолютную красоту, и условную красоту». Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла. – Смотри: Джамбул! – вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами (Люда быстро-внимательно их оглядела). Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое – «из тех, что называют породистыми, а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. «Что еще за субъект?» – с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич. – Какая неожиданная встреча! Вы не знакомы: Рейхель. Джамбул.

– Очень приятно познакомиться. Я о вас слышал... Да, очень приятная неожиданность.

Он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода.

– Вы уезжаете?

– Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу... Откуда вы?

– Из Фонтенбло. Что Ленин?

«Значит, и этот из их компании», – с еще большим неудовольствием подумал Рейхель.

– Ильич? Ничего, все благополучно.

– Это нехорошо, человек не должен жить благополучно, – сказал, смеясь, Джамбул. – Готовится к съезду?

– Готовится. А что вы? Получили мандат?

– Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду.

– Мы вам устроим совещательный голос.

– Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков. Не люблю и голосовать.

– Ось лихо! У меня у самой будет только совещательный.

– Вы другое дело... У вас отличный вид. Еще похорошели. И так элегантны, – сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами; но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее «нахальной». «Глаза у этой Люды красивые, хоть «ложно-страстные», – определил Джамбул.

– Мерси. Меня обычно бранят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?

– Еще не знаю. Разрешите к вам зайти?

– Буду искренно рада. Вы всегда так интересно рассказываете.

Рейхель зевнул демонстративно. Джамбул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой.

– Кто такой? – спросил Аркадий Васильевич. – От наружности впечатление: не дай Бог ночью встретиться в безлюдном месте.

– Ну вот, ты так всегда! Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров. С годами ты станешь черным реакционером!.. Он очень мне нравится. Красивый, правда? И вдобавок, геркулес, хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды! Говорят, он с кем-то побратим! Ты знаешь, что это такое? Один разрезывает у себя руку, другой выпивает кровь, и с тех пор они братья до могилы!

– Я не знал, что этот обычай принят у марксистов, – сказал саркастически Рейхель. – С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым?

– Дурак! С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут.

– Наверное, врут и с его же слов. Всех перевешать! – сказал рассеянно Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу ни к городу произносил эти бессмысленные слова; впрочем произносил их довольно мирно.

– Сейчас всех своими руками перевешаю.

– Как ты его назвала? Джамбул?

– Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш, или что-то в этом роде, во всяком случае мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство? – спросила, смеясь, Люда. – И какой учтивый, это у нас редкость... Ну, вот, кричат «En voitures!»⁸. Садись поскорее. Я тебе в кулек положила сэндвичи, пирожки, яблоки. С голоду не умрешь. А то выброси кулек за окно и пойдешь в вагон-ресторан, я непременно так сделала бы. Ну, счастливого пути, Аркаша!

Они поцеловались.

– До свиданья, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать и обедать. Не экономь на еде, лучше умори голодом проклятую кошку...

– Типун тебе на язык!

– «Нехай вина сказытсья». Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я. Или как римский папа. Умоляю тебя, не работай ни на кошку, ни на партию, нехай и вина сказытсья.

– Отстань, нет мелких, – сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки. – Как это я еще тебя терплю?

– Грозное «еще».

– Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу. Так и быть, кланяйся и его герцогине. И не забудь исполнить мою просьбу о Морозове.

– Исполню, но с проклятьями.

Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала, с воздушными поцелуями после отхода поезда, она не соблюдала. Своей быстрой энергичной походкой – всегда казалось, что она бежит, – прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко, в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города. «Разве выпить здесь чашку кофе?»

⁸ «По вагонам!» (франц.)

В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. «Разумеется! Если б еще мы были жоресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге».

К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьи: «Бозе мой, Бозе мой, мы такие симпатичные, мы хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слизнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету? Не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет, ему и это будет полезно для развития классового сознания. К какому классу принадлежат гарсоны?.. Аркаша, верно, уже погрузился в свой ученый хлам...»

Она еще называла его «Аркашей»; в третьем лице, в разговорах со знакомыми, говорила «Рейхель». «Неподходящее было дело», – думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления: вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. «Сошлись, ну и сошлись. Он верно про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение: тогда очень долго не имел женщин, что ли? Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию».

Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу. – «Это, кажется, проповедует ваша товарищ Коллонтай... Как, кстати, о ней говорить: «ваша товарищ» или «ваш товарищ»? – «Мне все равно, кто что проповедует! Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом товарищ!» – «Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я впрочем никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильярный чин. «Виц» был гораздо естественнее». – «Хорошо, но, возвращаясь к делу, я тебя честно предупреждаю: если ты мне надоешь, то...» – «А почему тебе не сказать: «если я тебе надоем, то»? – «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный. «Не умный и не глупый. Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обидов, с герцогиней Ласточкиной, *née Kremenetzky*⁹. Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц. «Да еще теоретически знаю, как варят борщ, – говорила она знакомым, – но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом вдобавок изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике и тогда становится очарователен». Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую.

Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании. Оно шло прекрасно. «Верно вызовет шум. Но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. Конечно, скажут: «Нет, молод, пусть поработает лаборантом». Идти в лаборанты ему очень не хотелось. «Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо! Но и тогда верно скажут, что молод!» В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятельным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!»

На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность: запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства, а случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал, и он старался развивать

⁹ урожденная Кременецкая (франц.).

свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно «гелертером»¹⁰, и это его раздражало. «Ну да, если человек занимается наукой и не интересуется социал-демократическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит «гелертер»! На самом деле даже непохоже. Меня действительно не интересуют средние люди, но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Бэконе. Даже материалы стал изучать», – сказал он как-то Люде. – «А кто такой Роджер Бэкон? Спрошу Ильича, что он думает о Роджере Бэконе». – «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал. Ты у меня спросила бы, я рассказал бы тебе в свободное время». – «Ильич не слышал! Нет вещи, которой Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое». – «В этом я ни минуты и не сомневался!» – Это было их общее выражение, всегда произносившееся обоими с некоторым вызовом.

Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший против него со странно заложенными позади головы руками. «Нормальный человек так спать не может, да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно, точно я не существую». Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. «Позаботилась Люда!.. Собственно я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно, не могу упрекать ее и в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них этаких Джамбулов. Впрочем, не хорошо так думать, это не по-джентльменски». Он выбросил за окно пустой кулек, опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал.

¹⁰ Ученый (нем. Gelehrte).

III

На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова.

– ...Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. Ну, как ты? Вид у тебя усталый. Переработался? За год ты еще похудел. Брал бы пример с меня.

– Да, ты немного полнеешь. Ты стал еще больше похож на Герцена, – сказал Аркадий Васильевич. – Люда шлет сердечный привет вам обоим.

– Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать! Какое безобразие, что она не приехала! Что это за довод, будто она очень занята! Мы ее год не видели.

– Скоро мы вернемся в Москву.

– Да, но это не резон. Так хорошо провели бы с ней время в Монте-Карло... Хорош и ты! Приехал в третьем классе! Просто беда с вами... У тебя нет ничего в багажном вагоне?

– Ничего нет, я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим.

– Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером, ешь лучшие поезда...Porteur!¹¹ – закричал Дмитрий Анатольевич.

– Собственно и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий.

– Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудачком и останешься им до седых волос... Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно. Ты будущий наш Пастер!

– Не произноси всуе имя Пастера, – сказал Рейхель, впрочем довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора. – А как твоё здоровье? Что одышка?

– Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников! На Новый год мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще...

– На редкость нелепый обычай! Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность.

– Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал... А помимо этого, завтраки, обеды, ужины следовали один за другим – и какие! Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад!.. Вот извозчик, садись...

– А отчего вы не взяли с собой Нину? – спросил в коляске Рейхель

– Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру.

– Да, ты писал. Странное занятие для женщины! Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами?

– Вот, поди ж ты, мешала! – ответил весело Ласточкин. – Теперь на Воздвиженке строится великолепное палаццо... Нет, не палаццо, а «палаты». Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит... Как по-немецки «палаты»? Скажем, «палатен», «echt Russisch»¹². Я ей выхлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни. – Он знал, что его сестра не поехала с ними за границу не поэтому: просто не хотела им мешать и вводить их в расходы.

¹¹ Носильщик! (франц.)

¹² «подлинно русский» (нем.).

«Так же щепетильна, как Аркадий. Оба чудачки», – подумал он, хотя и сам на их месте поступал бы точно так же. – А отчего женщине не быть архитектором? Не бойся, я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или, еще гораздо хуже, смотреть, как для нее травят жениха родные.

– Да, ты прав, – сказал Рейхель. – Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух!.. Этот сад, кажется, прозван «Садом самоубийц»? Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне? – спросил он. Ласточкин поморщился.

– Вероятно, такие случаи очень редки. Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна! Да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег! Их очень легко наживать.

– Ну, не очень легко.

– Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут «Мейстерзингеры», это наша любимая, от нее веет радостью жизни. А на следующее же утро опять примусь за работу, и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвастовство или за излишнюю самоуверенность.

– Ты «победитель жизни», как, кажется, пишут романисты. Я уверен, ты со временем станешь одним из богатейших людей России, – сказал Аркадий Васильевич. Он был лишь немногим более завистлив, чем другие люди; завидовал только прославившимся биологам и не завидовал богачам; но в тоне его скользнуло что-то неприятное. Ласточкин на него взглянул.

– На это пока очень непохоже, – смеясь, сказал он. – Вот мы и приехали.

Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пеньюар: «Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям», – думал Аркадий Васильевич с недоумением: он сам был совершенно лишен этого свойства. «Никогда никому ни одного неприятного слова не говорит». Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая «лояльность»: «никогда, например, не забывает хотя бы небольшой услуги, оказанной ей людьми, и уж этим людям верна до гроба».

Она расспрашивала Рейхеля об его работе, об их жизни в Париже, мягко попеняла, что он не привез с собой жену. «Моя работа ее совершенно не интересует, Люду она не любит, между тем она очень правдива. Странно».

– Привезли с собой «талисман», Таня, – сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу. Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло.

– Привезла, хотя оригинал находится тут же... Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий? Хотите, мы закажем ужин сюда в номер, чтобы вам не переодеваться, – сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью воротничком.

– Какой там ужин! Я в вагоне очень плотно поел, Люда мне отпустила всего точно на полк солдат. Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену. Правда, не очень элегантный. Я его купил в «Бон-Марше» готовым за сто франков. Спешно понадобился для парадного обеда.

Ласточкин благодушно улыбался. «Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом!» Рейхель помнил, что еще в ту пору, когда они оба были бедны и он покупал подержанное пла-

тье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей «из настоящего английского материала», – об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, к которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самый безобразный из костюмов.

Улыбалась и Татьяна Михайловна.

– Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам весь вечер с бедной больной... Нет, нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в казино? Не пугайтесь, играть совершенно не обязательно. Но и там нужен смокинг.

– Со мной пустят и без смокинга. Меня уже знают, достаточно оставил тут денег! – сказал Ласточкин. – Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка?

– Нет, поздно, я лягу, немного болит голова. Аркадий извинит меня, завтра обо всем как следует поговорим.

– Ну, что, как тебе нравится этот притон? – спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать: был утомлен дорогой и привык ложиться рано. Но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить. «Вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию «прекрасного передового оратора». Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки».

– Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды золота на столах, эти искаженные лица игроков, которые старательно делают вид, будто им, при их богатстве, совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл?

– Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович, в одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бостанжогло.

– Миллион рублей!

– Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных Клондайках и Трансваалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая старая Москва теперь почище всяких Клондайков. Наши богачи и живут так, как американские миллиардеры: по телеграфу, не глядя, покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела.

Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. «Очень способный человек Митя, даже талантливый, но тоже кое в чем странный. Грюндер¹³? Нет, какой он грюндер? Скорее поэт», – подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше «грюндера». Он впрочем любил своего двоюродного брата; любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги. «И манера речи у него необычная, уж очень всех и все уважает», – думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гёте» или «Леонардо да Винчи», а всегда «великий Гёте», «гениальный Леонардо да Винчи», и даже современников называл и за глаза по имени-отчеству: не «Мечников», а непременно «Илья Ильич Мечников».

¹³ Основатель (нем. Gründer).

– В известном анекдоте об Англии, – сказал Дмитрий Анатольевич, – британского помещика иностранцы спрашивают, почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов. «Это очень просто, – отвечает помещик. – Надо только ухаживать за ними семьсот лет». Кажется, все восторгаются этим ответом. А я удивляюсь: хорошо было бы человечество, если б ему нужно было семьсот лет для устройства хороших лужаек и площадок! У нас теперь все создается со сказочной быстротой и тем не менее с любовью, со знанием дела, с размахом. Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира! – говорил Ласточкин. – Что было бы с ней уже теперь, если б была конституция, хотя бы куцая! Но она скоро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленники первенствующее сословие России, а никак не дворянство, не понемногу исчезающий помещичий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься?

– Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, «первенствующее сословие» это интеллигенция, какова бы она ни была по паспорту.

– В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да он с ней и сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство, оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели: я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество, в маленькой степени оно есть и у нынешних тузов, они твердо помнят, кто когда вышел в большие люди, просто Рюриковичи и Гедиминовичи! Но главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажется, Морозовы. Ты о Савве Тимофеевиче слышал?

– Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить.

– Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек. На славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким... Ты как к нему относишься?

– К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду. Не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гёте, не все прочел у Вирхова, у Клод-Бернара, так стану ли я тратить время на сокровища Горького?

– О нем и о Савве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве.

– Это делает Москве большую честь. Что ж, Люда находит, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький – *наш*! Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе... Впрочем, я и к Толстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он «просветлел», кое-что было интересно, но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке! Уши вянут!

– Тебе, видно, чувство благоговения вообще не свойственно! Толстой – величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь! Неужели тебе не совестно?

– Нет, не совестно... А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»?

– Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не собиравшись печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печатается. Недавно он мне с огорчением сказал, что продается неважно, – ответил Дмитрий Анатольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается оттого, что неважно продаются книги другого писа-

теля», – подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал. – Аркадий, можно с тобой поговорить о твоих интимных делах?

– Пожалуйста.

– Скажу тебе правду, ни Таня, ни я не понимаем, почему вы с Людой до сих пор не узаконили отношений. Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети.

– Люда не хочет детей. И не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны.

– Не может быть!

– Так она говорит, и я с ней готов согласиться.

– Как странно! Но ведь ты ее любишь?

– Конечно, люблю, – сказал Рейхель холодно.

– Еще раз прости, что я об этом заговорил... Так возвращаюсь к Морозову. На него, по моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?

– С Мечниковым? Да, я его знаю. Мы не одного направления в науке.

– Ого! Не одного направления? Так направления есть и в биологии? И у тебя уже есть в ней направление? Это отлично. Но как ты думаешь, если б в Москве создан институт, Мечников согласился ли бы вернуться в Россию и стать его главой?

– Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. Впрочем, я не знаю, – сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись, старший кузен смотрел на него с благодушным недоумением. «Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может стать директором?»

– Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений, – поспешно сказал он.

– Дело не во мне. И я вообще в данном случае имел в виду не институт.

– Что же другое?

– Видишь ли, за границей известно, что Савва Морозов дает большие деньги и на политические дела...

– Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу. Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря, о правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопросах. Однако при чем же тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься?

– Я совершенно не интересуюсь, но Люда, как тебе известно, интересуется. Она социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин.

– Он не некий. Я о нем слышал. Говорят, выдающийся человек.

– Люда просто на него молится и всегда о нем рассказывает разные чудеса, мне и слушать надоело. Ты, впрочем, и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит: не мог ли бы ты подействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?

– Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина.

– И о нем слышал от Люды. Тоже, кажется, процветающий социалист?

– «Тоже» относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении социалистов есть немалая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом есть доля смешного. «В Европе сапожник, чтоб барином стать, – Бунтует, понятное дело. – У нас революцию сделала знать, – В сапожники, что ль, захотела». Ты скажешь, какая же мы знать? И ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я как могу и помогаю, – сказал Ласточкин и немного смутился, вспомнив, что помогает и своему собеседнику. – Но я дал себе слово, что Таня и я не

умрем бедняками. Мне повезло, теперь, пожалуй, я и сам вхожу в «первенствующее сословие». Правда, социалисты именно хотят все у нас отнять, но...

– Не у «нас»: у меня ничего нет.

– Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю, что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей «добротой по убеждению» – не знаю, как определить эту ее черту иначе, – замечает очень, очень многое.

– Она прекрасная женщина.

– «Прекрасная женщина», – повторил Ласточкин, видимо недовольный таким определением. – Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей. («Чем это?» – подумал Рейхель.) Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год, теперь проживаем около сорока тысяч, и хоть бы что в ней изменилось! Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет, особенно своим простым, разумным подходом к жизни, тонкостью и «незаметностью» своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем «блестеть», то это именно она. Между тем, она умнее множества блестящих женщин.

– Не люблю «блестящих» людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами.

– Ну, уж это слишком, – сказал с некоторым недоумением Дмитрий Анатольевич. – Мы почему заговорили о Тане?.. Да, так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала: «Разумеется, хорошие и плохие люди есть везде, это общее место, но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии: она добра именно от своей удачливости».

– Ты однако только что говорил об ее снобизме и местничестве, – сказал Рейхель. «Ну, эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума! Митя в нее влюблен и теперь как в пору их женитьбы», – подумал он.

– Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше, чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально.

– По-моему, ты себе несколько противоречишь.

– Может быть. Ты, кстати, видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю... «Кающиеся дворяне» у нас были, «кающиеся буржуа» есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет. Ах, как жаль, что Люда не приехала, – сказал он со вздохом, – я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание. Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах: и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию.

– Тогда, разумеется, проси об институте.

– Ясное дело. Но я не могу отказать Люде. Знаешь что, у Саввы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт, уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией. Этот Шмидт самый настоящий революционер. Я его знаю. Хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие, и он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет... Странная семья эти Морозовы, особенно Савва Тимофеевич. У меня к нему, не знаю почему, очень большая симпатия, мне даже самому совестно: ведь, в конце концов, независимо от его достоинств, главная его сила в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше.

– Даже совсем не интересовались бы, – вставил Рейхель.

– Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах, – опять поморщившись, сказал Ласточкин. – Близкие к нему люди рассказывали мне, что самоубийство у него любимая тема разговора!

– У Морозова-то? Значит, он с жиру бесится.

– В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего: «Все у меня есть! Хотел иметь миллионы – имею! Хотел иметь великолепные дворцы – имею! Хотел иметь сильных мира у моих ног – имею! Все имею!» Сказал – и вдруг с яростью и с отчаяньем рванул со стола скатерть с драгоценной посудой, разбились фарфор и хрусталь! Так и Морозов имеет решительно все и, в отличие от Потемкина, от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура, – сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич, – а Савва Тимофеевич только дал себе труд родиться сыном, внуком, правнуком богачей. Ну, хорошо, бросим это... Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь, съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать?

– Я ей все это говорил сто раз. Но Люда упряма как осел, – сказал Рейхель. Дмитрий Анатольевич поморщился.

– Правда, волка бояться – в лес не ходить. Но с твоей точки зрения, политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни – это биология и что величайший в мире человек – Пастер.

– И правду говорил. То есть *настоящий* Пастер, а не католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший?

– Не знаю. Но не беспокойся, я не отвечу: Савва Морозов, – весело сказал Ласточкин.

– И на том спасибо.

– Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе?.. Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос-Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты!

– Так он, что ли, великий человек? Это просто акробатия.

– Не говори! Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камюэнса: «*Per marem nunca d'antes navigata*». Кажется, так? Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить.

– Я и не стараюсь. А что это значит?

– «Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал». Прекрасный девиз, так надо бы и всем нам, грешным.

Он заговорил о воздухоплавании с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво.

– Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России воздухоплавательную промышленность!

– Очень уж ты увлекаешься, Митя, – сказал Аркадий Васильевич. – А что, кстати, твоя пишущая машинка?

Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины, с русским и латинским шрифтами, – первой русской пишущей машины, которой в честолюбивые минуты хотел дать свое имя.

– Подвигается, но уж очень медленно, у меня так мало времени, – ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел.

– Кто это? – спросил Аркадий Васильевич. – Не сам ли принц монакский? Уж очень королевский вид.

– Не принц, но граф. Это австрийский дипломат, с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное: граф Леопольд Берхтольд фон унд цу Унгарсшитц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время, и слава Богу, – сказал Дмитрий Анатольевич. – А то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному злокачественному легкомыслию.

– Ну, и у нас есть люди такого типа. Даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем немецкая наука теперь первая в мире.

– Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком чудовищно глупо.

– Да, может, потому и будет, что чудовищно глупо.

– Уж ты хватил! Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать.

– Мне нисколько не мешают, – возразил Рейхель.

IV

Этому человеку не везло в молодости. Он довольно долго жил в нищете. Социалисты в ту пору говорили и даже думали, что таков «принцип буржуазии»: не давать пролетариям возможности выходить в люди. Разумеется, никогда у правящих классов такого принципа не было. Во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали. И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, мало смысловая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Довии, в Форли, в Предаппио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок, семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетия, а сам он был, при тяжелом и буйном характере, человек чрезвычайно способный, и ум у него был живой, и руки были золотые; он имел какой-то школьный диплом и уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был груб с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители, вечно дрался, однажды пустил чернильницей в учителя. Учился же недурно: вышел первым по итальянской литературе и по музыке.

Девятнадцатилетним юношей он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей для него дело неподходящее; государство щедро оплачивало его труд 56 лирами в месяц; стоило попытаться счастья в других странах; а ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения.

Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, одиннадцать часов в сутки, получал по тридцать два сантима в час, порою ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба, – иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то, увидев в пустом саду двух закусывавших на скамейке английских туристок, насильно отобрал у них хлеб и сыр (может быть, и привирал).

Он находил время для чтения. Читал без разбора, но преимущественно серьезные книги: Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Станным при его характере образом подпадал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел «Коммунистический Манифест» и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло.

Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам: «Как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета! Сколько же времени мне еще придется все это терпеть!» По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантам, пока с годами им это не надоедало: посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Жореса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил: сам мог бы сказать не хуже, да вопрос не в том, как говорить, а важно, кто говорит: одно дело, если знаменитый член парламента, а другое – если эмигрант в лохмотьях. У Жореса хоть голос был особенный, медный, громоподобный, а у других и этого не было. Расспрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии: им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим, но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. «Ученые? Едва ли, разве только опять-таки Жорес, а Бебель и знает не больше, чем я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди!» – с все росшей ненавистью думал он.

Больше всего он ненавидел бы Бога, если б не знал с мальчишеских лет, что никакого Бога нет; ему объяснили старшие товарищи: об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими, пастор Талиателли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже. Знаменитый анархист Себастиан Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией: «Двенадцать доказательств того, что Бога не существует».

Фор был превосходный оратор, его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В Лозанне же все было гораздо скромнее, публика состояла из простых людей, они спорить не умели, хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались; часть их аплодировала священникам, часть безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал:

– Я прошу слова!

И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились; выходявшие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым, изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с блестящими черными глазами, с выдающимся подбородком. Он был похож немного на Паганини, немного на Бонапарта и очень этим гордился. Его голова была бы интересна и Рембрандту, и Лафатеру.

– Меня здесь никто не знает, – громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову. – Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману. Не даст ли мне кто-либо свои?

Публика смотрела на него с недоумением, его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание, – вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы. Он поблагодарил.

– Теперь без пяти минут одиннадцать, – еще громче и отчетливее сказал он. – Я утверждаю, что никакого Бога нет! И приведу только одно доказательство. Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство...

И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань.

Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора.

– Как видите, нет Бога! – с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя: пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны.

Эффект оказался большой. Пастор Талиателли взволнованно вызвал его на большой, серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. О Муссолини заговорили, публики пришло много, его речь против религии была напечатана каким-то издательством.

С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о «зловещем палаче с берегов Невы». Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к царевубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о «социалистическом фагоцитозе», сходном с «фагоцитозом физиологическим», который открыл русский ученый Метцников (то есть Мечников). Получил от рабочих карточку на бесплатные обеды. Кое-какие гроши присылала из Италии мать. Таким образом мог жить, хотя и скудно.

Разумеется, вскоре после его смерти были, с оглаской на весь мир, напечатаны сенсационные документы, «неопровержимо доказывавшие», что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было, в силу комического «закона истории», и с другими

диктаторами или полудиктаторами после их смерти (о Троцком это еще при его жизни доказывали два очень осведомленных – каждый по-своему – человека); только о Ленине этого не говорили и не писали: уж слишком было бы глупо. На самом деле никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано, еще в Швейцарии, попал под надзор двух полиций.

Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. «Выслали как бешеную собаку, чтобы не заразила», – позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики: он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно во всех почти странах, действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на Муссолини наручники и довели его до границы, там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лозанну и «перешел на нелегальное положение». Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола, дезертирство подпало под амнистию, и Муссолини вернулся на родину.

В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кровожадные статьи. Написал и какой-то роман. Писал очень быстро, в четверть часа статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое, – на митингах его иногда по ошибке называли «товарищ Муссолино». Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном. Часто повторял наполеоновские слова «Революция – это идея, доставшая для себя штыки». Эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты «Пополо д'Италия». Штыков у него пока не было, идея же была, впрочем, чужая и довольно распространенная. Он был членом социалистической партии.

Партийная аристократия его недолюбливала: «Способный человек, но мегаломан: все о себе!» Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел и всех демократических правителей: везде, под видом народоправства, правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, постоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются, все друг друга ненавидят и все между собой на «ты», как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны! И этого нет! «Где им до меня!» – Действительно у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде – почему-то с шуточками – защищал полную свободу всех религий. Муссолини – с поддельным, вероятно, бешенством – в самых ужасных, непечальных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское ученье. Голос у него был громче, чем у Вандервельде; еще больше было и напористости.

Он часто переезжал из одного города в другой. Случались с ним разные скандалы; в ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку. Играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно «дьявольские». Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу: очень полезна для политического деятеля.

Как-то он задержался в Милане. Возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял наудачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец; правда, говорили о нем не только хорошее: «проповедовал коварство».

Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно, – как только ему самому все это не приходило в голову! «Да, да, люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель: славу и богатство. И не достаточно ли взглянуть на лица Бебеля или Вандервельде, чтобы понять: все они думают только о своей славе, а никак не о счастье человечества. Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей?»

«Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой, искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией – это важнее всего другого. Ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на самом деле, да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же, в действиях людей, особенно правителей, – их к суду не привлечешь, – важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщает видимость и дело, а вульгарная масса это и есть мир... Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Этот мой совет был бы без сомнения дурен, если б люди были хороши, но так как они дурны и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать свое? К тому же, разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний?.. Александр VI только и делал, что обманывал, ни о чем другом он и не думал и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен, чем он. Обман удался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело...»

«E ad mondo non e se non vulgo»¹⁴, – повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере, – оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что есть, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. «И может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить...»

Его волнение все усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом все это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это делать в большом, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты – трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».

Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз все обдумать, – при быстрой ходьбе многое и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок, – такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать все. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.

«Да, это так, как я понял вчера, – думал он. – Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет... А еще какой-то француз, – кажется, Декарт? – в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не

¹⁴ «Обратиться к миру не значит к толпе» (*итал.*).

разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать... Вот этот собор, это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств», – думал он, проходя по Piazza del Duomo.

Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Все же он заглянул в Собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна – самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.

У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и во всяком случае по крови итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала, – чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире – итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише, – нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все, – начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей – «*cupidi di guadagno*»¹⁵ – есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!

Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «*Coppa Ambrosiana*»¹⁶.

Теперь знал, что будет у него и *Coppa Ambrosiana*, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке он купил хлеба и кусок горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. Посредине площади – и даже не посредине, а как-то неровно – сбоку – была жалкая растительность, – а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-Айрес, выходил на площадь стеной без окон, – дурачье! Около этого дома было странное строение все из железа с огромным крюком. Он долго на него смотрел, – зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «*Evitate rumori inutili*»¹⁷.

¹⁵ «Жадных до прибыли» (итал.).

¹⁶ «Чаша с амброзией» (итал.).

¹⁷ «Не шумите» (итал.).

Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтора ста рублей. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.

– Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтора ста, – говорил Аркадий Васильевич. – А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей, вместе взятых, впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе все равно и не дали бы.

– Отстань, нет мелких.

Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегчением после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним...» Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.

Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. «Вдруг кто-нибудь зайдет». Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку кофе, съела сандвич. «И так опоздала! Обедать будем верно все вместе с Ильичом, с Мартовым, быть может, и с Плехановым. Наконец-то увижу и Плеханова!» – радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.

Она не знала города, пришлось нанять извозчика, – «только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем». Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий: «Неловко приезжать как барыня». Подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении: «Какой-то амбар! Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре?» Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги. Никаких флагов не было, но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью чернилами по-русски. Наверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в середине крупными неровными буквами «Съезд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар, Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый: Кольцов. Лицо у него было торжественное. Он ласково с ней поздоровался.

– Добро пожаловать. Садитесь, где хотите. А то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием, – сказал он и тотчас обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос.

– Людмила Ивановна! Как поживаете?

Она ахнула: Джембул.

– Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам?

– Разумеется, можно и должно. Но лучше выйдем пока в кулуары. Здесь очень душно.

– А где кулуары?

– Кулуары – это улица, – невозмутимо ответил он.

– Да, странное помещение! Ах, как я рада, что встретила вас! Конечно, выйдем.

На улице они весело поболтали.

– Получили совещательный голос, Джембул?

– Нет никакого, даже самого тоненького, голоска. Я «гость». То есть Ильич мне сказал, что я могу приехать, я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду.

Люда расхохоталась.

– Представьте, я в таком же положении! Ильич давно обещал мне устроить совещательный, но, верно, забыл. А разве могут выгнать?

– Чего на свете не бывает. Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков... Вот он, Ильич. Я его уже видел.

Из амбара в «кулуары» выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась. Он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резнуло, особенно потому, что слышал Джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним.

– Кажется, съезд начнется с опозданием?

– Да, уже три четверти третьего, – сказал Джамбул. – Когда начнется, это неважно, а вот когда кончится сегодняшнее заседание? Я тороплюсь.

– Это досадно. Я думала, пообедаем вместе.

– Я взял комнату с пансионом. Там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Sainte Gudule.

– Какую еще Sainte Gudule? Это церковь?

– Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение.

– Это неожиданно.

– У них орган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, одиннадцатого столетия.

– Нельзя по-русски сказать «очень историческая».

– Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка.

– Разве вы были в Турции?

– Был довольно долго, у отца.

– Ваш отец живет в Турции?

– Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку. – Джамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой. – Идут не минута в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это Брегет... Помните у Пушкина? «Пока недремлющий Брегет – Не прозвонит ему обед».

– Кажется, сейчас начинаем! Люди входят.

– Да, приехал наш именитый председатель.

С извозчичьих дрожek сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала: Плеханов! К нему на улицу поспешно вышел Кольцов. Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Джамбул отвернулся.

– У него интересное лицо! И выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю.

– Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик.

Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола Кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик.

Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово, – сказал, как всегда, хорошо. Очень повысив голос, произнес: «Каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем не очень бурными, не

«переходившими в овацию». Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у них был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая.

– А вот я ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста и даже отроду не слышал о них, – сказал шепотом Люде Джамбул. – А вы слышали?

– Во всяком случае я всегда думала именно это!

– А отчего собственно нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит?

– Будьте спокойны, произойдет.

– Что же именно?

– Вы отлично знаете, что именно: революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. Прекрасно говорил Плеханов, с очень большим подъемом.

– Не люблю, когда говорят с подъемом. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема.

– Не всегда.

– А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а?

– Зато Ильич устроит!

– Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары?.. Что вы смотрите на меня с негодованием, точно я вам сделал постыдное предложение?..

– Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать.

– Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят: «испарюсь»?

Плеханов действительно был избран председателем par acclamation¹⁸. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Люде было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то совершенно неизвестным ей делегатом. «Нет, это естественно: Плеханов много старше, он был основателем партии».

После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы.

– Хотите испариться вместе со мной? – тихо спросил он.

– Нет, не хочу!

– Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее, и пойдет кровавый бой.

– Почему вы знаете?

– Я уже все знаю, расспрашивал кое-кого еще вчера вечером. И знаете, кто будет общим bête noire?¹⁹ Вот этот делегат, видите, сидит впереди с краю. Это бундовец, кажется, его зовут Либер или как-то так. По-моему, очень тихенький человек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов, он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери Плеханов и Ленин хотят сообща устроить погром, при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого... А вы будете выступать?

– Я об этом не думала!.. Разве гости имеют право?

– А вы выступите без права. Ну, Гинзбург вас выведет за волосы, что за беда? Осмотрите по крайней мере Брюссель.

¹⁸ Без голосования (*франц.*).

¹⁹ Объект нападок (*франц.*).

– Да перестаньте вы шутить, Джамбул... Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества.

– У меня нет имени-отчества или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда.

– Неужели вы действительно уйдете до конца?

– Я на все способен! Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это!

– Сегодня, верно, будет общий товарищеский обед.

– Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как Гинзбург, все станется! А где вы завтра завтракаете? Хотите, позавтракаем вместе?

– Пожалуй... Да ведь вы в пансионе?

– Готов для вас пожертвовать пятью франками.

Хотя они говорили тихо, на них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый. И остроумный», – подумала Люда. Она стала внимательно слушать.

VI

Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.

В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городского на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».

Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более, что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок, соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом сыграл роль партийного дезорганизатора», – писал вскоре после того Троцкий.

Протоколы Второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на 28-м – акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет», – говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.

Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась его фракция, которая должна была со временем превратиться в его партию.

Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим – в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.

Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был *настоящим* оратором: достигал речами своей цели.

Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».

Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:

– Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога объясните, если понимаете, в чем я, впрочем, сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? – спрашивал он Люду.

– Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, – отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. – Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.

– Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились... Обожаю историю, особенно русскую и восточную.

– История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы верно ее не знаете, Джамбул.

– Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы.

Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.

Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболит, но море было совершенно спокойно.

– ...Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась, – сказала Люда.

– Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.

– Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если б не занимались революционной деятельностью?

– А правда, что я тогда делал бы? – спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос. – Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?

– То есть как «какая»? Самая настоящая.

– Даже не похоже, – сказал он, засмеявшись. – Один Ленин настоящий человек. А все остальные – Деларю.

– Что за Деларю?

– Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:

«Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал».
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»...

Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.

– Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.

– Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж наверное скоро не останется ни одного Деларю. – Лицо у него стало вдруг очень серьезным. – Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.

– Какая же?

– Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.

– А мне не скажете? – обиженно спросила она.

– Не скажу. Это не бабьего ума дело.

– Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!

– Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционеров очень мало.

– Кавказ отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он верно назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.

– Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две-три произойдет раскол.

– Типун вам на язык! Подождем – увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюдюли, – сказала Люда. Он поморщился.

В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».

Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашение с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»

Они много выпили и еще повеселели.

– Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства», – как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын... Почему вы улыбаетесь, Люда?.. Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»... «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?

– Вы тоже князь, Джамбул?

– Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.

– Кто такой Полиоркет?

– Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.

– Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?

– Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило: «Покоритель городов».

– Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И, верно, сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!

– Я очень простой человек, – сказал Джамбул, довольный. – Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный... Вы английский язык знаете?

– Нет.

– Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело и есть «хобби», то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни: политика и женщины, но что из них у меня «хобби», а что главное, ей-Богу, сам не знаю.

– Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу – это от главного или от хобби?

– Это не ваше дело, – ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.

– Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.

– Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.

– Вот как?.. Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса?

– Действительно, едва ли, хотя бы уж потому, что я почти ничего его не читал.

– Так кто же оказал влияние на ваше мышление?

– На мое «мышление»? – переспросил он с комически-испуганной интонацией. – Я и не знал, что занимаюсь «мышлением». Кто оказал влияние? Дайте подумать... Руставели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга Шестого, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты... Да, я гедонист.

– Какой еще гедонист! И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?

– Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо...

– И какое!

– Но где ему до кахетинского!

– На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?

– Не говорю все, но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хороши.

– Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.

– Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.

– «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?

– Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.

– Со временем?

– Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами три-четыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.

– Вот как! А кто первый?

– Первый: Драгутин.

– Какой «Драгутин»? Отроду о нем не слышала.

– Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.

– Да кто он? Что он сделал?

– Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.

– Да он шел от победы к победе!
– Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это верно не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:

«Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хватить друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах, в страшных болях
На кресло сесть!
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дуни честь...»

– Очень похож Ленин на Деларю!
– Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел. Люда расхохоталась.
– Однако вы нахал порядочный! Ильич не созрел?
– Или, скорее, не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.
– Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой!
– Не сваришь каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «не сваришь каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.
– Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».
– Я нерусский, да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.

Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.

– Он, должно быть, насмехается? – спросил Люду Джамбул.
– И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.
– Именно «как-никак». Вы примкнете к большевикам или к меньшевикам?
– Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.
– Едем, – уныло согласился Джамбул. – Вы его читали?
– Многое.
– Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.
– Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? – насмешливо спросила Люда. – Нельзя человеку серьезно называться «Котой».
– Ладно, ладно, – ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды. – А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.
– Вы бывали и в синагогах?
– Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.
– В этом я ни минуты не сомневалась... Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.

– Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.

VII

Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кроль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.

«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Многие в жизни Росмера совпадали с его собственной жизнью, однако не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалась в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.

Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмеялись над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмеялись бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы, ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмеялся над моим «безвкусием», над фрачными лакеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и врал. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немировича, и Максима. Да и он о моем безвкусице не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа», – думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер». А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. «Спальная, сказал, «Victorian»²⁰. Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» – подумал он, разумея знаменитого врача.

В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством, он может купить что и кого угодно – вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «Настоящей продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно... Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей щедрости, он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.

Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но, в полное отличие от Ленина, всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России,

²⁰ «В викторианском стиле» (англ.).

но иногда думал, что в сущности освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что страстно любит искусство, но про себя сомневался – если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать...» А почему ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордева», между тем это чепуха с выдуманными и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами...» Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» – неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что в сущности он ничего особенно не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась... Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умиранье, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.

К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он выстроил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятельный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».

Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и не опасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями. Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если бы они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог; у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».

Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. «Хоть бы дождь пошел...» Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду. В поезде он просмотрел газету, – скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, благодушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.

Постройки на его заводах, в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для рабочих с лекционными залами, с театром, – другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно и

нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шляться, что было бы впрочем очень хорошо».

В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good»²¹. «Что ж, для Азии и это необходимо». Ему очень хотелось, чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота доставляли ему удовлетворение. Рабочие кланялись почтительно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как поживаете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?».

В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что «знает у себя каждый винт». Это было очень преувеличено; инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викулычам и Абрамычам.

В Москве издавна ходили шуточные преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями морозовской династии, впрочем, довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым Морозовы относились чуть свысока, хотя и роднились с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.

После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным, и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.

Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома, – вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво, – но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам, при всем желании, не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость, – точно играет, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих *своих* артистов он прежде особенно любил, нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они непохожи в частной жизни, один на царя, другой на норвежца. «Тем больше, конечно, их заслуга».

В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел. Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза», – вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.

²¹ «Высшего качества», «хорошего» (англ.).

Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву; на заводах было еще скучнее, чем дома, да в сущности и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску, и все, конечно, запретят и никакой пользы не будет».

Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!..» Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. «К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется». Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.

Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели ввязываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как впрочем и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, делано-купеческим языком, с обилием «слов-ериков», – ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.

Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» – сказала адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилию Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.

Вернувшись домой, он переделался: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переделался не до визита к нему, а после», – с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. «Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал».

Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую жизнь. Раздражали его и самые слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое: ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей. Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.

Савва Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ибсена. Впрочем знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом не по коммерческим делам.

Обычно люди «хотели посоветоваться об одном общественном деле». Он давно к этой формуле привык; отлично знал, что посетителям, чаще всего очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми: понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее, это часто выходило и «для себя»; говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалованье или гонорар. Этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически, что если они у других соберут «много больше-с», то и он от себя добавит сколько надо. Знал, что у других много больше никак не соберут.

Одним из посетителей был в этот день инженер Красин, с которым его познакомил Максим Горький, горячо его рекомендовавший. Этот инженер с первого же знакомства очень понравился Савве Тимофеевичу. Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты, – их он называл «краснобаями», а умные и образованные деловые люди, да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого промышленника, который, слава Богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но так же искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но недурно было бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними, – как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу. Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой.

– Так-с. Это я все знаю-с, – сказал он. Уже слышал о партийном расколе. – Это взгляды Ленина-с. Вполне с оными согласен. Зоркий человек-с. Извольте, дам, но много не дам-с.

– Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся, – ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием «слово-ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных.

– Дело обстоит так-с: дохода у меня в год шестьдесят тысяч целковых. Третью уходит на мелочи-с, на благотворительные дела-с. Третью трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу-с.

Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы, но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода (причем из них сразу предложит третью часть). Москвичи говорили, быть может, преувеличивая, что одна Никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Савва Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру, сам не зная, почему.

Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционерам. Назвал Ленина «зорким человеком», но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в «Росмерсгольме». Но, в отличие от Иоганнеса Росмера, он не слишком верил в близость счастья на земле.

Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили и о другом. Разговор, не совсем случайно, коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт

легкого умопомешательства. Он ведал им и в Художественном театре и в доме на Спиридоновке и в своих имениях: сам лазил по лесенкам, работал над проводами, переодевшись в рабочее платье (что ему шло, как Горькому косоворотка). Красин знал толк и в электричестве, говорил об его великом будущем так же увлекательно, как до того об идеях Ленина, вставлял разные «дифференциальные лампы Сименса», «вольты», «уатты» и даже «фарады». О вольтах и уаттах Савва Тимофеевич знал, но что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко и, перед тем как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно.

Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы.

К нему Савва Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил: был на двух его докладах, прочел его брошюру о хозяйственном росте России. Понравилось ему и то, что Ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал: приехал просить денег.

– Это так-с, за иным ко мне, купчине, и не приезжают-с, – сказал, улыбаясь, Савва Тимофеевич. Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом.

– Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует, – сказал он.

– Не совсем похожее, – ответил Дмитрий Анатольевич и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рейхель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос.

– Так-с. В какую сумму обошлось бы дело-с?

– Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Савва Тимофеевич, поднять это дело было бы трудно, но мы рассчитываем на ваш почин, зная...

«Зная вашу отзывчивость», – закончил про себя Морозов и перебил его:

– Смету привезли-с?

– Я ее представлю вам очень скоро, – ответил Ласточкин, с досадой подумав, что, вследствие халатности своего двоюродного брата, начал разговор не деловым образом. – Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу.

– Кто это: мы-с?

– Этим делом очень интересуется также Мечников, – сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич. – Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза. – Морозов, к его облегчению, не попросил пояснений к слову «также» и одобрительно кивнул головой.

– Знаю-с. Что-то и о фагоцитозе читал... Кажется, обещает нам продлить жизнь? Может, и врет-с, да и незачем человеку очень долго жить, – пошутил он. – Что ж, идея института интересная. Но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело не в сумме, поднять я и один мог бы-с. Клинический городок Морозовы подняли. А знать все надо в совершенной точности-с. – Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода: в разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо. – Представьте записку, прочту-с. И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите-с: эксперты спешить не любят.

Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки и просители совершенно бес-

корыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор, – лишних слов не любил, – спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных:

– Слышно, интересные вечера-с.

– Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь и вы, Савва Тимофеевич? – предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью, и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно: «Еще подумал бы, что зазываю».

– При случае охотно-с. Люблю и я, хотя и не большой знаток.

Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать: «Не сразу же лезть с двумя просьбами». Вдобавок, ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. «Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы, тем более, что записки не составил, сметы не прислал, а с Мечниковым, верно, еще и не поговорил!»

«Твое понимание мира облагораживает, Росмер. Но... но... Оно убивает счастье», – говорила Ребекка Вест. «Счастья у него было действительно немного. Как у меня», – думал Савва Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной Беаты в его жизни не было. «Да и сам я все-таки какой же Росмер! Все-таки пьеса замечательная. По дрянному переводу и судить нельзя. Так и Гёте, и Шекспиром лживо восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. Если б я был немцем и прочел «Евгения Онегина» по-немецки, то сказал бы, «очень средняя поэма». А о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы ввали, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело нехитрое». В последний год он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. «Может, просто по литературным соображениям автора-с, – подумал он, по инерции пользуясь «словосериком» и в мыслях. – Вот и Лев Николаевич по литературным соображениям в «Записках маркера» придумал самоубийство для Нехлюдова, а через много лет, когда понадобилось, его воскресил...» Толстого Савва Тимофеевич и мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл «Максимом» или «Алексеем», а то даже и «господином Горьким».

Часть вторая

I

В Западной Европе в 1903–1904 годах почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории «периодами процветания». Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами были либо превосходные, либо хорошие, либо – в худшем случае – корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками и чрезвычайно осторожно: одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности.

Больших войн давно не было. Но скорее всего именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их, впрочем, не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией; в связи с ним газеты говорили, что Англия не может допустить увеличения германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран: скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война, просто по непривычке, не возникала в сознании политических деятелей, ученых экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что по существу и определяло политику правителей Европы: злосчастной идеей *престижа*, наделавшей столько бед человечеству.

При всем законном желании «заглянуть в корень вещей» трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гамбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабушку, королеву Викторию. Ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата, герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император – и не он один среди монархов – признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос: «Союз против кого?» Из Лондона пришел немедленно ответ: «Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем». Это объяснение, тоже больше по семейным обстоятельствам, понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Эйленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга (разумел Николая II). Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма.

Его и много позднее (до выхода его воспоминаний) очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали о его необыкновенном уме, талантах, образовании. Правда,

фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту, церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных», – писал один из них.

Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эдуарда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболепства, грызни, гадалок, «дома умалишенных» не было, и политику делали преимущественно министры. Однако обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой, непонятной простому разуму, причине, на этот раз ответило отказом оно.

Английская политика, «строящаяся на долгие десятилетия вперед», тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно и что он в военном союзе никакой надобности не видит.

Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и несекретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане, причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907 году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем-Иосифом, получил большой крест ордена св. Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское черноморское побережье от возможного, в случае войны с Англией, нападения британского флота. Один из русских государственных людей говорил в 1897 году: «Нам нужен швейцар в турецкой ливрее, Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты: Черное море – русское *mare clausum*»²². Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом.

Извольский хотел поднять престиж России, уменьшившийся после войны с Японией; о своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел – позднее своего французского собрата называл «человеком универсальной некомпетентности», что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей «компенсацию»: соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захваченных еще тридцать лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было предоставлено только русскому военному флоту, но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы.

Эта мысль чрезвычайно понравилась барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Берхтольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы: все по памяти запишет Извольский и представит Эренталю свою записку. Станным образом русский министр очень долго записки не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так, по крайней мере, утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии-Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции Мо из газет, подъезжая к Парижу, где его ждало письмо Эренталья. Из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость и возненавидел

²² Внутреннее море (*лат.*).

Эренталя, которого с той поры считал и в письмах называл «неджентльменом». Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии.

Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительства. С ними Эренталь не считал нужным предварительно посоветоваться, хотя они были союзниками. Так и несколько позднее при свидании царя с Виктором-Эммануилом в Ракоиджи, Извольский и Титтони, заключая важное соглашение, тщательно скрыли его от своих союзников. Впрочем, через несколько дней после этого соглашения Титтони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России.

Австрия со времен похода принца Евгения в начале восемнадцатого столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Обреновичах, несмотря на захват Боснии и Герцеговины, отношения между обеими странами были самые лучшие. Дело было впрочем не столько в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности – предвидеть сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофициального захвата Австрией Боснии-Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование.

Все это, как известно, позднее привело к сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер, с графским титулом и с сознанием своих великих исторических заслуг перед родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки, и австрийские и иностранные, в своих трудах раточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности. Он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое «бессмертие» верной, по духу чисто спортивной, службой австрийскому престижу. В нем видели нового Меттерниха, это очень ему нравилось, и он не сердился на самые враждебные статьи, если только в них его сравнивали с Меттернихом. В общем, его настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы «Derogierung an Prestige»²³.

Жизнь при дворах везде была, хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порою думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак: от рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда (вероятно, думая о смерти) он произносил миролюбивые речи, порою прекрасные, говорил, что войны никому не нужны; в частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гёте и всегда носил с собой экземпляр «Фауста». Это приводило императора в восторг. Были у него и русские и английские друзья, правда, не носившие «Фауста» в кармане, и их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи, вызывавшие панику в Европе, впрочем обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его выступлением, была большой радостью его жизни. Ему, однако, было далеко до некоторых позднейших диктаторов: этим было душевно необходимо, чтобы о них – дожил! мог ли прежде и мечтать! – говорил весь мир. Политикование уж совсем прочно стало важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение: «комплекс Моссаве».

²³ «Падение престижа» (нем.).

Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если бы он не был германским императором.

Исключение среди государственных деятелей составлял Франц-Иосиф. Он слышать не хотел ни о какой войне. Однако все знали, что в Вене идет глухая борьба между императором и наследником престола, которого поддерживали важные австрийские сановники и генералы. Исход борьбы не мог быть предугадан; предполагалось, что исходом будет кончина престарелого императора. Многие думали и писали, что с ней вообще кончится империя Габсбургов.

Австро-Венгрия, приблизительно с 1906 года, оказалась главным центром европейской большой политики. В ее военном могуществе люди сомневались, в России ее называли «лоскутной империей», а на западе – «вторым больным человеком Европы» (первым издавна считалась Турция). Но «Балль Платц», «намерения Вены», «политика Эренталя», «воинственные замыслы эрцгерцога Франца-Фердинанда» заполняли телеграммы министров иностранных дел и послов, ежедневно упоминались в статьях главных газет Европы.

Главой военной партии в Австрии признавался наследник престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его почти все считали черным реакционером, ненавистником славян и сторонником войны – разумеется, «превентивной» – с Сербией и Россией. С этим, однако, вышла много позднее странная история. На полях доклада об его убийстве Вильгельм II написал собственноручно: «Эрцгерцог был лучшим другом России. Он хотел возродить Лигу Трех Императоров». Когда в Германии произошла революция, записи императора на докладах были напечатаны. Эти слова вызвали у историков недоумение. Вильгельм не имел основания лгать в таких записях и никак не мог предвидеть, что они со временем будут опубликованы. С эрцгерцогом он был связан тесной дружбой, часто с ним встречался и совещался наедине, должен был лучше, чем кто-либо другой, знать его самые тайные политические замыслы. Возник спор, не разрешенный окончательно и по сей день.

Еще значительно позднее появились в печати разные бумаги Франца-Фердинанда. Они как будто не оставляют сомнения в том, что никакой войны он не хотел, что в этом вопросе был совершенно согласен с Францем-Иосифом, с которым расходился чуть ли не во всем другом. Выяснилось также, что он стоял за дружбу и союз с Россией, видел в них оплот против революции, что он преклонялся перед самодержавными русскими императорами, что славян он очень любил – гораздо больше, чем венгров, – что хотел превратить двуединую монархию в триединую (с третьей, славянской частью) и обеспечить полное равноправие для всех своих будущих подданных. В его бумагах найден был даже проект манифеста, предусмотрительно им составленный на случай внезапной кончины Франца-Иосифа и провозглашавший коренные либеральные реформы в отношении национальных меньшинств. «Он был настоящим другом хорватов и сербов в Боснии», – пишет, как будто с некоторым недоумением, новейший английский историк, самый ученый из всех занимавшихся той эпохой. Ненавидел эрцгерцог только итальянцев, которым не прощал конца светской власти пап. «Один из самых загадочных людей нашего времени», – говорят теперь и некоторые другие историки. Слухи о том, будто у эрцгерцога были секретные соглашения с Вильгельмом о войне, оказались совершенной легендой. Особенно много зловещих рассказов ходило об их последнем свидании в Конопиште, великолепном имении Франца-Фердинанда. Говорилось, что на этом свидании была окончательно решена война. Теперь доказано, что и речи о войне там никакой не было: эрцгерцог пригласил к себе императора преимущественно для того, чтобы показать ему свои розы, считавшиеся лучшими в мире. Да еще хотел сделать удовольствие своей морганатической жене: она очень любила Вильгельма. В Вене на обедах у Франца-Иосифа ее сажали ниже самых молодых эрц-

герцогинь. В Потсдаме же все германские принцы сидели за общим столом, а отдельный, особенно почетный, стол ставился для нее, для эрцгерцога, императора и императрицы.

Вероятно, в суждениях о намерениях и настроениях Франца-Фердинанда все были правы: он тоже менял их довольно часто. Как бы то ни было, еще за год до войны ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел, – и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают. Видели это ясно лишь очень немногие государственные люди Европы (в их числе двое русских: Витте и Дурново). Лишь в последние недели прямо повели дело на войну Вильгельм, граф Берхтольд, Конрад фон-Гетцендорф и некоторые другие.

Так называемые секретные соглашения заключались в Европе часто, и печать видела в тайной дипломатии очень большое зло: она требовала, чтобы все совершалось под контролем общества. На самом деле одна из главных бед тайной дипломатии уж скорее заключалась в том, что она не была тайной: ее секреты очень быстро разглашались; министры не умели держать язык за зубами и даже не хотели этого: им было необходимо, чтобы их меттерниховские победы становились по возможности скорее известными всему миру. Иначе к ним и стремиться не стоило: уйдешь с должности, нечем будет похвастать, в лучшем случае будет слава у потомства, которое никого из них по-настоящему не интересовало; да и то, потомство еще может приписать заслугу преемнику, обычно противнику и сопернику. Старательно и успешно работали также репортеры, – и в Европе того времени не было ни одного секретного соглашения, которое скоро не стало бы «достоянием общественного мнения». «Общественное мнение» смыслило в иностранных делах еще гораздо меньше, чем министры. Почти в каждом соглашении одна сторона как будто выигрывала больше, чем другая, и другую начинали бешено ругать ее собственные газеты, не меньше ругая – хотя и с признанием ума и хитрости, – противную сторону. Начиналось столкновение разных общественных мнений, и раскалялись национальные страсти.

К началу 1895 года забота об избежании «*Derogierung an Prestige*» совершенно овладела умом канцлера Бюлова. Ему вдобавок очень хотелось получить княжеский титул. Этот титул давался редко и только за исключительные заслуги. Исключительную заслугу можно было себе устроить. Момент был благоприятный: Россия была занята войной на Дальнем Востоке, европейское равновесие нарушилось в пользу Германии. Французское правительство, в котором были и русофилы и англофилы и даже германофилы, все больше старалось прибрать к рукам Марокко. Эта нищая страна, почти ничего не обещавшая метрополии кроме немалых жертв людьми и деньгами, была еще гораздо менее нужна Германии, чем Франции: Вильгельм сам это говорил и писал. Но в будущее почти все европейские государственные люди заглядывали разве лишь на несколько месяцев, да и то в большинстве случаев неудачно. Между тем престиж для германской империи и княжеский титул для Бюлова можно было приобрести быстро.

Ранней весной император для отдыха решил предпринять путешествие по Средиземному морю. Морские поездки всегда действовали на него успокоительно, а он, при крайней своей нервности, очень в этом нуждался. Руководитель огромного пароходного общества Баллин, «Друг императора», с полной готовностью предоставил роскошный пароход «Гамбург» и сам, по своей инициативе, посоветовал взять с собой побольше сановников. Это было для общества превосходной рекламой. Среди приглашенных были антисемиты, недолюбливавшие еврея Баллина, но и они от приятного, бесплатного путешествия в обществе Вильгельма не отказались. Предполагалось отправиться сначала в Лиссабон, затем в Неаполь. Совершенно неожиданно Бюлов потребовал, чтобы император по дороге высадился в Танжере и произнес там энергичную речь в защиту независимости мароккского султана.

Вильгельм II в ту пору очень любил канцлера (которого несколько позднее стал ненавидеть). Этот очень образованный блестящий человек, прекрасный оратор, считавшийся (вме-

сте с Клемансо) лучшим *causeur*-ом²⁴ Европы, неизменно при каждой встрече его очаровывал. Вдобавок, он считал Бюлова как бы своим учеником и во всяком случае своим созданием. С прежними главами правительства ему было скучновато, а с ним никогда. Император раза два-три в неделю приезжал в гости к канцлеру и долго с ним болтал о новостях, о сплетнях, о государственных делах. Часто оставался у него то завтракать, то обедать. Бюлов как бы случайно приглашал к столу посторонних людей, ученых, писателей, артистов, которых Вильгельм в других дворцах встретить не мог. Эти встречи были императору приятны, он много говорил об искусстве и даже о разных науках. Профессора иногда недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. Сводил канцлер Вильгельма с крупными промышленниками, с еврейскими банкирами. Император был очень богат, хотя и не так богат, как русский царь или как Франц-Иосиф (это его раздражало). Кроме большого гражданского листа, у него было больше 90 тысяч гектаров собственной земли, много собственных замков и денег. Он уважал богатство и был очень любезен с Швабахами, Фридендерами, Симмонсами.

Предложение Бюлова и озадачило Вильгельма, и было ему вначале очень неприятно. Гимназистам было бы ясно, что речь в Танжере поведет к большим неприятностям, а может быть, и к войне. Немного раньше или немного позднее император, наверное, отнесся бы к плану канцлера с восторгом. За два месяца до того, принимая в Берлине бельгийского короля Леопольда II, он в последний день перед обедом сказал наедине королю, что принадлежит к школе Фридриха Великого и Наполеона I, что он не уважает монархов, считающихся не с одной Божьей волей, а с министрами и парламентами, что он шутить с собой не позволит, что Фридрих начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а он начнет с вторжения в Бельгию, причем обещал королю в награду за доброе поведение несколько французских провинций. Король от ужаса за обедом ничего не ел и почти не разговаривал со своей соседкой императрицей. «Император говорил мне вещи ужасающие!» – только сказал он перед отъездом на вокзал.

Однако в марте 1905 года Вильгельму никакой войны не хотелось, и он отнесся к плану поездки в Танжер очень неодобрительно. Сказал канцлеру, что визит вреден и опасен, так как мароккский вопрос заключает в себе слишком много зажигательного материала: «zu viel Zündstoff». Бюлов не отставал, ссылаясь все на то же: на престиж Германии. Он и сам не хотел войны или думал, что ее не хочет, но любил «*finassieren*»²⁵ и беспрестанно повторял приписываемые Бисмарку слова: «Надо всегда иметь на огне два утюга». Хорошо зная императора, соблазнял его и эффектом. Речь в Танжере император должен был сказать, сидя верхом на коне. Дело было подробно разработано в тайных переговорах с мароккским султаном. Были приготовлены лучшие лошади султанской конюшни. Вильгельм уступил и, в сопровождении большой свиты, выехал в Танжер.

Море было беспокойное, пароход сильно качало, император чувствовал себя не очень хорошо. По дороге он опять начал колебаться: нужно ли ехать? вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война? Помимо прочего, она означала бы конец дружбы с царем, быть может и с другими монархами; гвардия, вероятно, вся погибла бы, армия сильно пострадала бы, все пришлось бы восстанавливать сначала, – каких денег это стоило бы? Правда, почти все его предки вели войны, и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не повоевать. Большая дипломатическая, а тем более военная победа чрезвычайно увеличила бы престиж. С другой стороны, были еще разные причины для колебаний. Танжер был гнездом анархистов, можно было ждать покушений или хоть враждебной демонстрации. Капитан, качая головой, говорил, что в такую погоду причалить к берегу в Танжере невозможно, его величеству придется отплыть с парохода на лодке, а она, при сильных волнах, может и опрокинуться, или же всех вода обольет с головы до ног.

²⁴ Остролов (*франц.*).

²⁵ Лукавить, хитрить (*франц.* *finasser*).

Эффект мог пропасть. Император колебался все больше. Из Лиссабона он по телеграфу известил канцлера, что решил в Танжер не ехать. Пришла ответная телеграмма с мольбами, убеждениями, почти с угрозами: можно ли не считаться с мнением германского народа? Германский народ ни о каком Танжере и не слышал, но как было не поверить Бюлову? За час до высадки император сказал Кюльману: «Я не высажусь!» – и высадился.

Лодка его не опрокинулась, арабский жеребец, хотя и взвизывался на дыбы, но дал на себя сесть, и фотографии вышли чрезвычайно удачными. Правда, революционеры орали. Вильгельм II, по его словам, произнес речь «не без любезного участия итальянских, испанских и французских анархистов, жуликов и авантюристов». В возбуждении и чтобы проявить независимость, он даже отступил от подготовленного канцлером текста и сделал свое слово еще более «энергичным». Впечатление во всем мире было сильнейшее. В демократических странах все негодовали, газеты вышли с огромными заголовками: в Танжере брошена бомба! Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Трудно сказать, кого император называл «авантюристами», – себя и Бюлова, разумеется, к ним никак не причислял. Но верно еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются.

Все обошлось очень хорошо. Войны не произошло. Французский министр иностранных дел Делькассе, после бурного правительственного заседания, подал в отставку. Престиж Франции понизился, престиж Германии вырос. Канцлер получил княжеский титул.

В своих воспоминаниях Бюлов изобразил себя крайним миролюбом, с негодованием издевался над своим преемником Бетманом-Гольвегом, который по глупости и неосторожности довел в 1914 году Германию и весь мир до катастрофы. В действительности, и его собственная ценная идея очень способствовала приближению войны, как и тому, что Англия выбрала второй утюг и – без восторга – перешла на сторону Франции и России. Бюлов понимал значение своих действий не лучше, чем Бетман-Гольвег, Эренталь, Делькассе, Извольский. Все они бессознательно направляли Европу к *самоубийству* и к торжеству коммунизма – тоже, конечно, не вечному, но оказавшемуся уже очень, очень долгим.

II

Незадолго до возвращения из Парижа в Россию Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности.

– Как же мне быть? – с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбонне стал доктором парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке, и всего один раз напомнил, что «давно ей это говорил»:

– Паспорт у каждого должен быть исправен.

– Да, да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта, это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души.

– О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз.

– Я уверена, что нет.

– В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался, но дело не в моей душе, а в твоём паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели.

– Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я.

– Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, будто ты хочешь стать эмигранткой. Ты уже давно скучаешь по России. Гораздо больше, чем я.

– Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно неважно.

– Разумеется, твоя деятельность, в отличие от моей, имеет для мира огромное значение. Но возвращаясь к делу: ты завтра же пойдешь в наше консульство...

– Как же! Непременно! – сказала Люда, раздраженная словом «пойдешь». – Как это я пойду в императорское консульство?

– Так просто и пойдешь или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в «императорское консульство» сама. Может быть, там тебя не схватят, не закуют в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство не так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оно от этого тоже не погибнет.

– Разумеется! Ты всегда все отлично знаешь!

– Ты мне сама говорила, что он преспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России легально по почте или через банк, по его настоящему имени: Николай Степанов.

– Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь.

– Да я сам видел у тебя на его брошюрке: Николай Ленин.

– Псевдоним «Николай Ленин», а имя «Владимир Ульянов».

– Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто он и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум.

– У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великоросс и, кстати, дворянин.

– Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойдешь.

Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно несколько не собиралась становиться эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим: о здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в дешевом

пансионе. Ни души знакомых не было. По два раза в день гуляли в лесу. Он различал деревья, умел даже определять их возраст или, по крайней мере, знал, как это делается, объяснял Люде (которая никаких деревьев, кроме берез, не знала), наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась: в таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж.

Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Ленин и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспомнила с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве, перед отъездом в Россию; следовало бы получить от Ильича инструкции. Но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку, хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела.

В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные; пансион был *bien pensant*²⁶. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Temps», что ей казалось пределом и скуки, и человеческого падения. Пробегала светский отдел «Фигаро». Снобизма у нее не было, но звучные имена герцогинь и маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросилось в глаза: М. Alexis Tonuchev. Она радостно ахнула: «Конечно, он! Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве». Газета называла его имя в списке гостей на приеме, впрочем не очень важном, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству, – его имя упоминалось в светской хронике довольно часто. Теперь Люда подумала: «Вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции, будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл?»

С Тонышевым она лет шесть тому назад встретила в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат которой отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обеими и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл.

На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Революционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев, и узнав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги: «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек лет тридцати или тридцати пяти. «Ну да, он, я сейчас же узнала бы!» Тонышев ее не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой! Кто такая и где я ее встречал?» – спросил он себя и наудачу поздоровался как со знакомой, – не спросил: «чем могу служить?» Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив.

– Что вы! Разумеется, узнал вас тотчас. Вы несколько не изменились.

– Вы тоже не изменились. Даже монокля не носите, хотя и дипломат, и даже, я слышала, известный дипломат. Мне недавно попало ваше имя в хронике «Фигаро» и даже без *de*. – Он удивленно на нее взглянул. – Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с *de*.

– Очень скучный был прием. Но картины у них прекрасные.

– А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя-отчество. А вы моего наверное не помните: Людмила Ивановна.

²⁶ Благомыслящий (*франц.*).

– Вас тогда и нельзя было называть по имени-отчеству. Вам было лет шестнадцать, это был верно ваш первый бал? – сказал он с улыбкой. – Какое же у вас дело? Разумеется, я весь к вашим услугам.

– Оно небольшое и скорее зависит от консульства, чем от посольства. – Объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить.

– Действительно, вы правы, – сказал он. – Продление паспорта зависит от консульства.

– Но я там никого не знаю.

– Личное знакомство тут и не требуется. Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности?

– Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульская братия упадет в обморок.

Он немного поднял брови.

– Вы хотели стать эмигранткой?

– Не то что хотела, но одно время думала и об этом. Теперь раздумала.

– И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значитесь?

– «Худого» ничего. По крайней мере на мой взгляд.

– Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там наверное есть списки неблагонадежных лиц, – сказал он, не разясняя слова «там». – Но так как ничего «худого» за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь, и я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться.

– Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует!

– Я тоже надеюсь, – улыбаясь, ответил он. – Сообщите мне ваш телефон.

– У меня нет этого инструмента.

– Неужели еще есть счастливицы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу.

– Вы очень меня обяжете, – сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. «Разумеется, революционерки такие не бывают», – подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел.

Тремя днями позднее под вечер Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты. Однако котлеты требовали труда и времени, да еще вдобавок «плевали жиром со сковороды», и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла; надевала, стряпая, белый халат и завязывала волосы платком. Сама в еде была непривередлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартирку в чистоте.

Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже, а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну: «Тоньшев! К нам!..» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке. Кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале – «прическа не смялась» – и отворила дверь. Тоньшев, в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его:

– Не очень помешал? Незванный гость хуже татарина.

– Нисколько не помешали. Я очень рада.

– Я только на несколько минут.

– Да почему «на несколько минут»? Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул... Пойдем в гостиную.

– Ваше дело с паспортом в полном порядке.

– Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень, очень вам благодарна. Усаживайтесь.

– Я собирался вам написать, как было условлено, но сегодня суббота, вы получили бы письмо только послезавтра или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я получил в консульстве ответ только часа два тому назад. Поэтому я позволил себе к вам заехать.

– Да вы точно оправдываетесь! Это так любезно и мило с вашей стороны.

– Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не более получаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют.

– Особенно, когда есть к черту и протекция.

– В самом деле я за вас у черта поручился, – сказал он, смеясь. – Пожалуйста, не подведите меня.

– Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. Но вас, наверное, не повесят, разве только сошлют в каторжные работы, – весело говорила Люда. – Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время, но хотите портвейна? Я выпила бы с вами.

– Если вы так добры.

Люда вышла на кухню. Там у них был графин с банюильсом, который она выдавала за портвейн, угощая некомпетентных гостей. «С ним это верно рискованней, но ничего, сойдет... Какой элегантный!» Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше, чем через час. Это было кстати.

Тоньшев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. «Замужем? Курсистка? Едва ли». Взглянул на лежавшие на столе книги: «Что делать?» Это хуже. – Имя автора «Н. Ленин» было ему неизвестно. «Но ведь «Что делать?» это Чернышевского?» Другая книга была успокоительней: роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее, кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен *un prince de la science*²⁷. Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный *prince de la science* очень мало похож на настоящих ученых.

Поль Бурже давал тему для начала разговора: от него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Прево, к Анатолю Франсу, к Киплингу, еще легче к модным курортам, к Трувилю, Веве или Остенде. По обстановке квартиры Тоньшев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно; было именно приятно, что он не старается блистать, как профессиональный *causeur*. Он много читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было «делать поправку на их время».

О легком походе с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но, еще прощаясь с Людой в посольстве, он сказал себе, что собственно в таких похождениях ничего неблагородного нет, да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом?

– Боже, как отстал этот человек! Я встречал Бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века и вдобавок влюблен в аристократию, хотя сам *Monsieur Bourget tout court*²⁸. Да и по таланту где ему до Эмиля Золя! Вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса.

²⁷ Ученый муж (*франц.*).

²⁸ Всего-навсего господин Бурже (*франц.*).

К удивлению Люды, оказалось, что Тонышев недолюбливал антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила, и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко.

– Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел. У нас такие люди невозможны!

– И вы довольны службой?

– В общем доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену.

– Вот как? – спросила Люда с огорчением. «Но какое мне до него дело?» – рассердившись на себя, подумала она. – Это повышение?

– По должности повышение. Вена тоже красивый город. Интересно будет взглянуть и на их застенчатый двор, с этикетом пятнадцатого века. Вдобавок, Австро-Венгрия теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но...

– Каких швабов?

– Я хотел сказать: немцев. Но австрийцы в частности наши противники. Что ж делать, «la vérité a des droits imprescriptibles»²⁹, как говорил Вольтер. Необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места, новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты.

– Куда же вы уйдете на покой?

– У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое, но оно дает мне возможность сносно жить, – сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она.

– Родовое имение?

– Нет, не родовое. Я не «столбовой», – весело сказал он. – Имение купил отец и выстроил там дом, не «в стиле русского ампира», а просто удобный дом с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю и всегда чувствую, что и у меня, кочевника-дипломата, есть свой дом. А какая там охота!

– Вы охотник?

– Горе-охотник. Впрочем, почему же «горе»? Я охотник настоящий и стреляю влет недурно.

– Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания мемуаров? Охота – развлечение, нельзя же только развлекаться... Вы женаты?

– Нет, не женат, – ответил он. Теперь был случай спросить ее, замужем ли она. Но Люда предупредила вопрос:

– Будете скучать? Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах. – «Вот как. Я думал, она колокольного происхождения: Никонова», – подумал Тонышев в чужих привычных словах; сам был к вопросам происхождения равнодушен. – У нас никакого имени не было.

– Нет, скучать не буду. Я нигде никогда не скучаю. Буду охотиться, ездить верхом. Я недурно ездю, отбывал воинскую повинность в кавалерии. «Не сказал «в гвардии», – подумала Люда.

– Ведь вы, кажется, служили в кавалергардском полку или в лейб-гусарском?

– О нет, эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии драгунском, второй дивизии. И я не очень люблю военную службу, – ответил он.

²⁹ «Правда имеет неписанные права» (франц.).

Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось Люде. Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятьями.

– Вы в Париже давно?

– Третий год. Какой очаровательный город, правда?

Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала не часто, выставками мало интересовалась, но с честью поддерживала разговор. «Однако, для царского дипломата он очень образован!» – думала она.

– Я особенно люблю Париж ранней весной, когда еще сиверко, – сказал Тонышев. «Сиверко»! Надо запомнить».

– Представьте, я тоже. Обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет.

– Вы мне дадите мысль, – нерешительно сказал Тонышев. – Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали в одном из этих чудесных ресторанов? Вспомним и Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходит, старые знакомые!

Люда смотрела на него озадаченно. «Очевидно, думает «завести интрижку»? Никакой «интрижки» ему не будет, но почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без «заранее обдуманного намерения». Отчего бы и нет? Обед Аркадию готов, отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет, успеется».

– Спасибо, это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять?

– Разумеется. Сколько вам угодно! – радостно ответил он.

Люда вышла в спальную и написала записку: «Аркаша, обед готов. Разогрей бифштекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед!!! Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита. Л.» Ее платья были в шкафу в спальней. Она выбрала подходящее.

Тонышев тем временем перелистывал «Что делать?». Опять подумал: «Это хуже». Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если решил быть в жизни «наблюдателем»... Бисмарк дружил с Лассалем».

III

Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут, столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.

– Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? – спросил Тоньшев. – Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения, мы с него начнем: вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.

– А вы гастроном? И знаток вин? – спросила Люда, беспокойно вспомнив о банюильсе.

– Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.

По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без рисовки человек», – думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».

– Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете, – пояснил Тоньшев.

– Без вас и я не буду пить, – сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского.

– Тогда выпью бокал и я.

Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?

– О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве: достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура à clef³⁰: выводил своих знакомых!

– Ось лихо!

– Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.

– Нет, я коренная великоросска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу ни к городу как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло, да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»

– Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею, – сказал Тоньшев. Обоим было весело.

– А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?

– Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.

³⁰ Спisanная с натуры (франц.).

– Я тоже.

– Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в чеховской «Сирене».

Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую:

– Я ее обожаю! – сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!». – Комиссаржевская *наша*, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!

– Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.

– Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?

– Только докладные записки. Правда, веду дневник.

– Вот как! О чем же?

– Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.

– Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?

– Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.

– Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?

Он вздохнул.

– Вы попали в большое место. Да, перевозю и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!

– Хорошая у вас квартира?

– Не сочтите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.

«Однако! – подумала Люда. – Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»

– Как-нибудь с удовольствием.

– Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда, – предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер³¹ с гарсоньерками!» – подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких». – Вот и отдадите мне визит, – пошутил Тонышев. – Или вы по вечерам не выходите?

«Это значит: «Или вы замужем?»» – перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.

– Отчего не выхожу? В самом деле можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?

– В театр уже поздно.

– Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?

– Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками *уж* очень банален. Хотите побывать на «Bal d'Octobre»?

– Какой «Bal d'Octobre»?

³¹ Прожигатель жизни (*франц. viveur*).

– Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin, и в «Ange Gabriel», и в «Le Chien qui fume»³². «Bal d'Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs»³³. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.

– Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консержку, верно, произвел сильное впечатление, – сказала Люда. – «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».

– Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.

– Не в моем ученом квартале, – сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «Мой квартал, моя консержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» – подумал он. – Но вы были верно еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? – спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.

– Никакого придворного звания не имею... Вы верно меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? – спросил он, засмеявшись. – Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону... Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.

– Значит, вы сочувствовали его убийству? – насмешливо спросила Люда.

– Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.

– Довольно неожиданно для царского дипломата.

– Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать... А вы очень левая? – весело спросил он.

– Очень. Но я не хочу говорить о политике.

– Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если...

– Если что? – спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», – подумала она.

– Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет, – закончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный. В старости верно будет носить великолепную окладистую бороду à la... Не знаю à la кто... И это его испортит. Он недурен собой».

³² «Собака, которая курит» (франц.).

³³ «Прогулка великих князей» (франц.).

– Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, – сказала она. – За что же? Давайте выпьем как запорожцы: «щоб нашим врагам було тяжко»!

- За это не могу. Я не запорожец – и не революционер. У меня нет врагов.
- Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.
- Выпьем «щоб нам було хорошо».
- Что ж, можно и так.

Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой.

– Вы верно видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику Пятнадцатому, – сказал он. – Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!

Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это видимо доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостя мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя...» На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему?»

– Сколько у вас книг! Завидую, – сказала она. Тонышев улыбнулся.

– Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха. Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?

– Ни на что, – подумав, ответила Люда с досадой. – У вас на шкапу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание. «Евгений Онегин» моя любимая опера.

– Хоть тут мы с вами вполне сходимся.

– Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.

– И слава Богу!

– А вы играете на рояле?

– В молодости учился.

– «В молодости»! Значит, теперь вы «стары»?

– Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.

– Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?

– Это мой трюк! – сказал Тонышев. – Та, что слева, это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже?

– Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет?

– Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.

– Я этого и в мыслях не имела!

– Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?

– Помилуйте, после такого обеда!

«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы», – подумала Люда.

Она действительно никогда никаких походов не имела и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал Съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаления. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь – не надо, найду другую». Где же мы встретимся? Писал он из Женевы довольно мило», – вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тоньшевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джамбулом!»

– ...А вы скоро переезжаете в Вену?

– Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть...

– И себя показать? – спросила Люда. «На Певческом мосту»! Конечно, чужой мир!

– И себя показать, совершенно верно.

– Вы в Москве не будете?

– Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?

– Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, – ответила Люда, уточняя «родства». – Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.

– Я был бы чрезвычайно рад.

– Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады... А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш *Val d'Octobre*? Почему оно так называется?

– Не знаю, в самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее. – Тоньшев посмотрел на часы. – Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, – сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем тоже элегантно, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.

– Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные... Едем.

У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тоньшев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.

– Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, – сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.

В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В середине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папиросой в зубах. «Апаш! Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» – еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом

с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.

– Вот это и есть «ночной Париж», – сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована. – Вы удовлетворены?

– Удовлетворена.

– Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.

– Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаша?

– Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.

– Не может быть!

– Забавно, что здесь играют сентиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.

Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папиросой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.

– Вы не жалеете, что пришли?

– Не жалею. Надо увидеть и это.

– Пожалуй, хотя особенно необходимости я в этом не вижу.

Лакей налил им абсента.

– Два франка. Деньги вперед, – сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».

– Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! – сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. – Вот с такими явлениями мы и боремся.

– Кто мы?

– Социалисты. Я социал-демократка.

– Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?

– Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.

– Я с этим совершенно согласен, – сказал Тонышев. «Уж очень obvious³⁴ то, что она говорит. Мы с ней и люди разных миров», – подумал он. – То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.

– Какая уж религия! Я атеистка.

Он вздохнул:

– Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.

– Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.

³⁴ Очевидно (англ.).

Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «Très russe!»³⁵ – сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:

– Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский... Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна... Как кстати ваше уменьшительное имя?

– Люда.

– Вы так молоды. Можно вас называть Людой?.

– Можно.

К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тоньшев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.

– Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого, – сказала она. Тоньшев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.

– Вы расстроены? Если хотите, пойдём?

Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» – подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.

– Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы, – поспешно сказал Тоньшев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тоньшеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.

На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тоньшев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.

– Мы найдем извозчика у церкви, это налево, – сказал он. С минуту они шли молча.

– Извините меня, я глупо разнервничалась, – сказала наконец Люда.

– Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.

– Отчего же?

Они нашли извозчика.

– Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или репортер, – сказал Тоньшев. – Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.

– Да, вышибли аппарат... А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.

Тоньшев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:

– Когда я могу быть у вас, Люда?

– Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите... И еще раз спасибо за вечер, – сказала она и отворила дверь ключом. Тоньшев смотрел на нее с недоумением... «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» – думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.

³⁵ «Очень по-русски!» (франц.).

IV

Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.

– По-моему, могут напечатать, – говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. – Ты когда ее доставил?

– Тридцатого июня. Если бы приняли, то уже появилась бы, – отвечал со вздохом Эйнштейн.

– Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета!

– Вероятно, возвращаются.

– Но почему же ты думаешь, что не примут?

– Потому, что я никто; не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.

– Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!

Эйнштейн только вздыхал.

– Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, une fumisterie, – с трудом выговорил он французское слово. – Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности это именно fumisterie?

– Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! – бодро отвечал Бессо. – Увидишь, напечатает хотя бы как парадокс.

Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал, почему на ней женился. А она уж, наверное, плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину, – он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались, поверх веревки с сушившимся бельем, видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли, – Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:

– Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любит науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.

– Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?

– Может быть, и ничего, – соглашался Эйнштейн. – Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.

Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехническую

школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаниями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, – как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но, при своем латинском уме, все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.

И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «*Annalen der Physik*», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «*Zur Aerodynamik bewegter Körper*», von A. Einstein³⁶. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:

– Это я тебе предсказывал? Теперь о твоей работе говорит весь мир!

Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и оттого, что в конце Альберт выразил «благодарность» своему другу М. Бессо. Прочитав слова: «*Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben*»³⁷, он многозначительно поднял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке, – от волнения еще хуже, чем обычно.

На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый как нищий иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».

Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь – тоже с некоторым скрытым недоумением – сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван’т Гофф и Гендрик Лорентц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн? где преподает?

Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним сравниться

³⁶ «К проблеме аэродинамики движущихся тел». А. Эйнштейн (нем.).

³⁷ «Мы хотим это предположение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» (нем.).

по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать; так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.

Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился, – был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными идеями, которые могли изумить не одного Бессо.

– Что такое в геометрии «пи»? – спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя. – Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.

– Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи, – отвечал Бессо, настораживаясь при новых «тевтонских глубинах». – «Пи» это отношение окружности к диаметру: три запятая, один, четыре, один, пять, девять... Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.

– Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.

– «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!

– Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.

– Может сжиматься и расширяться? Время?

– Ну, да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна, и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.

– Ньютон и Лавуазье ошибались? – спрашивал Бессо уже с раздражением. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. – Они ошибались, а ты не ошибаешься?

– Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравнение с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию.

– Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например в электрический ток.

– Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, – говорил Эйнштейн со вздохом.

– Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.

– Он чудак. Атом такая же реальность, как этот стол.

– И много энергии ты надеешься из него извлечь?

– Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество, мы все станем богачами.

– Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя верно нет сейчас и ста франков?

– Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.

– Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли.

– Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять *все*. Да я еще почти ничего и не сказал.

– Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в...

V

Дмитрий Анатольевич просыпался, без будильника, всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаниями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел возможно меньше. Она понимала, что требование разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. «Ты ведешь меня прямо к кондрашке!» – говорил весело Дмитрий Анатольевич. – «Помилуй, какая кондрашка в твои годы! И от мяса не полнеют. Право, возьми еще ростбифа. Кажется, он сегодня очень хорош, именно такой, какой ты любишь». Ласточкин, хотя и с угрызеньями совести, соглашался: он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар.

В свое время он составил себе «расписание». На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково-иронически:

– Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию? – сказала она. – Да никогда всего и включить нельзя.

Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь возможно больше порядка и точности; так, аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы; никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал; настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время.

В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру, и Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева «свежей полочки, прямо из Астрахани». Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар – не принятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть не при Петре Великом; пора бы, где можно, освободить прислугу от лишнего труда.

Не любил он только домов новой московской стройки, и лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт, устроил вторую ванную, для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей: «Чрезвычайно вредно, ты просто себя губишь!», и она тоже этому не верила. «Собственная ванна – это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость!» – сказала она мужу и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице: «Ну, не единственная, конечно, но самая главная». На стене был шкапчик красного дерева; поставили туда борную кислоту, бертолетовую соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин, фенацетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность их благоустроенной жизни: есть на случай и борная кислота.

В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся от времени бедности, снесли на чердак: Дмитрий Анатольевич предлагал раздарить ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась: с этой мебелью было связано прошлое. Как ни счастлива она была теперь, пожалуй, еще лучше было прежде, когда они

молодоженами покупали за дешевку шкапы, столы, стулья. Чуть было не прослезилась, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни: помнила и лицо, и фамилию старьевщика, помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой.

В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба, – Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это собственно такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся барами, и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных парвеню», – говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом. Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон это не Версаль и не Трианон, успокойся, Митенька. Просто у нее был хороший вкус. И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет, и это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки», – весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы: любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой, ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую, но уже с год ее гостям не показывал: его пишущая машинка не подвигалась. Все в доме сверкало чистотой и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной», – «точно тебе в других местах грозит какая-то опасность», – недоумевала Нина.

На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы, – Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и «сверхъестественные издания», как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский Вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла, «Харьковскую Речь», так как его жена родилась в Харькове, «Фигаро», чтобы «следить за Парижем», международный финансово-экономический журнал, – полезно просматривать, – и уж совершенно ни для чего не нужные «Известия Московской Городской Думы» и «Земскую Неделю». Второй год выписывали также «Правду». Этот ежемесячный журнал «ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабочего класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед». Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький:

– В нем, понимаете, участвует цвет мирового социализма и цвет русской литературы! – сказал он с силой, увеличивавшейся от говорка на «о». Дмитрий Анатольевич, в отличие от всех недолюбливавший этого знаменитого писателя, думал, что он говорит так нарочно, – «мог бы давно отучиться!» Удивляло его и то, что Горький говорил: «Бе́рлин», «Жо́рес» с удареньями на первом слоге.

Покупали Ласточкины и много новых книг, русских и иностранных. Прочсть все это очень занятому человеку было почти невозможно; Дмитрий Анатольевич стыдился, что покупает и не очень читает; так делали и чуть ли не все люди его круга. Впрочем, Татьяна Михайловна читала почти все. В отличие от мужа, и разрезывала книги не без удовольствия. Они лежали в порядке на круглом столе гостиной, пока не убирались в книжные шкапы и не заменялись другими.

Ласточкин пробежал письма; старался всегда отвечать в тот же день или хоть в первый свободный вечер (свободных вечеров у них было не более одного-двух в неделю). На этот раз

письма были либо печатные, разные циркуляры банков и промышленных предприятий, либо не требовавшие ответа. Это было приятно. Он развернул «Русские Ведомости». Особенно любил и уважал эту газету, знал ее редакторов, они бывали у него, и он бывал у них. Но в последнее время газета чуть его раздражала, – не направлением, а необыкновенным спокойствием (которое, впрочем, составляло часть направления); это спокойствие в обществе называли «академическим» люди, не знавшие академий. Сам Ласточкин, при страстности своего характера, и прежде, и особенно теперь, никак спокойным быть не мог. Правда, и тон «Русских Ведомостей» несколько изменился последнее время, однако меньше, чем тон других газет: никогда они столь смелыми не были. Ясно было, что надвигаются важные, а может быть грозные события. В разных местах России, особенно на Кавказе, происходили беспорядки, убийства, грабежи. Их приписывали то социалистам-революционерам, то анархистам, то, как писали газеты, «уголовным элементам». Многие говорили и о работе новой партии или фракции большевиков. Это слово было еще непривычно; москвичи думали, что так называется революционная партия, которая требует еще больше, чем другие.

Одни в московской интеллигенции тайно или открыто сочувствовали этим делам, другие считали их неизбежным последствием правительственной политики, третьи просто разводили руками и своего мнения не высказывали. Обо многом газеты еще писать не могли. В обществе сообщались невероятные слухи: надвигается революция, царь должен будет отречься от престола в пользу одного из великих князей (назывались разные имена) или же уйдет вся династия Романовых и на престол будет посажен князь Долгоруков. Этот либеральный князь был москвич, слух был приятен московскому патриотизму, но вызывал у некоторых и недоумение: «Как же так? Вчера был свой брат, пили чай у него на Колымажной, а завтра называй его «ваше величество»! Да и почему он? Мало ли в России князей?»

Ласточкин, впрочем, не верил слухам и не знал, радоваться ли им или нет. Он был и левее и правее своих друзей. Умеренные люди теперь возлагали главную надежду на Витте: он один, при своем необыкновенном уме и государственном опыте, может спасти Россию. Другие резко возражали: Витте просто карьерист без убеждений, да и незачем *спасать* от революции: она стала единственным выходом из трясины. К удивлению Дмитрия Анатольевича, большинство его знакомых были или казались настроенными очень радостно, как прежде давно не были. Он этого радостного оживления не чувствовал. Война, падение Порт-Артура, Цусима понемногу уменьшили то, что он сам шуточно называл своим «неизлечимым оптимизмом». Он больше не говорил о сказочном росте русской промышленности и о необычайном расцветании России. Промышленность продолжала расти, – быть может, из-за войны росла даже еще быстрее, – все улучшались и его личные денежные дела, он стал членом правления еще двух обществ. Татьяна Михайловна убеждала его этого не делать:

– Митенька, зачем нам еще деньги? Ты больше отдыхал бы. Помни, что говорит доктор!

– При мне один человек, гораздо богаче меня, в ответ на вопрос, зачем ему еще деньги, сказал: «В Америке говорят: «A little more to make enough»³⁸. А я хочу не только денег, – смеясь, отвечал Дмитрий Анатольевич. Однако новая неожиданно ему открывшаяся противоположность между государственным развалом и его личным благосостоянием была ему неприятна.

Прежде он знал очень многих в Москве, теперь уже знал всю Москву, то есть главных профессоров (университет преобладал в московской общественной жизни), известнейших политических деятелей, а также наиболее шумевших писателей. Знал их сложные личные и общественные отношения, это было важно. Бывал с женой в московских либеральных салонах, преимущественно у людей из делового мира, у «Варвары Алексеевны», у «Маргариты Кирилловны», – этих двух дам из Морозовской династии москвичи обычно и за глаза называли по имени-отчеству, без фамилии. Дворцы промышленных династий удивляли его. Иногда Дмит-

³⁸ «Еще немножко, чтобы было достаточно» (англ.).

рий Анатольевич шутливо убеждал сестру не строить, когда она станет знаменитым архитектором, ни венецианских, ни готических, ни других замков: «строй простой дом». Был раз на приеме и в правом по направлению салоне, – туда Татьяна Михайловна пойти решительно отказалась, да и сам он принял это приглашение неохотно; хозяин был с ним необычайно любезен и осыпал его любезностями, – как прежде Плевел говорил комплименты Михайловскому или Милюкову. Бывал Ласточкин – без жены – на разных политических совещаниях, у Новосильцовых, у Долгоруковых. Там ему стало известно и о готовящемся важном событии.

Действительно, в газете на самом видном месте было сообщено: Государь принял во дворце делегацию общественных деятелей. Эта делегация была задумана в Москве. Была выработана петиция на высочайшее имя. «Ваше Императорское Величество, – говорилось в ней, – в минуту величайшего народного бедствия и великой опасности для России и самого престола Вашего мы решаемся обратиться к вам, отложив всякую рознь и все различия, нас разделяющие, движимые одной пламенной любовью к отечеству. Государь, преступным небрежением и злоупотреблениями Ваших советников Россия ввергнута в гибельную войну. Наша армия не могла одолеть врага, наш флот уничтожен и, грознее опасности внешней, разгорается внутренняя усобица. Увидав вместе со всем народом Вашим все пороки ненавистного и пагубного приказного строя, Вы положили изменить его и предначертали ряд мер, направленных к его преобразованию. Но предначертания эти были искажены и ни в одной области не получили надлежащего исполнения. Угнетение личности и общества, угнетение слова и всякий произвол множатся и растут. Вместо предуказанной Вами отмены усиленной охраны и административного произвола полицейская власть усиливается и получает неограниченные полномочия и подданным Вашим преграждается путь, открытый Вами, дабы голос правды мог восходить до Вас. Вы положили созвать народных представителей для совместного с Вами строительства земли, и слово Ваше осталось без исполнения донныне, несмотря на все грозное величие совершающихся событий; а общество волнуют слухи о проектах, в которых обещанное Вами народное представительство, долженствовавшее уничтожить приказный строй, заменяется сословным совещанием. Государь, пока не поздно, для спасения России, во утверждение порядка и мира внутреннего, повелите без замедления созвать народных представителей, избранных для сего равно и без различия всеми подданными Вашими. Пусть решат они, в согласии с Вами, жизненный вопрос государства, вопрос о войне и мире, пусть определяют они условия мира или, отвергнув его, превратят эту войну в войну народную. Пусть явят они всем народам Россию не разделенную более, не изнемогающую во внутренней борьбе, а исцеленную, могущественную в своем возрождении и сплотившуюся вокруг единого стяга народного, пусть установят они в согласии с Вами обновленный государственный строй. Государь! В руках Ваших честь и могущество России, ее внутренний мир, от которого зависит и внешний мир ее, в руках Ваших держава Ваша, Ваш престол, унаследованный от предков. Не медлите, Государь. В страшный час испытания народного велика ответственность Ваша пред Богом и Россией».

Дмитрий Анатольевич принимал участие в обсуждении петиции, но не очень большое участие: ее составляли люди гораздо более известные, чем он. Ласточкин входил в московскую и даже во всероссийскую общественность, однако входил в нее преимущественно как «представитель торгово-промышленного класса» – по неписаному рангу это было все-таки чуть ниже, чем профессор, публицист или общественный деятель просто. Он всей душой сочувствовал петиции, но кое-что в ней ему не нравилось. Не нравился слезливо-торжественный стиль: «Тот же казенный слог, только обратный». Не нравилась некоторая неискренность: составители петиции, он знал, не думали, что государь так ненавидит «приказный» строй и что все его предначертания были кем-то искажены. Не нравилось и заверение, будто народные представители могут, если захотят, превратить войну с Японией в «войну народную», установить «мир внутренний» и сплотить Россию вокруг какого-то «единого стяга народного».

Преувеличенной ему казалась и гражданская скорбь авторов петиции. Тут, впрочем, он себя никак от них не отделял. «У нас у всех, – думал Дмитрий Анатольевич, – есть личные, практические, прозаические дела, они для нас важнее политических, пожалуй и никак с теми не вяжутся. Можно ли много думать о своих имениях, о дивидендах, о гонорарах и одновременно о стяге народном?» В последнее время Ласточкин стал еще правдивее с собой, чем был прежде, и, быть может, поэтому еще противоречивее. Приятели говорили, что он полевел; между тем к возможной революции он относился гораздо мрачнее, чем большинство участников московских совещаний. Не очень одобрял он и состав отправившейся к царю делегации. В нее входили четыре князя, один граф, один барон, несколько нетитулованных родовитых дворян и больше не было почти никого. Он понимал, что это вышло более или менее случайно, но считал отсутствие крестьян, промышленников, купцов очень досадным, непростительным упущением.

В газете была напечатана и речь, сказанная государю фактическим главой делегации, князем Сергеем Трубецким. Дмитрий Анатольевич лично знал этого профессора и, как все, очень его почитал. Речь до некоторой степени пересказывала петицию, но по форме была значительно мягче. Ласточкин догадывался, что она была сказана хорошо, с искренним волнением и должна была произвести сильное впечатление. Он и сам был взволнован, точно ее слышал; но думал, что лучше было бы сказать то же несколько иначе. «Ну, что ж, сказано, посмотрим, что из этого выйдет. Скорее всего не выйдет ничего».

На третьей странице был еще некролог второстепенного публициста. Дмитрий Анатольевич пробежал его рассеянно, очень мало знал умершего. «Писатель, если только он – Волна, а океан – Россия...» «Этот крест он нес на своих плечах, нес стойко и мужественно сквозь терновник, густо заполнивший путь русской публицистики...» «И лишь под конец, сквозь мрак реакции, мелькнул и для него, как для всего русского общества, первый проблеск рассвета...» Зачем так преувеличивать? Какой он нес крест? И еще каков будет этот «проблеск»? – думал он с легкой досадой.

Вода в самоваре вскипела, он всполоснул чайник кипятком и насыпал чаю. «Я тоже делаю что могу, но никакого креста не несусь, и нельзя его нести за серебряным самоваром. Он, как и я, никогда, вероятно, не был ни в тюрьме, ни в ссылке, иначе в некрологе об этом упомянули бы. Едва ли Россия будет счастливой страной, если мы все не освободимся от фраз и преувеличений».

Было в газете небольшое сообщение о каком-то самоубийстве. Покончил с собой совершенно неизвестный ему человек; причиной была неудачная любовь. Дмитрий Анатольевич, почти никогда не читавший заметок о преступлениях, если только они не были уж очень сенсационными, сообщения о самоубийствах читал неизменно и всегда изумлялся. «Даже из-за любви никак не следует кончать с собой», – с недоумением подумал он и теперь.

Он просмотрел и петербургскую газету, и финансовый журнал. На бирже не играл, но имел немало выигранных билетов, русских и иностранных. Уже года три собирался продать некоторые ценности и на вырученные деньги купить небольшое имение. Татьяна Михайловна очень это поддерживала. Она мало интересовалась делами и ничего в них не понимала. В акции верила плохо, особенно с тех пор как бывавший у них профессор-экономист сказал за обедом, что на бирже «нездоровое оживление», которое рано или поздно должно плохо кончиться. За покупку имения под Москвой она стояла больше потому, что было бы хорошо возможно чаще увозить туда мужа для отдыха. Они осмотрели несколько имений, – не подходили. В одном был прекрасный дом, построенный каким-то графом в начале прошлого столетия. Однако покупать «графскую подмосковную» им обоим было совестно. В это близкое к Москве имение они съездили на своих рысаках, в этом тоже было что-то «нестерпимо графское», очень не понравившееся обоим. И оказалось, что нужно было бы вместе с домом купить триста десятин земли, а о земле Татьяна Михайловна и слышать не хотела: отношения с крестьянами

только ухудшили бы здоровье Дмитрия Анатольевича, особенно с тех пор, как начались аграрные беспорядки. Должности Ласточкина в торговых и промышленных предприятиях не были синеккурами, он немало получал по каждой жалованья, но, в случае его смерти, вдове никакой пенсии не полагалось, и никто из богачей, имевших с ним дела, о ней даже не подумал бы. «Если в самом деле оживление «нездоровое, или если произойдет революция, то и Таня, и Нина, и Аркаша останутся без средств», – говорил себе Дмитрий Анатольевич. Он застраховал жизнь на большую сумму и успокоился: такой революции, при которой страховые общества не исполнили бы обязательства, все-таки не представлял себе, – никогда таких нигде не было.

Накануне был розыгрыш одной из лотерей. Ласточкин всегда аккуратно просматривал выигравшие номера и обычно весело говорил жене и сестре: «Зато в следующий раз выиграем непременно». Так и в это утро, перейдя в кабинет, он достал из ящика список своих билетов и стал сверять. Вдруг сердце у него чуть забилося. «Неужели!.. Не ошибаюсь ли?! Нет, так и есть! Выиграл восемь тысяч!»

Сумма была невелика. Все же Дмитрий Анатольевич обрадовался чрезвычайно, – потом было даже несколько совестно вспоминать. Дело было даже не в деньгах, а в том, что и тут повезло, – во всем везет. Он хотел было разбудить жену и сообщить ей о выигрыше, но раздумал: «Незачем, Таня даже не обрадуется, она совершенно равнодушна к деньгам, – разумеется, пока их достаточно, – с благодушной улыбкой подумал он. – Сообщу, когда вернусь домой, с подарками им обеим. Может, и Люде купить подарок? Нет, Аркаша еще обидится. Ох, тяжело с ним». – Рейхель и Люда недавно приехали из Парижа, остановились у Ласточкиных, но скоро переехали в «Княжий двор».

Дмитрий Анатольевич вернулся домой раньше обычного, с футляром от Фаберже. Купил большую черную жемчужину в платиновой оправе. В магазине кольцо ему очень понравилось оригинальностью, но уже у подъезда дома ему пришла мысль: вдруг *черная* жемчужина означает дурную примету! С ним уже раз был такой случай: привез жене букет из хризантем, она мягко ему попеняла, – хризантемы часто кладутся на гроб! Ласточкин чуть было не вернулся к ювелиру. «Нет, Фаберже не стал бы у себя держать драгоценности с мрачными предзнаменованиями». Все же поднялся к себе несколько смущенно.

Татьяна Михайловна сидела в гостиной за роялем. Разучивала новое произведение Метнера, которого только начинали ценить знатоки. Она следила за музыкой и хотела разобраться в новом композиторе. Метнер ей понравился.

Она обрадовалась выигрышу и еще больше вниманию мужа. К драгоценностям была довольно равнодушна, имела их немного и просила Дмитрия Анатольевича их ей не покупать. Кольцо показалось ей необыкновенно красивым. Горячо поцеловала мужа. Он сразу вздохнул свободно: «Нет, приметы, что за вздор!»

– Как ты мил, Митя!.. А Нине ты что купил?

– Ей книги, знаю, что будет довольна. Кстати, уже привезли?

– Федор сказал, что принесли пакет для барышни. Он положил в ее комнату. Я и не видела. Люде и Аркаше тоже купил?

– Думал купить, но ведь они, чудаки, не примут?

– Аркадий верно не примет и еще насупится. Но отчего же не принять Люде? Ей лучше что-либо по туалетной части. Например, горжетку. У нее после Парижа мало вещей для нашей зимы.

– Тогда купи ты, я ничего ни в каких горжетках не понимаю.

– Это святая истина. Как ты говоришь, «поставь ее перед совершившимся фактом».

Сколько ты ассигнуешь, богдыхан?

– Сколько будет нужно.

– Я куплю, а передашь, конечно, ты. Она меня не жалуется.

– Дорогая, это неверно.

– Тебе отлично известно, что это верно. Но ты еще не знаешь, что тебя ждет! Милый, дорогой, добренький, подари мне пятьсот рублей для одного бедного пианиста. Он еще неизвестен, но очень талантлив. Теперь заболел чахоткой, денег, конечно, ни гроша. Кит Китыч, дай!

– Кит Китыч в первую же минуту решил, что даст своей жене десятину, то есть восемьсот рублей, на всякие ее темные дела. Кажется, твои древние предки в Палестине давали одну десятую? – сказал весело Ласточкин.

– Помнится, даже одну седьмую. Но десятой вполне достаточно. И, разумеется, ты должен купить подарок и себе. Или я тебе куплю на твои деньги. Знаешь что? Я куплю тебе пейзаж Левитана, который тебе так понравился.

– Вот еще! За него просили две тысячи.

– Это будет подарок нам обоим. И это помещение капитала. И не каждый день выигрываешь в лотерею! Идет?

– Идет. Вот мы уже и разбазарили большую часть выигрыша.

– Так и надо. Видно, «подмосковной» не купим и на этот раз. Ты очень щедрый, Кит Китыч.

– Если так, то надо еще раз поцеловать Кит Китыча.

– Это, пожалуй, можно.

В гостиную вошла сестра Ласточкина Нина, очень миловидная блондинка, с небольшим, почти треугольным лицом, просто и прекрасно одетая. Нина радостно поздоровалась с братом и поцеловала Татьяну Михайловну, что регулярно делала при каждой встрече и при каждом расставании. Они нежно любили одна другую. Узнав о выигрыше, бросилась брату на шею.

– Как я рада! Тебе во всем везет!

– Не сглазь, Ниночка. Посмотри, что Митя мне купил по этому случаю!

Нина ахала и восторгалась, примеряла кольцо на свой палец, потребовала, чтобы Таня тотчас его надела и носила «не по парадным случаям, а всегда!». Дмитрий Анатольевич ласково на них смотрел. Он тоже очень любил свою сестру. Их называли самой дружной и счастливой семьей в Москве.

– Как ты догадываешься, Митя и тебе купил подарок.

– Не может быть! Что? Что? Покажи!

– Он у тебя в комнате. Довольно грузный, не поднимешь, – сказал Ласточкин. Они пошли в комнату Нины. Эта комната тоже, как круглая гостиная, выделялась в квартире Ласточкиных. Нина одна из первых в Москве решила, что совершенно не нужно «единство стиля». В ее большой красивой комнате все было самых разных стилей и эпох. Были и старинные вещи, и новые, подлинные и хорошие подделки, все было расставлено умышленно несимметрично, и тоже несимметрично, сбоку, рядом с полочками для статуэток, висела на стене недурная огромная копия известной картины Жигу: «Леонардо да Винчи умирает в Фонтенбло в объятиях короля Франциска I», – Татьяна Михайловна говорила, что у этой картины есть один недостаток: Леонардо умер не в Фонтенбло, и король при его смерти не присутствовал.

Дмитрий Анатольевич развязал и вынул из обертки и толстого складчатого картона кучу книг. Это было многотомное, иллюстрированное, в великолепных переплетах, английское издание истории архитектуры всех времен и народов. Восторгу Нины не было конца.

– Я именно об этом издании долго мечтала! Но оно стоит так дорого! Ах, как я тебе благодарна, Митенька! И тебе, дорогая моя! – говорила она, опять целуя обоих.

– Мне-то за что? Я и не знала, что это такое. А у тебя найдется в шкафу место для этой машины?

Они втроем занялись обсуждением места. Нина решила, что поставит Гнедича и словарь на нижнюю полку, а на их место «это чудо».

– Сегодня же после обеда начну читать! И не читать, а изучать! Вы не можете себе представить, как мне это нужно!

– После обеда нельзя. У нас винт, и ты должна быть четвертой, Ниночка, без тебя второго стола не будет.

– Винт так винт. Обожаю винт! Люда придет? Или она бойкотирует карты?

– И карты, и нас, – сказала Татьяна Михайловна.

– Что ты говоришь, Таня? – возразил Дмитрий Анатольевич. – Просто они очень заняты.

– Чем бы это? Аркадий, допустим, наукой, а Люда чем? Освобождением России?..
Кстати, сегодня у нас борцов за идеалы не будет? – спросила Нина. Она так называла политических деятелей, собиравшихся в их доме.

– Не будет, – ответил Дмитрий Анатольевич с легким неудовольствием. Он не любил хотя бы и безобидных насмешек над тем, что никакой иронии не заслуживало.

VI

Нина в самом деле любила винт, как любила теннис, крокет, верховую езду, театр. Она была не менее жизнерадостна, чем ее брат. Но ей казалось, что карты все-таки удовольствие стариковское (хотя играли в винт и гимназисты). В последний год она часто себя называла «старой девой». Это пока говорилось и принималось как шутка; однако она понимала, что скоро ее будут так называть и всерьез.

Еще недавно она училась на курсах. И теперь ей жилось не худо, но тогда было еще веселее. Кружок молодежи, к которому она принадлежала, мало интересовался политикой, то есть не участвовал в сходках, демонстрациях, беспорядках. Она и ее друзья неопределенно сочувствовали целям сходок и демонстраций, но в тюрьму никто из них не попадал; никто даже и не желал приобрести «тюремный стаж» и «ореол мученичества», для которого, впрочем, было вполне достаточно очень непродолжительного пребывания под арестом или же высылки из Москвы. Но в подписках в пользу заключенных принимали участие почти все и в ее группе.

Ласточкин был рад, что его сестра не занимается политикой. Он и сам ею не занимался в свое студенческое время, и хотя ни тогда ни теперь этого не говорил, но думал, что громадное большинство учащейся молодежи предпочитало бы обходиться без демонстраций, высылки и арестов; это было неудобно ввиду «чуткости» и «свободолюбия», давно за учащейся молодежью признанных и утвержденных общественным мнением. Дмитрий Анатольевич не выносил скептических мыслей; однако иногда ему казалось, что самый идеализм студентов и курсисток очень преувеличен газетным клише: чрезвычайно многие из них думают о карьере гораздо больше, чем люди пожилые и – тоже по клише – «очерствевшие». «Да это и естественно, нам уж и поздно что бы то ни было выбирать». Впрочем, крайностей Ласточкин тоже ни в чем и нигде не любил, и ему было бы приятно, если б его сестра больше интересовалась общественными вопросами. Он ей давал книги Струве, Туган-Барановского, Железнова. Она послушно прочла, но, как всегда откровенно, сказала брату, что они не очень ее заинтересовали, – «что ж делать?». Нина часто говорила «что ж делать?» или «ничего не поделаешь». Дмитрий Анатольевич с торжеством приносил домой заграничное нелегальное «Освобождение» и всем в нем восторгался. Татьяна Михайловна читала и сочувствовала. Нина сочувствовала, но не читала.

Ее особенностью было очень простое, уж слишком простое, отношение к жизни. Про себя Татьяна Михайловна думала, что Нина не может быть ни очень счастлива, ни очень несчастна. «Кто-нибудь тяжело болен, – ну, что ж, тяжело болен: надо лечиться; а если умрет, ничего не поделаешь, все умрем, и ничего тут страшного нет». Нина говорила, что нисколько не боится смерти. Ей очень хотелось выйти замуж, но она думала, что не будет катастрофы, если и не выйдет. Требования предъявляла разумные и не очень большие. О богатстве не мечтала, – лишь бы только сносно жить. «Ведь все равно я знаю, что Митя и Таня, если понадобится, будут нам помогать и будут делать это с радостью, хотя, конечно, было бы лучше обойтись без этого». Еще меньше она мечтала о «знатности» жениха: «Уж это совершенная ерунда, и нисколько мне это не нужно, и неоткуда этому взяться в нашем кругу. Был бы просто умный, порядочный человек и любил бы меня хотя бы и не так, как Митя обожает Таню, но любил бы. Во всяком случае надо иметь свои интересы и свое занятие».

Лет до двадцати двух жизнь Нины была чуть не сплошным праздником. Раза три в неделю она с друзьями бывала в Большом, в Малом, в Художественном театрах. Так как среди друзей преобладали небогатые молодые люди и барышни, то билеты обычно брались на галерку, – иногда по очереди приходилось для этого простаивать ночь в ожидании открытия кассы. Это только увеличивало общую радость от спектаклей. Нина была немного влюблена в Собинова, но не очень. В кружке все были влюблены в кого-либо из знаменитых артистов, – это никак не мешало частным романам: все знали, что Лена влюблена в Качалова и в Петю, а Петя в

Книппер и в Машу. Нину очень любили, за ней молодые люди ухаживали, но по-настоящему в нее не был влюблен никто.

В те дни, когда в театры не ходили, собирались по вечерам друг у друга. Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда заходили на минуту – «пожать руку» – и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство. Но к чаю Федор, которого все в кружке ласково называли по имени-отчеству, приносил в изобилии бутерброды, торты, печенье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. Из комнаты до поздней ночи доносились веселые голоса, хохот, иногда музыка (у Нины было *свое* пианино, в дополнение к бехштейновскому роялю гостиной). Хозяева прислушивались издали, но входить не смели. Татьяна Михайловна не очень и хотела бы этого: с грустью чувствовала большую разницу в возрасте. А Дмитрий Анатольевич охотно посидел бы с молодежью, если б не знал, что от его присутствия и от разговоров, особенно на общественные темы, она тотчас «скиснет». Слушали издали декламацию и игру на пианино. Нина и ее друзья играли много хуже, чем Татьяна Михайловна. Порою она морщилась.

– Право, лучше бы этот Петя не играл, а читал свои стихи, – говорила она мужу. – Никогда этого не могла понять: ведь как будто и поэзия, и музыка должны были бы быть основаны на одном и том же: на слухе. Между тем почти все московские кавалергарды поэзии ничего в музыке не смыслят. А о слабых поэтах, об армейских, они сами презрительно говорят: «Ему на ухо слон наступил». Или есть два слуха?.. Нина запела арию Ленского. Что за идея петь теноровую партию!

– Обязана: влюблена в Собинова.

– Ох, Собинов поет это лучше.

– Не спорю, – сказал Дмитрий Анатольевич и негромко подтянул баритоном свою любимую фразу: «Благословен и день за-бот, Бла-го-сло-вен и тьмы – приход...» День забот это так, а тьмы приход не за что благословлять, – сказал он и поцеловал жену.

– Это за что?

– Так. Ни за что. За то, что ты понимаешь музыку в сто раз лучше, чем они.

– Прошло наше с тобой время... Впрочем, нет, несколько не прошло.

Оба радовались тому, что у Нины такая радостная, приятная жизнь и что они этому способствовали. «Было бы *все-таки* гораздо лучше, если б она в кого-нибудь без памяти влюбилась, как я когда-то в Митю, – огорченно думала Татьяна Михайловна. – И если б в нее кто-нибудь влюбился, хотя бы и не без памяти. Чего-то ей не хватает». Выражение *sex appeal* еще не было выдуманно, но она никогда его и мысленно к Нине не применила бы.

Когда Нина кончила курс, ее жизнь стала менее радостной. Многие из ее друзей разъехались, все куда-либо устраивались, стали встречаться реже. Нина давно все обсудила, свои вкусы, влечения, силы, обсудила и практические вопросы и, больше по методу исключения, остановилась на архитектуре. Решила заняться ею очень серьезно и поступила на постройку. Теперь с увлечением говорила о Палладии и о Жолтовском.

Ласточкины присматривались к молодым людям, которые могли бы быть хорошими женихами, но зазывать их в дом не умели. «Все родители это делают для дочерей, и ничего плохого тут нет, а вот у нас с Таней не хватает на это умения», – огорченно думал Дмитрий Анатольевич. Он относился к сестре скорее как отец, чем как брат. Нина понимала, что ее родные беспокоятся о ней с каждым годом все больше, ценила это и недоумевала. «Во-первых, ничего они тут *искать и устраивать* не могут. Конечно, сама барышня может. Лена, например, *ищет* уже несколько лет, и я несколько ее не осуждаю. От ее родителей я давно ушла бы, на ее месте я тоже «искала» бы и даже не скрывала б это: все равно скрыть нельзя. Но, во-первых, и Лена пока ничего не устроила, а во-вторых, мое положение другое: и нужды никакой

нет, и я нежно люблю Таню и Митю». Часто от этих мыслей Нина прямо переходила к мыслям о своей работе. Она много читала: романы, стихи, книги об искусстве, делала выписки, старалась вдуматься, понять, запомнить. Мысли интересовали ее меньше, чем здания, картины, виды природы, гораздо меньше, чем люди; но любопытство у нее оставалось такое же, как в пятнадцать лет.

Вела она и дневник. «Говорят, люди записывают свои переживания неискренне и всей правды не высказывают?» – думала она с некоторым недоумением: сама записывала правду и не видела, что могла бы скрывать. «Разве только уж очень, очень немного...»

VII

Из проекта биологического института ничего не вышло.

Тотчас после своего первого разговора с Морозовым Дмитрий Анатольевич, не заезжая домой, сгоряча послал своему двоюродному брату телеграмму, написанную по-русски французскими буквами: «Милый Аркаша спешу обрадовать точка имел сейчас беседу саввой тимофеевичем точка отнесся более чем сочувственно сказал может поднять дело один точка просит прислать записку смету письмо Мечникова точка куй железо пока горячо пришли все поскорее точка надеюсь дело шляпе мы страшно рады сердечно поздравляем обоих обнимаем митя». Ласточкин любил подробные телеграммы. Но уже по дороге домой он немного пожалел, что написал слишком радостно: «Аркаша подумает, что все решено и что деньги есть!» Ему было также совестно, что написал «мы», тогда как Татьяна Михайловна даже еще и не знала об ответе Морозова. И в самом деле, когда он, вернувшись домой, сообщил о нем жене, она сказала:

– Ну, от этого до института еще очень далеко. Конечно, хорошо, что Савва Тимофеевич не ответил отказом. Он мог и сразу отказаться или обещать каких-нибудь десять – пятнадцать тысяч. Надеюсь, ты все-таки не слишком обнадежил Аркадия?

– Нет, не слишком, да он и сам поймет, что такие дела сразу не решаются, – нерешительно ответил Дмитрий Анатольевич. «Таня, как всегда, права», – подумал он. Татьяна Михайловна по смущенному виду мужа догадалась, что он в телеграмме сказал больше, чем следовало, но не хотела его огорчать вопросами.

От Рейхеля на следующий день пришла телеграмма: «благодарю обнимаю». (Люда не согласилась на «обнимаем».) Затем долго ничего не приходило. «Верно, весь ушел в записку и смету. Но мог бы все-таки написать и письмо», – думал Ласточкин. В конце месяца пришло страничек десять, написанных пером рукой Рейхеля. Это были одновременно и записка, и смета. Ласточкин прочел все с раздражением. «Записка малопонятна и неубедительна, а смета совершенно детская! Как же я мог бы исправить или дополнить, когда я ничего в этих делах не смыслю?» Он добавил все же полстраницы о том, сколько должен стоить участок земли (об этом Аркадий Васильевич не написал ни слова), затем попросил секретаршу переписать на машинке в четырех экземплярах и послал Морозову лучший из них.

Ответа долго не было. Это могло считаться неблагоприятным симптомом. Через некоторое время Дмитрий Анатольевич справился по телефону и узнал, что дело передано на рассмотрение экспертов. Савва Тимофеевич высказался критически о смете и был несколько менее любезен, чем при первом разговоре об институте. Позднее, при случайной встрече, он добавил, что эксперты дали сдержанный отзыв: большой надобности нет в институте, который только конкурировал бы с уже существующими научными учреждениями.

– Неужто-с записку писал сам Мечников? Ох, уж эти ученые-с, – сказал он, и в его голосе послышалась как будто легкая насмешка. «Верно, ему доложили, что я стараюсь для двоюродного брата», – подумал Ласточкин, с очень неприятным чувством. Морозову в самом деле кто-то это сказал предположительно, и Савва Тимофеевич в сотый раз подумал, что совершенно бескорыстных людей почти не существует.

– Нет, записку писал не Мечников.

– Так-с. Помнится, вы говорили-с, будто он интересуется. Ну что ж, надо повременить с институтом-с. Да и времена наступают в России трудные-с. Может, скоро все останемся без штанов-с.

– Я этого никак не думаю, но это уж скорее был бы довод, чтобы создать институт теперь, пока штаты есть, – ответил Дмитрий Анатольевич, принужденно улыбаясь. Морозов тоже улыбнулся и заговорил о другом.

«Разумеется, это чистый отказ!» – подумал Ласточкин и еще раз пожалел о своей телеграмме. «Ну, что ж, я сделал все что мог. И отчасти виноват, конечно, Аркаша. Очевидно, он даже не обратился к Мечникову!»

Он написал Рейхелю, немного все же смягчив ответ Морозова: сказал, что Савва Тимофеевич хочет подождать, что надежда не потеряна и что свет на нем клином не сошелся. На это письмо никакого ответа не последовало. В следующем же письме Аркадий Васильевич больше и не упомянул об институте, точно никогда никакого разговора не было. «Конечно, обиделся, но чем же я виноват!» – огорченно сказал себе Дмитрий Анатольевич.

Остановились они в Москве у Ласточкиных, прожили с неделю, затем, несмотря на все протесты хозяев, переехали в «Княжий двор», где нашли дешевенькую комнату. Ни малейшей ссоры не было. Татьяна Михайловна проявляла к ним всяческое внимание. Она по природе не была так гостеприимна, как ее муж, и в душе огорчалась, что гостей у них бывает слишком много; ей было приятнее всего с мужем вдвоем, но она знала, что ему гости доставляют удовольствие, и исполняла все его желания, даже им не высказывавшиеся. У них часто обедало и пять и десять гостей, обедали нередко и люди, которые их на обеды почти никогда не звали; с этим они оба совершенно не считались. «Мите что, ему работать не надо, – думала она тоже благодушно, – он наивно, как все мужчины, думает, что если есть прислуга, то для хозяйки обед на десять человек никакого труда не составляет».

Люда, со своим нелюбезным характером, с не очень вежливой манерой разговора, была ей не совсем приятна, но Татьяна Михайловна это чувство в себе подавляла без большого усилия и просила ее остаться у них: «Вот Аркадий скоро получит место, тогда снимете квартиру и переедете, зачем «Княжий двор»?», – говорила она. Но они решительно отклонили приглашение.

Рейхели приехали почти без денег, и опять Дмитрий Анатольевич не без труда заставил своего двоюродного брата принять некоторую сумму: «Ведь ты мне отдашь со временем и это, мне просто стыдно говорить о таких пустяках!» Ласточкину и прежде было совестно, что он настолько богаче Аркадия Васильевича. Теперь, из-за неудачи с институтом, его смущение еще усилилось. Он пробовал об этом заговорить.

– Все-таки Савва Тимофеевич еще не сказал своего последнего слова, и я надеюсь, что...

– Если б этот толстосум, твой Савва Тимофеевич, хотел дать деньги, то он давно дал бы, – перебил его Рейхель. – Я завтра же начну искать должности в учебных заведениях.

– Я всячески тебе помогу, поговорю с разными знакомыми профессорами, – сказал Дмитрий Анатольевич. Он действительно побывал у двух профессоров. Сведенья тоже оказались не очень утешительными. Рейхелю обещали должность штатного приват-доцента, и то лишь с начала учебного года. Должность была без жалованья, с необязательным курсом, и часовой гонорар, при небольшом числе слушателей, мог приносить лишь гроши. Место в лаборатории предоставили тотчас. Аркадий Васильевич осмотрел ее. Она была довольно убогая, даже по сравнению с парижскими, тоже не слишком роскошными. Он немедленно начал работать.

Рейхель почти сожалел, что приехал в Москву. В Париже они, имея двести рублей в месяц, жили вполне сносно: их знакомые, молодые ученые, работавшие в Пастеровском институте, были в большинстве беднее их. В Москве они, через Ласточкиных, оказались в обществе состоятельных людей. С московским гостеприимством их все стали звать к себе, а они, в свою меблированную комнату, не могли приглашать никого. У Люды нерасположение к богатым людям еще усилилось.

Отношения с Ласточкиными у них оставались корректными. Бывали у них раза два-три в неделю. Если хозяев не было дома, Рейхель уходил в кабинет и читал «Фигаро»; просматривал даже литературный отдел, хотя знал о французских писателях и интересовался ими так мало, как если б они жили на Новой Гвинее. Люда тоже заглядывала в эту газету, внимательно изучала отдел мод, просматривала и светскую хронику, читала о приемах у разных маркиз, – с

презрением, но читала. Приходили они к Ласточкиным больше потому, что им вдвоем было уж слишком скучно. Иногда ездили с ними в оперу, в Художественный театр. Общество Ласточкиных им не очень нравилось: деловые люди, поэты, музыканты.

– Они музыкой угощают купчин, а тем лестно, потому антиллитература, – говорила Люда Аркадию Васильевичу.

– Ты просто завидуешь их богатству, – ответил он.

– Ну, как же, еще бы! Неужели ты думаешь, что я поменялась бы с твоей Таней!

– Думаю, что поменялась бы.

– Я впрочем ни минуты не сомневалась, что ты это думаешь!

Стычки между ними еще участились. Единственное утешение Рейхель находил в лабораторной работе. Его диссертация не вызвала того шума, на который он надеялся. Но теперь у него была новая идея, и она должна была заинтересовать мир биологов.

VIII

В сентябре 1905 года статс-секретарь Сергей Юльевич Витте, после заключенного им в Портсмуте мира с Японией, выехал обратно в Европу на пароходе Гамбург – Америка.

Во всех странах заключенный им мир был признан успехом России и приписан его уму и дарованиям. Особенно популярен Витте стал в Соединенных Штатах, где общественное мнение сочувствовало японцам. В Нью-Йорке он охотно принимал всех, кто хотел его видеть, выражал большую радость по случаю приезда в Америку, давал интервью, позволял себя фотографировать не только репортерам, но и простым любителям, вообще вел себя чрезвычайно просто и этим немедленно всех к себе расположил: ждали приезда чопорного царского сановника в мундире и орденах, окруженного множеством явных и тайных полицейских агентов; приехал же простой человек в штатском платье, ездивший и гулявший по городу без спутников, крепко пожимавший руку машинистам и кучерам, обменивавшийся рукопожатием с кем угодно (к вечеру у него от рукопожатий неизменно болела рука и он смазывал ее опподельдом).

От охраны он вообще отказался. В первый же день его из посольства предупредили, чтобы он не ездил в еврейские кварталы Нью-Йорка, во избежание враждебных демонстраций, а то и покушения. Он немедленно поехал на Ист-Бродвей, там останавливал прохожих, называл свое имя и по-русски или на дурном английском языке расспрашивал их, не из России ли они, давно ли и как устроились, хорошо ли им живется. Заводил разговор и об еврейском вопросе, причем высказывал либеральные мысли. При этом говорил искренне или почти совсем искренне. У него было жадное любопытство и даже некоторое общее расположение к людям, – за исключением государственных людей: их он в громадном большинстве терпеть не мог. В серьезных же дипломатических переговорах держался очень гордо. С первых же слов объявил, что в случае неуступчивости японцев Россия будет продолжать войну и одержит со временем победу, что ни о какой контрибуции с ее стороны не может быть и речи. Мысль о контрибуции приводила его в бешенство; патриотом был всегда неподдельным. «Никогда Россия никому контрибуций не платила и теперь не заплатит», – говорил он. – «Но ведь другие страны платили». – «Другие страны не Россия! Не заплачу, и кончено!» Этот вопрос был самым главным. Японцы требовали 1200 миллионов иен. «Хорошо, тогда будем воевать дальше, увидим, чья возьмет». Его уверенный тон и напористость речи действовали на всех. Впрочем, русским приближенным он сам говорил, что война проиграна, что продолжать ее нельзя. «Но разбита не Россия, а наши порядки и мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы». Все думали, что переговоры кончены. Одна парижская газета обратилась к Рокфеллеру с просьбой: не заплатит ли он из своих средств японцам эти 1200 миллионов ради спасения мира? Рокфеллер не заплатил. Не заплатил и Витте.

С инструкциями из Петербурга он мало считался. Говорил, что не привык получать наставления. На одну телеграмму министра иностранных дел графа Ламсдорфа ответил, «может быть, не совсем деликатно». Приближенным объяснял, что в России реакционеры теперь «дрожат за собственное пузо», а либералы «больны умственной чесоткой». Полагался только на себя, не очень считался с советами Теодора Рузвельта, так что президент предпочитал помимо него телеграфировать царю о необходимости уступок. Довел также до сведения президента, что если на общем завтраке с японцами будет предложен тост за микадо раньше, чем за царя, то он, Витте, «не отнесется к этому спокойно». – Рузвельт произнес тост «за обоих монархов».

Газеты везде теперь писали о Витте больше, чем о каком-либо другом человеке на земле. Он становился мировой фигурой и с гордостью думал, что это очень давно не выпадало на долю русских государственных людей. Под конец своего пребывания в Соединенных Штатах Витте

стал так популярен, что и политические симпатии от японцев перешли к России. На параде военной школы в его присутствии будущие американские офицеры, позабыв о присутствовавших японцах, прошли церемониальным маршем с пением русского гимна. А на богослужении, при выходе из церкви огромная толпа неожиданно запела «Боже царя храни», и люди совали в карманы Витте подарки на память, кто безделушки, а кто и драгоценные камни.

Измучен он был необычайно. Сказались его тяжелые болезни, он плохо спал, втирал в грудь кокаин и все это тщательно скрывал: должен был производить впечатление богатыря. Про себя он думал, что жить ему недолго, что лучше было бы уйти на покой. Но большие умственные силы в нем оставались. Ему казалось, что он один может спасти Россию от хаоса. Смутно считал, что к хаосу идет и Западная Европа, несмотря на ее процветание и внешнее спокойствие: европейские правители тоже шутят с огнем и едва ли не ведут мир к гибели по своему легкомыслию, слепоте и внутренней несерьезности, сочетающейся с глубокомысленным видом.

Некоторые поклонники и даже враги считали Витте гением. Витте был воплощением здравого смысла; именно это и делало его среди его собратьев необыкновенным человеком. Он обо всем, даже об аксиомах общепринятой политической мудрости, судил здраво и попросту. Часто впрочем себе и противоречил, всегда с необыкновенной самоуверенностью. Кроме *grand bon sens*³⁹, умерявшегося властолюбием, его отличали нежелание и неумение быть справедливым к другим: в неудачах неизменно бывали виноваты его враги. Как ни осыпали его лестью, он себя гением не считал и даже несколько сомневался в существовании гениев, – разве какой-нибудь Гаус или Толстой? – да и тех он принимал больше на веру: свою университетскую математику давно забыл, а романов читал мало. Во всяком случае, уж среди государственных людей он был самый замечательный и часто недоумевал: как другие не видят того, что ему так ясно?

На обратном пути его нервное расстройство еще усилилось. Дела на пароходе было мало, репортеров не было, можно было стесняться гораздо меньше. Витте, как прежде Бисмарк, был несдержан на язык. К нему подходили пассажиры, знакомились, приносили поздравления. Он со всеми разговаривал, теперь просто болтал, – впрочем больше тогда, когда дело шло о предметах не слишком важных. Он старался (не очень) говорить всем приятное, но это не всегда удавалось. В беседах с американцами искренне хвалил Соединенные Штаты, но добавлял, что, по-видимому, среди американцев много настоящих грабителей: «В Нью-Йорке с меня за номер, правда, из шести комнат и в лучшей гостинице, брали по триста восемьдесят рублей в сутки, везде в Европе было бы втрое дешевле. А за обед с человека, притом за дрянной обед, я платил по тридцать рублей с персоны!» – «Но ведь вы, конечно, платили из государственных денег?» – «А это еще как сказать! Мне казна отпустила двадцать тысяч рублей, и я уже доложил вдвое больше своих. Может, вернут, а может, и забудут». Немцам объявлял, что всю жизнь стоял и будет стоять за мир и добрые отношения с Германией, но это не легко: немцы куда менее культурны, чем французы или англичане. Знакомясь с людьми семитического облика, хвалил евреев за деловитость и ругал русских министров-антисемитов: «Просто дурачье! Они же требуют войны и присоединения к нам Галиции и Позена. Очевидно, им нужно, чтобы в России было еще больше евреев, а по-моему, и так совершенно достаточно!» – говорил он. «И немцев, и поляков тоже больше, чем нужно».

Во Франции, завтракая с президентом Лубэ, он сказал, что считает антиклерикальную внутреннюю политику французского правительства вредной и бессмысленной. С русским послом еле разговаривал. Беззастенчиво уверял и соотечественников, и даже иностранцев, что этот старик выжил из ума и защищает не русские, а французские интересы «под влиянием парижских красавиц». Еще беззастенчивее отзывался о русском после в Англии, – этот просто получает деньги от англичан. Витте сплетням верил охотно, а дурным сплетням верил почти

³⁹ Изрядный здравый смысл (*франц.*).

всегда, особенно когда речь шла о политических деятелях. Их он ругал просто по долгой привычке, не слишком заботясь о правде, совершенно не стесняясь в выражениях, не боясь наживать себе врагов. Злой язык и природная грубоватость больше всего вредили его карьере.

В Париже он немедленно побеседовал с журналистами. Тотчас повидал и богачей. Чужое богатство почитал еще больше, чем Вильгельм, – вышел из небогатой среды. Но и большинство богатых людей он считал дураками, ничего в политике не понимавшими и тоже совавшимися в государственные дела. От разговоров же с политическими деятелями, особенно о Танжере и о франко-германских отношениях, он пришел в ярость: играют с огнем, ведут свою страну к катастрофе, как вели к ней Россию разные Плеве, Алексеевы, Безобразовы.

Витте и сам был карьеристом; личные цели и интересы в политике были совершенно естественным и неизбежным явлением. Но они становились преступлением, когда сочетались с недомыслием, а то и попросту с глупостью. Все эти Танжеры были не только не нужны, но чрезвычайно вредны и опасны. Он был рад уходу Делькассе: этот министр, видимо, подготавливал французский реванш, – а потом начнут готовить немцы, у каждой державы есть за что реваншироваться, то есть отвечать одной бессмысленной и преступной войной на другую. Витте находил, что прежде всего необходимо прочное и полное примирение Франции и Германии. Рувье нравился ему больше. Этот министр, очень недурно устроивший свои личные денежные дела, знал толк и в государственных финансах (что Витте особенно ценил); но и Рувье, очевидно, не решался сказать, что надо навсегда прекратить и разговоры о каких бы то ни было войнах.

Особенно же раздражали Витте разговоры о дипломатическом триумфе германского канцлера. Газеты об этом писали почти как об его собственном триумфе. «Только я заключил мир, а Бюлов получил княжеский титул за совершенно бессмысленное дело, грозящее общей катастрофой!» Впрочем, он сам хотел стать графом – и тут, по его расчету, германский канцлер мог пригодиться.

Его ждали в Париже приглашения: побывать на обратном пути в Россию у английского короля и у германского императора. Эти приглашения он принял бы охотно: был настоящим убежденным монархистом и ко всем монархам чувствовал природное расположение, хотя и думал, что ни один из них ничего в политике не понимает. Ответил, что должен запросить разрешения царя. Знал, что во всяком случае царь, очень в ту пору раздраженный против Англии, не разрешит ему повидать Эдуарда VII. «А жаль. Удалось бы повлиять на англичан. Может быть, в Лондоне удалось бы повидать новое, новых людей. Верно, тоже незначительных. Повидать Вильгельма, впрочем, разрешат».

Он читал в Париже русские газеты, которых давно не видел. Почти все писали о нем так лестно, как никогда не писали прежде. Пробегал все, что относилось к внутреннему положению России. Оно было очень тревожно. Значительная часть сановников стояла за решительную суровую борьбу с начавшимся революционным движением. Намечалась отправка в места, где происходили беспорядки, особо уполномоченных генералов, известных твердым характером. «Как бы ни были сильны эксцессы, – читал он в либеральном издании, – мы никак не думаем, что целесообразна борьба с ними всеми средствами, *per fas et nefas*⁴⁰. К тому же надо твердо помнить, что эксцессы происходят с обеих сторон. Устроители «патриотических» расправ, однако, взысканиям не подвергаются. Благоклонно кое-кем приветствуются и бессмысленные сказки о японских миллионах, которыми якобы подкуплены либералы. Можно ли, после небывалого в нашей истории военного поражения, серьезно думать, что нужна революционная или иноземная пропаганда для возбуждения общего недовольства страны! В Цусимском бою четыре могучих броненосца, «Император Николай», «Орел», «Адмирал Сенявин», «Генерал-адмирал Апраксин», сданы неприятелю. Официально сообщается, что контр-адми-

⁴⁰ дозволенными и недозволенными (*лат.*).

рал Небогатов и командиры этих судов, по возвращении из плена, будут преданы суду по 279-й статье военно-морского устава о наказаниях, карающей людей, не исполнивших своих обязанностей по долгу присяги и согласно требованиям воинской чести. Но кто же назначил на важнейшие должности людей, очевидно, не обладающих элементарными военными и человеческими качествами? Кто отправил на гибель всю эскадру Рожественского? Теперь сама газета «Чего изволите», так настойчиво требовавшая отправления балтийской эскадры на Дальний Восток и так долго выражавшая полную уверенность в ее победе, с неслыханным цинизмом сообщает, что ей было хорошо известно, что эта эскадра победить не может. Оказывается, доблестно погибший в Цусимском сражении командир броненосца «Александр III» Бухвостов откровенно и определенно говорил редактору этой почтенной газеты, что эскадра обречена на гибель и что ни малейших шансов на победу у нее нет! Столь же продумана и новая затея правительства. Нет, не очень помогут в борьбе с охватившим всю страну волнением *missi dominici*⁴¹ с карательными отрядами».

Витте не очень верил в искренность пишущих людей, но либеральным публицистам верил несколько больше, чем реакционным, и признавал совершенно правильным многое в их утверждениях. Теперь ему вдобавок было по пути с умеренными либералами. Они явно возлагали на него большие надежды. «Главный деятель Портсмутской конференции статс-секретарь С. Ю. Витте возвращается теперь в Россию триумфатором, – читал он. – Нисколько не умаляя – и не преувеличивая – личных заслуг и дарований нашего знаменитого статс-секретаря, показавшего себя в Портсмуте и выдающимся дипломатом-психологом, мы однако думаем, что его сейчас на Западе чествуют и восхваляют не столько за прошлую и настоящую его деятельность, сколько за его вероятную будущую роль, за его положение единственного серьезного кандидата на пост руководящего министра Российской империи». Слова «и не преувеличивая» его раздражили. «Еще хорошо, что сами пока не лезут в «руководящие министры»! Скоро, конечно, полезут. Они, правда, немного лучше, чем какие-то *missi dominici*, о каких они пишут на своем профессорском языке».

Он понимал, что в одном во всяком случае газеты правы: на Западе его в самом деле все считают будущим главой русского правительства. Так думал и он сам, но еще немного колебался, соглашаться ли. Не лучше ли отойти в сторону? В душе, однако, знал, что в сторону не отойдет. Занимать должность главы русского правительства в 1905 году было опасно, но он был смелым человеком. Видел, что в России неизбежен конец самодержавного правления, хотел себя связать с большим историческим делом и понимал, что очень скоро восстановит против себя всех, и правых, и левых. С либералами еще можно было поладить, хотя он их вождей во главе с Милоковым называл «свихнувшимися буржуазными революционерами». Но реакционеры с давних пор были с ним связаны злой взаимной ненавистью. «Скоро поднимут вой! Мир заключен, затеянная ими безумная война кончена, теперь можно будет во всем винить меня».

Кроме приглашений к Вильгельму и к Эдуарду, он получил в Париже телеграмму от германского канцлера: Бюлов тоже изъявлял желание повидать его и приглашал в Баден, где временно находился на отдыхе. Эта телеграмма разозлила Витте. Бюлова он все-таки ценил несколько выше, чем других государственных людей: называл его человеком не очень умным, но даровитым и, главное, образованным. Сам он свои познания заимствовал преимущественно из газет и разговоров с учеными людьми; но именно поэтому высоко ценил образование в других. С германским канцлером он часто беседовал, особенно прошлым летом в Нордернее. Бюлов в разговорах беспрестанно цитировал писателей, философов, поэтов (знал на память огромное количество стихов на разных языках). Это было в первые дни знакомства интересно; но скоро он потерял интерес к своему утомительно-блестящему собеседнику. Вдобавок, он цитатами отвечать не мог, а разговор надо было вести на более высоком уровне, чем

⁴¹ Посланцы господни (*лат.*).

обычно. Образованна была и графиня. В Нордернее расспрашивала его о декабристах и восторгалась Львом Толстым. О Толстом Витте ей сказал, что романист он действительно гениальный (может быть, в самом деле, «Войну и мир» или «Анну Каренину» прочел), но философия его просто детская. А о декабристах разговора не поддержал, так как о них не знал почти ничего. Про себя считал их благородными дураками: «Это в России-то начала прошлого века затеяли либеральную революцию! Хороши были бы, если бы их восстание удалось! И финансы бы оказались замечательные!»

Приглашение Бюлова показалось ему и непринужденным по форме. «Если б не Цусима, не стал бы меня вызывать к себе в Баден». Но канцлер мог выхлопотать для него у Вильгельма цепь Красного Орла, высший германский орден. Это и само по себе было бы приятно, а главное, тогда государю пришлось бы пожаловать ему графское достоинство, – нельзя наградить меньше, чем немцы. Впрочем, таковы были у него не определенные мысли, а нечто среднее между мыслями и инстинктом. Немного поколебавшись, он принял среднее решение: любезно ответил, что был бы очень рад повидать Бюлова в Берлине, а приехать в Баден при всем желании не может: спешит с докладом к царю.

Канцлер действительно приехал в Берлин. Они вдвоем очень приятно пообедали в знаменитом ресторане Борхардта. Говорили друг с другом в шутовском тоне. Оказалось, что Вильгельм примет гостя в своем охотничьем замке Роминтен, недалеко от русской границы. Бюлов и Витте оба любили поговорить. Посплетничали обо всех, – кого только оба не знали? Несколько более сдержанно, но и не слишком почтительно, высказались каждый о своем монархе. Витте вспомнил, что когда-то выхлопотал Вильгельму у царя чин адмирала русского флота. «Не скрою, это было не так легко. Ваш кайзер стороной дал мне понять, что был бы этому отличию очень рад. Он обожает разные мундиры, я просто никогда этого не мог понять. Другое дело ордена: они даются за настоящие заслуги, как, например, ваш Красный Орел». Больше ничего не сказал, но канцлер про себя подумал: «*A bon entendeur salut*⁴². Отчего бы и нет?» Занес в память и об адмиральском мундире. Был верноподданнически предан Вильгельму (вдобавок, и всем ему обязан), но подобные факты запоминал и впоследствии, без чрезмерной преданности, к слову сообщил в своих воспоминаниях.

Действительно, приехав в Роминтен, Витте узнал, что император жалует ему цепь Красного Орла. Был очень доволен, этот орден жаловался обычно принцам крови. Собственно и графский титул был самому Витте не так уж нужен. Ему нужны были власть и – в меньшей мере – деньги. Но он знал, что жене будет очень приятно стать графиней. И, главное, придут в бешенство другие сановники, его враги и конкуренты.

После великолепия русского двора Витте не могли поразить ни берлинский, ни потсдамский двор. Его удивила скромность Роминтенского охотничьего замка и уклада жизни в нем. Замок был обыкновенный двухэтажный деревенский дом с очень просто убранными чистенькими комнатами. Так же прост был завтрак. Император и немногочисленные гости были в охотничьих костюмах, вели себя как приятели. До перехода в столовую Вильгельм сидел на ручке кресла Эйленбурга, – Витте подумал, что это было бы невозможно при русском дворе; понимал, что на него хотят подействовать фамильярностью, простотой, даже скромностью, вообще Вильгельму никак не свойственной. За завтраком император рассказывал не очень смешные истории и анекдоты, обращался преимущественно к русскому гостю. Это тоже было приятно. Как у большинства людей, у Витте отношение к человеку почти всегда в значительной степени определялось тем, как этот человек относился к нему. Вильгельм был с ним чрезвычайно ласков и любезен. За это можно было забыть обо многих его политических делах, даже о поездке в Танжер.

⁴² Имеющий уши да слышит (*франц.*).

Все же он не мог упустить случая. Были важные государственные интересы; они шли впереди наград, вернее, тесно с ними переплетались; но ни за какие титулы, ордена, деньги Витте не стал бы вести политику, ставящую себе целью войну. Он решил поговорить с императором серьезно, без шуток и анекдотов, – так, как собирался вскоре поговорить с царем: думал, что от этих двух людей теперь больше всего зависят судьбы мира. В Роминтене он был в ударе, как на особенно важных заседаниях при переговорах с японцами. Там была откровенная борьба, здесь борьба скрытая, но, быть может, в историческом плане еще гораздо более важная. И он за завтраком от общего ничтожного разговора чувствовал все росшее нетерпение.

После завтрака Витте попросил у Вильгельма разрешения поговорить с ним наедине. Они беседовали больше двух часов. По словам Эйленбурга, голоса звучали «bald lebhafter, bald schwächer»⁴³. Вероятно, слово «lebhafter» относилось преимущественно к русскому гостю. Записи беседы не осталось, но кое-что сохранилось в воспоминаниях разных лиц, очевидно спрашивавших позднее императора.

Для начала Вильгельм осторожно заговорил о внутреннем положении России. Витте крепко ругнул «анархистов». Социалистические теории интересовали его еще меньше, чем другие, он в них не разбирался, да и не хотел разбираться, и называл анархистами всех революционеров вообще. Ругнул он и «свихнувшихся либералов», – серьезно думающих, что за ними есть какая-то сила в народе, тогда как народ к ним совершенно равнодушен и сметет их в случае революции в первые же дни. Говорил и тут, как почти всегда, искренне: «анархистов» терпеть не мог; их тоже считал в лучшем случае благородными дураками, а в худшем – прохвостами.

Вильгельм слушал с сочувственной улыбкой. Ему говорили о радикализме этого русского государственного деятеля, а он недолюбливал радикалов, даже иностранных. Затем Витте стал еще более злобно ругать русское правительство, и улыбка стерлась с лица императора: правительства, даже иностранные, ругать не следовало; как и его дед, он всегда в душе завидовал самодержавной власти царей.

– Затеяли, ваше величество, безобразную, никому не нужную, преступную войну. Правда, объявила ее Япония. В Токио, верно, тоже есть достаточно дураков и сумасшедших. Но главные виновники – это наши жулики-концессионеры, разные аферисты и проходимцы, а также политика Плеве, господина Вячеслава Плеве (он иронически подчеркнул имя убитого министра). Ваше величество, верно, не знаете, что Плеве родом из немцев и в ранние годы назывался Вильгельмом, затем их семья ополячилась, и он стал Вацлавом, потом семья обрусела, и он оказался Вячеславом, – говорил Витте, беспорядочно перескакивая с одного предмета на другой; в увлечении не подумал даже, что в беседе с германским императором не следовало бы неодобрительно отзываться о немецком происхождении Плеве. – Вы о нем спросите вашего канцлера, князь Бюлов биографию этого господина знает. Да я это только к слову говорю, – поправился он, – дело, разумеется, никак не в его происхождении. Ну, хорошо, затеяли войну. Командующим армией назначен Куропаткин, это ничего, недурной генерал, хоть воли у него никогда не было. Он не хотел войны с Японией и вяло, как они все, говорил это Плеве, а тот ему в ответ: «Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Хорошо, а? Вот и удержал!

Император привык к тому, что сановники часто терпеть не могут друг друга; но они обычно это скрывали, по крайней мере от него. Этот же без стеснения говорил вещи поразительные. Бюлов изумленно рассказывал, что, случайно встретившись с ним в Тиргартене в день убийства Плеве, Витте еще издали ему радостно закричал: «Приятное известие! («Une bonne nouvelle!»): только что убит Плеве!»

⁴³ «То громче, то тише» (нем.).

– Да, войну вели неудачно, – осторожно сказал император. Он желал победы России, но ее поражение не очень его огорчало. – Ваше командование оказалось не на должной высоте.

– Можно сказать, что не на должной высоте! Ну, хорошо, назначили Куропаткина, а над ним адмирал Алексеев! Этот уж совершенная находка: главнокомандующий и наместник Дальнего Востока. Так-с, значит, два командующих. Вы Алексеева знаете, ваше величество? Полное ничтожество! Он и на лошадь сесть не может! Я два года тому назад был в Порт-Артуре и, как шеф пограничной стражи, устроил ей смотр. Разумеется, сел на коня. Я, хоть и штатский человек, а верхом ездю недурно. Как же в мундире на смотре быть не на коне? Явился, естественно, и Алексеев, ведь главнокомандующий, правда? Только он пеший. Спрашиваю, в чем дело. Оказывается, он отроду не ездил верхом, приближенные так, с улыбочками, мне и объяснили: ездить не умеет, боится лошадей. Хорош главнокомандующий миллионной армией, а? Да и это еще бы куда ни шло! Только он и о военном деле не имел никакого понятия. Вот так, с двоевластием, и начали войну! Остальное вы знаете. Россия очень могущественная страна, не дай Господи никому с нами воевать, – на всякий случай добавил он, вспомнив, с кем говорит. – А только эту войну мы позорно проиграли. Слава Богу, слава Богу, что мне удалось выпутать Россию, с потерей только половины Сахалина. Не очень он нам нужен, этот каторжный Сахалин, слава Богу, земель у нас достаточно...

– Ваша заслуга велика, – вставил слово Вильгельм, слушавший его с все увеличивавшимся любопытством. Но перебить Витте было нелегко даже императору.

– Я тоже думаю, что велика, это так. Я по ночам не спал, все боялся, что упрутся японцы. Вот и увидите, как меня в Петербурге отблагодарят, я наперед знаю. Так вот, что же теперь? Я, ваше величество, всю жизнь был сторонником самодержавия, не лежит у меня душа к конституциям. Да что же нам делать? Разве можно сохранить самодержавие без подходящего самодержца, при совершенно расшатанном государстве? Все страны перешли к конституционному правлению. По складу моей души, по моим семейным традициям, мне любо неограниченное самодержавие, да что в том, когда его больше в России никто не хочет, кроме горсти разных предводителей дворянства, придворных, полковников от котлет? Пусть это человеческое заблуждение, но надо понять, что таков ход истории. Верно, это исторический закон, что в настоящее время должны править представители народа, хоть они ничего в государственных делах не смыслят. Эту линию я и буду вести, если меня сразу не выгонят: «Заключил мир, ну, и ступай ко всем чертям!..» Потом выкинут все равно. Им еще, правда, нужен большой внешний заем, а кому, кроме меня, в Европе дадут деньги? Поведу, поведу эту линию, Бог мне судья, – говорил Витте, точно убеждая себя самого. – Только где взять людей для этой самой конституции? Придется звать либералов, других нет, не Трепова же брать? Он честный человек, но в душе полицеймейстер. Из старых только один человек есть, Дурново, он умница и знает дело. Знает дело, знает дело, – повторял он, задумавшись.

Вильгельм заговорил о внешней политике, упомянул о свидании в Биоркэ с царем: там положено начало тесному сближению между Германией и Россией. Витте слушал его рассеянно. Давно прошло то время, когда его могло по существу интересовать мнение монархов, да собственно и громадного большинства людей вообще.

– Да, тесное сближение это очень хорошо, – сказал он, не дослушав. – Тесное сближение между всеми странами, а для начала между Россией, Германией и Францией. Главное, это чтобы никому ни с кем больше не воевать! Это самое главное, ваше величество! Иначе все династии погибнут. А следовательно надо прекратить и дурацкие вооружения. – Вильгельм взглянул на него очень холодно. – Именно они главным образом и мешают населению всех стран возможности безбедно жить, а это только на руку анархистам. От вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Разве европейские страны могут себе позволить такие дикие, непроизводительные, бессмысленные расходы? Европа, это я еще лет восемь тому назад говорил вашему величеству, когда вы изволили беседовать со мной в Петербурге, Европа

и вообще дряхлеющая старушка: подурнела, пожелтела, морщины, выпадают зубы, еле дрыгает ногами, бывшая красавица. Да и прежде красавицей она была сомнительной. Об ее величии со временем будут вспоминать, как мы вспоминаем о величии Древнего Рима. С той разницей, что римляне хоть знали, чего хотят. Ерунды хотели, мирового владычества, но знали, чего хотят, а мы и этого не знаем. А тут еще колониальные авантюры с подрывиванием, тоже решительно никому не нужные, кроме генералов и спекулянтов. Вот мне в Париже уши прожужжали о Марокко, на вас жаловались, ваше величество, уж вы не гневайтесь. Очень жаловались на Германию и, быть может, не без основания, хоть и они сами ничем не лучше, демократические господа французы. Им Марокко так же нужно, как вам, – говорил он, не обращая внимания на то, что лицо у Вильгельма стало ледяным. Несмотря на свою привычку ко двору, Витте совершенно не был придворным человеком и с королями, даже с императором Николаем, даже с Александром III разговаривал, не стесняясь в выражениях.

Он долго говорил, что необходимо прочное и вполне искреннее дружеское соглашение между мировыми державами. Но, взглянув на императора, подумал, что весь разговор был ни к чему: этот человек тоже в главном ничего не понимает. «Неврастеник!» Витте знал, что государственные деятели в большинстве неврастеники вследствие самых условий их жизни и работы. Вильгельм был одним из самых могущественных неврастеников в мире: «Может, очень может погубить себя, – это бы еще ничего, – но с собою и весь мир!» У него пропала охота к продолжению разговора. Голоса стали «schwächer».

Еще немного поговорили о предметах незначительных. Концом разговора Вильгельм остался доволен. «Es war grossartig»⁴⁴, – говорил своим приближенным император. Перед обедом министр двора принес в комнату гостя цепь Красного Орла, да еще портрет Вильгельма в золотой рамке с собственноручной надписью: «Portsmouth – Biorckö – Rominten. – Wilhelm Rex».

Теперь графский титул был почти обеспечен. Слово «Биоркэ» в надписи немного удивило Витте. Он в Биоркэ не был и текста договора не знал. В Петербурге узнал от графа Ламсдорфа и рассвирепел:

– Вот так штука! Мы до сих пор были обязаны защищать Францию от Германии, а теперь обязались защищать Германию от Франции! Хорошо, очень хорошо! Этот договор надо немедленно уничтожить! Я так прямо и скажу государю императору при следующем же свидании.

Но первым свиданием на яхте «Штандарт» он был растроган. Государь в самых милостивых выражениях благодарил его за успешное выполнение в Портсмуте данного ему тяжелого поручения, сказал, что получил от германского императора письмо, в котором тот восторженно о нем отзывается. Сообщил, что возводит его в графское достоинство. Витте растроганно благодарил и поцеловал царю руку.

На следующий же день его в реакционных кругах прозвали «графом Полу-Сахалинским». Он сам любил забавные шутки, но был очень зол. Немного его утешили очевидная ярость врагов и то, что, узнав о пожалованном ему титуле, Муравьев заболел черной меланхолией.

⁴⁴ «Это было великолепно» (нем.).

IX

Семь духов

Владыки гор, ветров, земли и бездн морских,
Дух воздуха, дух тьмы и дух твоей судьбы —
Все притекли к тебе, как верные рабы, —
Что повелишь ты им? Чего ты ждешь от них?

Манфред

Забвения.

Первый дух

Чего – кого – зачем?

Манфред

Вы знаете. Того, что в сердце скрыто.
Прочтите в нем – я сам сказать не в силах.

Дух

Мы можем дать лишь то, что в нашей власти:
Проси короны, подданных, господства
Хотя над целым миром, – пожелай
Повелевать стихиями, в которых
Мы безгранично царствуем, – все будет
Дано тебе.

Манфред

Забвенья – лишь забвенья.
Вы мне сулите многое, – ужели
Не в силах дать лишь одного?

Дух

Не в силах.
Быть может, смерть...

Манфред

Но даст ли смерть забвенья?

На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать. Хозяева одинаково были рады всем, не считались с известностью гостя, всем говорили приятное, всех кормили и поили на славу. Татьяна Михайловна говорила Люде, что меняет состав гостей, так как всех одновременно принимать не может. «Надо было бы звать сто человек, если не больше, стулья еще можно бы взять напрокат, но не оказалось бы места в зале и особенно в столовой». – «А вы купили бы особняк где-нибудь на Поварской», – сказала Люда. – «Ни за что! Митя так любит нашу квартиру, и я люблю», – ответила Татьяна Михайловна, редко отвечавшая на колкости и совершенно не понимавшая, зачем люди их говорят. Она всегда в разговорах с Людой делала вид, будто колкостей не замечает.

Мелодекламация не вошла в моду в Москве. Настоящие музыканты ее не признавали. На вечерах Ласточкиных она устраивалась в первый раз: известный драматический артист читал «Манфреда» под шумановскую музыку. Среди гостей преобладали артисты, профессора, политические деятели. Писателей Татьяна Михайловна немного остерегалась: уж очень много пьют. «Ну, напиться может кто угодно, даже профессор», – возражал Дмитрий Анатольевич.

Впрочем, и он писателей, особенно поэтов, звал к себе менее охотно, чем других. На вечере у одной из Морозовых слышал чтение молодого Андрея Белого, ничего не понял, был немного испуган и к себе его не позвал. Не очень понравились Ласточкину и вполне понятные стихи, как революционные в политическом и художественном отношении, так и необычайно удалые, народные, «кондовые». Ему казалось, что эти литераторы выбрали свою поэзию как самый легкий путь к скорому успеху и затем приобрели к ней профессиональный интерес. По его наблюдениям, главное у них заключалось в желании непременно изобрести что-то *новое*, еще никем не использованное. Один из них хвастал, что свое стихотворение написал небывалым размером (дал сложное название), который нигде в литературе до него не встречался. Дмитрий Анатольевич говорил жене, что именно вследствие этой погони за новизной они очень похожи один на другого. «Идет игра в лотерею известности. Многие выигрывают – очень ненадолго. Собственно, они все должны были бы ненавидеть друг друга. Но, кажется, этого нет: отношения скорее благодушные, каждому из них было бы без других очень скучно... Может, я и вообще несправедлив к ним. Что ж делать, я ни одному их чувству не верю, не верю искренности хотя бы одной их строчки... Ты наверно моих мыслей не одобряешь?»

Татьяна Михайловна в самом деле не одобряла. «Всякому делу надо учиться, а ты, Митенька, этому не учился. Если ты не знаешь, например, что такое пeon четвертый, то и судить о поэзии нельзя». – «А по-моему, можно, хотя я не знал даже того, что они, проклятые, нумеруются!» – «Ну, а уж насчет «искренности», то тут уж я просто не понимаю, как можно судить, искренен ли поэт или нет? Всякого человека надо считать искренним, пока не доказано обратное. А эти, что читали на вечере, уж во всяком случае поэты талантливые». – «Способные – да, даровитые, может быть, а очень талантливые, не думаю. И по-моему, настоящую литературу губят именно книги – «так себе», никак не хорошие, но и никак не плохие», – нерешительно возражал Дмитрий Анатольевич.

В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше. Музыка он любил *всякую*, но хоть умел отличать хорошую от плохой. Татьяна Михайловна вообще была против устройства «салона»; несмотря на свое общее расположение к людям, больших приемов не любила: почти всегда бывает скучновато, не то что когда соберутся пять или шесть друзей. Однако все их знакомые что-то у себя устраивали, надо было платить приглашениями за приглашения; она подчинилась желанью мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру пили. На их большие приемы, в дополнение к их собственному повару, приглашался еще клубный: Ласточкин находил, что если один повар готовит больше, чем на десять-двенадцать человек, то ужин не может быть хорошим. На этот раз клубный повар был новый, Татьяна Михайловна не была в нем уверена и немного беспокоилась, особенно за

«бэф Строганов». С улыбкой вспоминала очень скромные ужины в Харькове у воспитывавшей ее небогатой, бережливой тетки. Родителей она потеряла в раннем детстве, тетка тоже давно умерла, и из родных у нее оставался только двоюродный брат, теперь петербургский помощник присяжного поверенного. Ее муж очень его не любил, и они, бывая в столице, не всегда даже заезжали к нему с визитом.

Дмитрий Анатольевич волновался много больше, чем жена, но по другой причине. Этот вечер несколько отличался от их обычных: после ужина Ласточкин предполагал экспромтом устроить обмен политическими мнениями и сказать краткое вводное слово (о чем не предупредил жену). Надеялся, что артисты, поужинав, уйдут: у каждого из них обыкновенно бывало по несколько приглашений в день, и везде, несмотря на тревожное время, пили шампанское. Артисты, конечно, для политических бесед не годились, – «могут только нести чушь». Но профессора и политические деятели очень годились, хотя были второстепенные: первостепенные уехали в Петербург «переговорить с графом Витте».

Всеобщая забастовка кончилась, прогремел на весь мир манифест 17-го октября, Витте стал главой правительства. Радость была необычайная. Правда, за манифестом последовали в провинции погромы евреев и интеллигенции, вызвавшие общее негодование. Все сходились на том, что это последние действия черной сотни: на прощанье мстит за свое полное и окончательное крушение.

Поддался общему восторженному настроению и Дмитрий Анатольевич.

– Вот меня нередко попрекали чрезмерным оптимизмом, – говорил он; при всей своей искренности, забыл, что его оптимизм ослабел в последние месяцы. – А вот вышло все-таки по-моему. Увидите, какой расцвет скоро настанет! После десяти лет свободного строя Россия станет первой страной в мире. Да, большой, очень большой человек Витте!

Татьяна Михайловна совершенно с ним соглашалась. Люда спорила. Вернее, начала спорить приблизительно через неделю после манифеста: московская партийная организация получила письмо от Ленина. Он говорил, что революция только началась, что он возвращается в Россию для ее углубления, называл Витте черносотенцем. Люда стала говорить то же самое, но из снисходительного отношения к взглядам Дмитрия Анатольевича смягчала отзыв о председателе совета министров.

– ...Дался вам этот Витте! И он, конечно, скоро уйдет или будет свергнут начавшейся революцией. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти, – говорила она, не зная, что эту популярную в истории русской публицистики шиллеровскую фразу повторял в Петербурге, приписывая ее Шекспиру, сам Витте в переговорах с либералами. Грозил им своей отставкой и предупреждал, что ему на смену очень скоро придут совершенно другие люди.

Рейхель не обрадовался ни манифесту, ни приходу к власти графа Витте и почти одинаково ругал правых и левых. Дмитрий Анатольевич только разводил руками: «Спорить можно с консерваторами, но нельзя спорить с человеком, совершенно равнодушным к политической жизни. В сущности, ты нигилист, Аркаша!» – говорил он. – «Уж я не знаю, кто я такой, только ничего хорошего не будет». – «Почему не будет? На предельный пессимизм тоже отвечать нечего. Разумеется, мы все умрем, а может быть, через миллион лет кончится и наша планета, хотя нет никаких причин это утверждать. Но жить надо так, точно мы будем существовать вечно!» – «Не вижу ни малейших оснований», – говорил Аркадий Васильевич.

Поэма Рейхелю не нравилась. «Говорят, «верх гениальности»! Вздор. Любой из наших доморощенных сочинит не хуже... Там, в первом ряду справа расселись толстосумы, всех перевешать. И морды какие самодовольные. Они готовы осчастливить Россию, но царь, по своей отсталости, не предлагает им портфелей. А за их пятипудовыми дочерьми увиваются идейные присяжные поверенные; идейность это хорошо, но идейность с миллионным приданым еще лучше. Люда с кем-то «высоко держит знамя». Разумеется, социал-демократическое, хотя она

так же охотно и так же случайно могла стать социал-революционеркой... Нина делает вид, будто слушает Тонышева. Только вчера его сюда затащила Люда, и вот он уже у них на вечере!»

Тонышев накануне обедал у Ласточкиных и всем, кроме Рейхеля, очень понравился. После его ухода Дмитрий Анатольевич расспрашивал о нем Люду, а вечером говорил о нем наедине с женой:

– Очень милый человек. Кажется, он нравится Нине?

Татьяна Михайловна засмеялась:

– Я, как толстовский Алпатыч, на три аршина под тобой вижу. Да, и мне показалось, что он Нине понравился. В самом деле, он был бы для нее отличной партией.

Дмитрий Анатольевич смущенно улыбнулся.

Нина внимательно слушала. Стихи и музыка казались ей прекрасными. Она любила музыкальные вечера в доме брата. Политические же разговоры слушала плохо. Накануне за обедом Люда резко отозвалась о царе. Тонышев тотчас замолчал.

– Я с вами не согласна, – сказала Нина. – У царя прекрасные, истинно человеческие глаза. Таких я у революционеров не видела.

– А где собственно вы революционеров видели, Нина?

– Видала. Они иногда к Мите заходят.

– Значит, вы судите о политике в зависимости от «глаз»?

– Да, сужу и в зависимости от глаз. Человек с такими глазами не может быть злым. А это и в политика главное.

– Я с вами согласен, Нина Анатольевна, – с жаром сказал Тонышев. Люда рассмеялась. Татьяна Михайловна тотчас перевела разговор.

Манфред

Но все равно, – душа таить устала
Свою тоску. От самых юных лет
Ни в чем с людьми я сердцем не сходилась
И не смотрел на землю их очами;
Их цели жизни я не разделял,
Их жажды честолюбия не ведал,
Мои печали, радости и страсти
Им были непонятны...

«Да, да, и это тоже обо мне сказано, быть может, еще больше, чем монологи Росмера», – думал Морозов. Он не читал «Манфреда» и еще не понимал смысла поэмы. «Или он скрывает какое-либо преступление?.. Что же ему дает эту власть над людьми? Мне – Никольская мануфактура, а ему будто бы духи и наука? Какие духи? А о науке он и сам говорит, что это «обмен одних незнаний на другие». Все равно, власть есть, но в самом деле «что пользы в том?»

Манфред

Мы все – игрушки времени и страха.
Жизнь – краткий миг, и все же мы живем,
Клянем судьбу, но умереть боимся.
Жизнь нас гнетет, как иго, как ярмо,
Как бремя ненавистное, и сердце
Под тяжестью его изнемогает;

В прошедшем и грядущем (настоящим
Мы не живем) безмерно мало дней.
Когда оно не жаждет втайне смерти,
И все же смерть ему внушает трепет.
Как ледяной поток...

«Да, все так, все так! Но какие же темные силы так грозно над ним тяготеют? Я не знаю и того, какие тяготеют надо мной. Разве Департамент полиции?» Ему в последнее время казалось, что полиция следит за ним все внимательнее. «Разумеется, я в точности не знаю, *что* с моими деньгами делают все эти Красины. Говорят, они готовят восстание?.. Связи связями, власть властью, а могут предать суду, засадить в тюрьму. Не все ли равно?»

Нервы у него совершенно расшатались за последний год. Он теперь постоянно ждал больших несчастий. Боялся своих рабочих, боялся революции, разорения, большевиков, Департамента полиции. Никаких радостей больше не оставалось. Вино надоело, театр надоел, любовница ушла, другой искать не хотелось. «Манфред верно покончит с собой. Но никакой теории самоубийства я у него не вижу. Если человек кончает с собой по какой-либо определенной причине, то тут ничего удивительного нет. Другое дело, если он убивает себя без причины... Зачем еще появился в поэме этот аббат? Конечно, у аббатов есть на все ответ. Жаль, очень жаль, что у меня нет веры предков, но если нет, то и нет. Я не понимал никогда и теперь не понимаю, как вера есть у большинства людей, а когда-то была у всего человечества? Жизнь в ту пору была гораздо более страшна, чем наша. Творились в мире неслыханные зверства, людей пытали, четвертовали, сажали на кол. Вспомнить только войны семнадцатого века, хотя бы у нас: что творили казаки, поляки, татары, великороссы, просто читать нельзя. Теперь нет всего этого и, конечно, больше не будет. Но стали ли мы счастливее? Все же в ту пору бывали и периоды мира или хотя бы затишья, и уж в эти периоды люди были неизмеримо счастливее нас. Была вера, твердая, непоколебимая вера, в которой не сомневался, не мог сомневаться никто, кроме разве отдельных смельчаков, отчаянных в природном самоволии людей... У всех других было вечное, твердое утешение. Быть может, оно мелькало даже в потухающем сознании тех, которые доживали последние минуты на колу: «еще час – и кончится мука, начнется вечная, счастливая жизнь!» И может быть, человечество когда-нибудь проклянет людей, ставших полтора века тому назад эту веру расшатывать. Но они свое дело сделали, и для нас это кончено. Откуда я возьму веру предков? И что же меня попрекать ее отсутствием? Уж если попрекать, то каких-нибудь Вольтеров, Дидро или Шопенгауэров, да и тех бессмысленно. Они тоже искали того, что называли правдой, и даже какую-то правдишку предложили. А еще какой-нибудь другой правдишкой живет, например, Красин. Впрочем, у него она так, для больших okazji, для разговоров, когда не о чем другом говорить. Всерьез же он занят революционной карьерой и, еще больше, составлением собственного капиталца. И Горький занят тем же, его «творчеству» грош цена, как только я этого не видел прежде? Он сам мелодекламатор. Всю жизнь обманывал других, да немного, гораздо меньше, и самого себя... И я тоже достаточно мелодекламировал, больше не вмоготу, всего с меня достаточно, пора уходить... Как могут жить старики восьмидесяти – девяноста лет, зная, что каждый день считан и что впереди только предсмертные мучения? Мне тоже решительно нечего ждать. Надо, чтобы мысль о смерти стала привычной, ежедневной, автоматической. И для этого полезно всегда носить с собой револьвер, как я и сейчас ношу. Отвыкнуть от любви к жизни трудно, но я отвыкаю, и чем больше ее бояться, тем лучше. Тогда легче умирать. Самое самоубийство может быть автоматическим действием, иначе труднее покончить с собой».

Он оглянулся и встретился взглядом с Людой, оба тотчас отвели глаза. «Эта еще кто? Красива. Быть может, и она готова была бы отдаться мне? То есть не мне, а Никольской ману-

фактуре. Совершенно бескорыстно мне никто не отдавался, все с оглядкой на Никольскую мануфактуру», – думал он с все росшим отвращением от людей и от жизни.

Аббат

Увы, ты страшен – губы посинели —
Лицо покрыла мертвенная бледность —
В гортани хрип. – Хоть мысленно покаяйся!
Молись – не умирай без покаянья!

Манфред

Все кончено – глаза застлал туман —
Земля плывет – колышется. Дай руку —
Прости навек.

Аббат

Как холодна рука!
О, вымолви хоть слово покаянья!

Манфред

Старик! Поверь, смерть вовсе не страшна,

(Умирает)

Аббат

Он отошел куда? – страшусь подумать —
Но от земли он отошел навеки.

«Да, замечательная поэма, – думал Морозов. – Сегодня же дома прочту все. Кажется, Байрон в одном из шкафов должен быть... Можно бы собственно уехать и до ужина, да они не отпустят. Скажут: надо обменяться впечатлениями. На всех таких вечерах обмениваются впечатлениями, если за ужином не выпьют столько, что уж не до впечатлений». Он не видел в зале ни одного человека, с которым ему хотелось бы поговорить о «Манфреде». «Да, если смерть не будет страшна, то, конечно, уж в жизни ничто не может быть страшно».

Он прежде не бывал у Ласточкиных и, собственно, не знал, почему принял приглашение на этот раз. Дмитрий Анатольевич пригласил его накануне, при случайной встрече. Его, как всех, поразил вид Саввы Тимофеевича. «Просто узнать нельзя! Глаза совершенно мертвые! Может, у нас немного развлечется?»

– Не приедете ли, Савва Тимофеевич? У нас будет сеанс мелодекламации...

Морозов вспомнил, что недавно отказал Ласточкину в пожертвовании на институт, и принял приглашение. «Постараюсь уехать возможно раньше». Но как только началось чтение, поэма его захватила.

«Не понимаю, просто не понимаю, – с недоумением думал Ласточкин. – Почему это его тяготит жизнь, «как бремя ненавистное»? Он был еще большим баловнем судьбы, чем Моро-

зов... И именно эти баловни судьбы ее клянут! Я, пожалуй, тоже баловень, но во всяком случае гораздо меньший, и я всегда обожал жизнь, и никогда у меня и мысль о самоубийстве не могла бы возникнуть... Не привирал ли все-таки и этот гениальный поэт? Откуда бы у молодого лорда, не очень давно выпущенного из английской школы, любившего выпить и поухаживать за дамами, могли быть такие демонические чувства?» Впрочем, Дмитрий Анатольевич слушал рассеянно: все больше волновался перед своим вступительным словом к беседе.

Люда тоже не очень слушала. Вначале старалась заметить и запомнить какой-либо отдельный стих, который мог бы пригодиться. Потом ей надоело: она не любила долго слушать, даже когда читались важные политические доклады; прения уж были много интереснее, особенно если выступали язвительные ораторы. Устало от поэмы и большинство слушателей; почти все подумывали, что хорошо было бы перейти в столовую. «Слава Богу, кажется, сейчас умрет Манфред, – думал Аркадий Васильевич. – И совсем не так умирают люди. Никто в агонии не говорит: «Глаза застлал туман, земля плывет, колышется»... «Но от земли он отошел навеки»! Разумеется, если человек умирает, то отходит навеки, – не очень оригинальную мысль высказал аббат... Кажется, Морозов поглядывает на дверь, едва ли Таня его отпустит... Вот теперь явно конец, и Митя поблагодарит за доставленное нам всем высокое наслаждение...»

У Ласточкиных на больших обедах не раскладывали перед приборами карточек: Татьяна Михайловна знала, что гостям приятнее садиться где угодно и что они обычно сами не садятся там, где им не полагалось бы. Все же артиста она пригласила сесть рядом с собой. «Ну что ж, это правильно: ведь могла бы посадить на почетное место толстосума», – подумал Рейхель. Сам он сел с аккомпаниаторшей и еле поддерживал с ней разговор. Поглядывал на других гостей; познакомился в доме двоюродного брата почти со всеми. «Купчих немного: сестры Шмидт, да еще одна Саввовна и одна Саввишна, в их династиях это отчество различается, чтобы не спутать. А Люда села к обер-Савве. И уже болтает с ним так, точно они с детства знакомы! Кто еще? Тот, кажется, тенор? Брюнетка виолончелистка... Остальные – «цвет интеллигенции», длинные седые бороды, лбы мыслителей, все как полагается. Воображаю, как мыслители весь вечер старались подавлять зевки. Ничего, теперь отдохнут, шампанское будет литься рекою, и «дружеская беседа затянется далеко за полночь». А кто те два молодых субъекта рядом с Шмидтихами? Довольно противные физиономии». От скуки и злости он мысленно подсчитал, сколько мог стоить Мите прием: «Верно, рублей триста, недурной микроскоп можно было бы купить».

– Да, отличная рыба, – сказал он аккомпаниаторше. Она была недовольна угрюмым соседом и делала тщетные попытки заговорить.

– Пожалуйста, подлейте мне немного шабли. Превосходное вино. Но вас верно винами не удивить: вы ведь, кажется, с женой долго жили во Франции?

– Мы там пили «ординер» в тридцать сантимов бутылка, – мрачно ответил Аркадий Васильевич. Он опять подумал, что в Париже жил приятнее, чем в Москве. «И общество было интереснее». Его общество составляли во Франции молодые биологи: политических эмигрантов Люда к себе не звала, зная, что он был бы с ними нелюбезен и совершенно для их разговоров не подходил.

Люда сидела рядом с Морозовым. Это вышло случайно, но она была довольна: «Никитич говорит, что он умница. Посмотрим». Язык у нее от водки быстро развязался.

– Я знаю, кто вы такой, – говорила она. – Знаю, что вас зовут Саввой. А как ваше отчество?

– Тимофеевич, – ответил Морозов, вероятно, впервые слышавший такой вопрос.

– Меня зовут Людмила Ивановна. Вы верно себя спрашиваете, кто я такая? Мой муж Рейхель, двоюродный брат хозяина дома. Он сидит с той дамой в темно-зеленом платье, которая сегодня аккомпанировала... Впрочем, он не совсем мой муж, у нас гражданский брак. Это вас не слишком шокирует?

– Помилуйте-с, нисколько.

– Вы не удивляйтесь, я всегда всем это говорю при первом знакомстве. Мне о вас рассказывал ваш друг Красин. Ведь он ваш друг?

– Нет-с, но мы хорошо знакомы. Выдающийся человек, что и говорить-с, – сказал он и подумал, что и эта верно сейчас попросит денег. Люда выпила еще рюмку.

– Я давно дала себе слово, что не буду в жизни считаться ни с чем условным, ни с какими предрассудками, особенно с буржуазными. Знаю, что и вы такой же... Вы читали Коллонтай?

– Не читал-с. Это, кажется, о свободной любви-с?

– Да, и о свободной любви-с, – весело сказала Люда. – Она замечательная женщина и очень красива. Хотя и не такая красавица, как о ней говорят... Вы, конечно, удивляетесь, что у Дмитрия Анатольевича и особенно у Татьяны Михайловны такая свойственница? Они ведь оба воплощение буржуазности, благовоспитанности и всего такого. Я и сама этому удивляюсь.

– А ваш муж тоже такой?

– Такой, как они, или такой, как я? Ни то, ни другое. Мой муж ни благовоспитанный, ни неблаговоспитанный, он просто вне этого. Рейхель, говорят, замечательный ученый.

– Вот как? Не биолог ли?

– Почему вы знаете? Ах, да, я и забыла, ведь он вам подавал какую-то записку о биологическом институте. Вы денег не дали, но вы, верно, такие записки получаете каждый день. Знаю, что вы много жертвуете. Жертвуете и на революционные дела. Слышала. «Сорока на хвосте принесла...» Это любимая поговорка Ильича.

– Какого Ильича-с?

– Ленина. Не делайте вида, будто о нем не знаете. Вы давали деньги нашей партии.

«Так и есть, теперь попросит, – подумал он. – Странная дама».

– Такого не помню-с.

– Не помню-с, – передразнила его Люда. – Не конспирируйте, я в Охранку не донесу, я сама социал-демократка. Помогать нашей партии обязанность каждого порядочного человека. Но вы не бойтесь, я у вас денег не попрошу. По крайней мере, здесь, а то с Татьяной Михайловной верно случился бы удар.

Она расхохоталась так, что на нее с некоторой тревогой оглянулись и Рейхель и хозяева дома. «Впрочем, мне совершенно все равно, что она ему говорит», – подумал Аркадий Васильевич.

– Не давал-с, – угрюмо повторил Морозов. Он стал нелюбезен и еле отвечал Люде. В последнее время вообще не только не старался нравиться людям, но старался не нравиться. «Покончить с собой хорошо уж и для того, чтобы не ходить на обеды и не разговаривать вот с такими вульгарными особами. Да и все тут хороши, начиная с меня».

Он обвел взглядом комнату, и ему показалось, что за столом сидят скелеты, одни скелеты, плохо прикрытые одеждой. «Скоро ими и будем... Все же это начало галлюцинаций. Да, либо дом умалишенных, либо то...»

– Вам понравилась мелодекламация? – спросила Нина своего соседа Тонышева.

– Сказать искренно? Байрон понравился меньше, чем Шуман. Я знал когда-то Байрона чуть не наизусть... Впрочем, это преувеличение: не наизусть, но знал хорошо. И мне всегда казалось, что он... Как сказать? Что он уж очень сгущает краски.

– Кого же из поэтов вы любите?

– Больше всего Шиллера. Это смешно?

– Почему смешно?

– Потому что отдаст пушкинским Ленским, а где уж у меня «кудри черные до плеч»? Моя молодость прошла, Нина Анатольевна. Мне больше тридцати лет. Ведь вам это кажется старостью, правда?

– Нисколько, – ответила Нина чуть смущенно и перевела разговор. – Я тоже люблю Шиллера, но все-таки люди у него не живые.

– Разве это важно? Я отлично знаю, что маркиз Поза не живой человек. Однако главное – это *задумать* прекрасный образ, который остался бы навсегда в памяти людей, а как он выполнен, менее важно. Поэты по-настоящему живых людей не создают.

– Некоторые создают. Пушкин, например.

– Вы правы! – не сразу, точно вдумавшись, сказал Тонышев. – Я солгал, говоря, будто больше всего люблю Шиллера. По-настоящему, как русский человек, всем предпочитаю Пушкина.

– И я.

– Вы что у него предпочитаете, уж если мы заговорили о поэзии? По-моему, говорить о ней – это лучший способ *понять* человека, а мне так хочется *вас* понять... И мы ведь все пронизаны литературой, хотим ли мы этого или нет.

– Все у Пушкина прекрасно, но лучше всего, по-моему, последняя песня «Евгения Онегина» и «Капитанская дочка».

– Я так рад, что мы с вами и тут сходимся! («А в чем еще?» – подумала Нина.) – Я ответил бы то же самое! Но «Капитанскую дочку» я особенно люблю *до* Пугачевского бунта. Конечно, это, если хотите, примитив: «Слышь ты, Василиса Егоровна»... «Ты, дядюшка, вор и самозванец»... Толстой подал бы людей не так. Но какой изумительный, какой новый в русской литературе примитив!

– Да ведь примитивы итальянской живописи – гениальные шедевры, – сказала Нина. «Уж очень он литературно говорит. Но милый, – подумала она. Ей впервые пришло в голову, что этот дипломат мог бы стать ее мужем. – Странно. Совсем не нашего круга. Пошла бы я? Надо было бы подумать. Впрочем, ерунда, он в мыслях меня не имеет».

– Разумеется. И «Капитанская дочка» тоже шедевр. Но, начиная с бунта, в ней появляется авантюрный роман, вдобавок чуть слащавый и приспособленный к цензурным требованиям... А знаете, кого я еще из поэтов люблю? Алексея Толстого. Вы, верно, видите в этом признак плохого вкуса?

– Нисколько, хотя мне не очень нравятся его стихи.

– Он был, если хотите, самый находчивый, самый изобретательный из русских поэтов, перепробовал все жанры, все ритмы, все напевы. А главное, я уж очень люблю его как человека... Мне когда-то хотелось быть на него похожим!

– Да вы и в самом деле, кажется, на него похожи. Я помню его биографию.

– К сожалению, только во взглядах... Кое-чем, впрочем, и в жизни. Вы помните, что он был однолюб, всю жизнь любил только свою жену, – быстро вставил Тонышев и тотчас вернулся к прежнему разговору. – Может быть, мрачный тон Манфреда признак возвышенной души, но мне он вполне чужд. Я обо всем этаким, манфредовском никогда и не думаю. А вы?

– Я тоже нет.

– И слава Богу! Я уверен, что и сам Байрон в Миссолонги страстно мечтал выздороветь и зажить обыкновенной человеческой жизнью. В ней ведь так много радостей, и больших, и малых.

– Это всегда говорит мой брат.

– Правда? Какой милый ваш брат. И его жена тоже! Я так благодарен Людмиле Ивановне, что она ввела меня в ваш гостеприимный дом. Вы ведь очень близки с ней?

– С Людой? Да, мы в хороших отношениях.

– Она на вас непохожа. Я потому и позволил себе спросить.

– По-моему, она слишком резка. Люда по существу добра, но у нее злой язык.

– Если вы это говорите, то и я позволю себе сказать то же самое... Конечно, вы и ваш брат совершенно правы: очень много радостей в жизни, и я за них всегда благодарю Бога. Разве

не большая радость вот то, что мы здесь сидим с вами... В вашем милом доме, в обществе умных, хороших людей. Я так рад нашему знакомству! – говорил Тонышев, глядя на нее уже почти с восторгом.

Нина ничего особенно умного и интересного не сказала, но с первого знакомства понравилась ему чрезвычайно. Ему давно хотелось жениться; он даже сам над собой иногда посмеивался: «При встрече с любой красивой барышней присматриваюсь как к возможной невесте!» При этом мало интересовался состоянием или родством барышни. Денег и связей у него у самого было достаточно. Были только полусознательные пределы, из которых он не мог бы выйти: на революционерке вроде Люды не мог жениться почти так, как не женился бы на горничной. Но Нина из его пределов не выходила: об этом свидетельствовали и разговоры, и уклад жизни в семье Ласточкиных. Он плохо знал ту среду, которая называлась «буржуазной». «Это во всяком случае приятные и культурные люди».

– Господа, кофе будем пить в гостиной, – сказала, вставая, Татьяна Михайловна.

Некоторые гости сочли возможным проститься тотчас после ужина. Все были очень довольны приемом. Простился и артист, он должен был выступать еще где-то, мог это делать и два, и три раза за ночь.

– Спасибо, от души вас благодарим, вы нам доставили такое большое удовольствие. Не решаюсь вас просить продлить его: в самом деле, что же еще можно читать после «Манфреда», – ласково говорила хозяйка. «Теперь осталась только тяжелая артиллерия, ну, да это ничего», – подумала она. Дмитрий Анатольевич проводил уезжавших, в передней пошутил сколько было нужно и вернулся в гостиную, еще больше волнуясь. «Главное, это начать. Сейчас ли? Жаль, что я не предупредил Таню. Она еще огорчится... А может, гостям теперь не до серьезных разговоров: удобно устроились с чашками кофе, а тут «политическая беседа». Ну, да что ж делать?»

В гостиной разговор шел о мелодекламации.

– ...Артист он, конечно, изрядный, но эта ваша мелодекламация есть вещь гибридная, – сказал Никита Федорович Травников, пожилой профессор истории права. Он был добрейший, любезнейший человек, всем оказывал услуги, но вечно кипятился, возмущался и непременно хотел считаться «злым языком». Называл себя «потомственным почетным москвичом», по аналогии с потомственными почетными гражданами, и в самом деле принадлежал к старому, хотя и не знатному, московскому дворянству. Он и говорил так, как говорили в старой дворянской Москве, без купеческого или народного аканья. Любил вставлять в свою речь старинные, даже церковнославянские слова, а то французские или чаще латинские. По политическим взглядам, с той поры, как и в его кругу стало обязательно иметь политические взгляды, причислял себя к «либеральным консерваторам». Был душой обедов и банкетов, шуточные тосты произносил отлично, знал толк в винах, но ни разу в жизни не был пьян. Брил бороду в ту пору, когда ее все носили, и говорил, что ее брили его духовные предки, римляне, первый народ в мире, создавший науку права; но отпустил бороду, когда она вышла из моды: русскому человеку бриться не надо. Знал он решительно всех, почти со всеми был дружен; но уверял, что на «ты» был в жизни только с одним человеком, и тот оказался провокатором. Студенты его обожали, он их всех знал в лицо, на экзаменах никого не проваливал и никому не ставил высшей отметки, – «пять поставил бы только Савиньи, и с досадой, потому немец». Ласточкины очень его любили, и он их очень любил, хотя Татьяну Михайловну благодушно корил еврейским происхождением, а Дмитрия Анатольевича называл перебежчиком: переметнулся от буржуазии к интеллигенции.

– Опера тоже гибридный жанр, – возразила Люда. Ласточкин тревожно на нее взглянул. «Ох, она навеселе! Что ж, если начинать, то сейчас. Но не стучать же ложечкой по стакану!»

– Так оно и есть, барынька, – сказал Травников. – Но я в опере слов никогда и не слушаю.

– А в «Манфреде» слова чудесные. Это вам не Андрей Белый, – сказал профессор-литературовед.

– Почему, кстати, сей юный поэт Боря Бугаев именует себя Андреем, да еще Белым? Отчего не Голубым?

– Да, ведь разумеется, он сын нашего почтеннейшего математика Николая Васильевича? – спросил Скоблин, один из первых хирургов Москвы, известный, в частности, своим необыкновенным хладнокровием. Он после обедов с водкой и винами уезжал в клинику и там очень искусно производил сложнейшие операции.

– Яблоко от яблони недалеко падает.

Никита Федорович рассказал последний анекдот о профессоре Бугаеве, который будто бы изругал извозчика за то, что тот на козлах сидел к нему спиной. Все смеялись.

– Все же превосходство новых революционных поэтов над старыми не подлежит сомнению, – сказала Люда еще громче. – Я уверена, что они все проштудировали Маркса.

– Барынька, да какие же они революционеры! Я слышал, что за винным зельем они поругивают «жидов».

– Это неправда!

Дмитрий Анатольевич воспользовался случаем:

– Не знаю, штудируют ли Маркса поэты, но в рабочих кругах его влияние все растет, и это...

– И это в высшей степени отрадно, – перебила его Люда. Ласточкин бросил на нее умоляющий взгляд – «помолчи хоть немного!» – и заговорил. К некоторому удивлению Татьяны Михайловны и гостей, заговорил не в обычном тоне, а так, как люди начинают речь; это было видно по его интонации и по чуть поднятому голосу. Впрочем, он шутливо попросил гостей не пугаться:

– Я не намерен занимать долго ваше внимание, а лишь хотел бы положить начало некоторому обмену мнениями с людьми, гораздо более компетентными в политических делах, чем я. Положение, как всем известно, достаточно серьезно. Что ж, *du choc des opinions jaillit la vérité*⁴⁵, – сказал Дмитрий Анатольевич.

– А, ну, ну, посмотрим, какая такая истина, – заметил Ренхель саркастически. Все взглянули на него с недоумением; он обычно не принимал участия в разговорах.

Ласточкин повторил, что считает положение очень тревожным, и не только в России, но и во всем мире. Недавняя вызывающая поездка Вильгельма II в Танжер показала, что мы были на волосок от европейской войны. Кайзер очевидно хотел использовать момент русской слабости. Об этом поговорили, а теперь забыли или забывают. Везде гораздо меньше интересуются общим мировым положением, чем небольшими текущими делами каждой данной страны. О внешней политике и вообще говорят больше разве только на парадных конгрессах. Японская война, сравнительно небольшая, привела Россию чуть не к революции и, во всяком случае, к 9 января. Что же будет с Европой, если так же случайно, из-за каких-либо европейских Безобразовых, начнется всеобщая война?

Дмитрий Анатольевич, на деловых собраниях говоривший очень гладко и хорошо, теперь, от непривычной темы, от удивленных взглядов гостей запинаясь и не мог справиться с мыслями. Пытался было вернуться к шутливому тону, но и это не вышло.

– Один мой знакомый, – сказал он, – сообщил мне, что Витте в разговоре с Вильгельмом назвал Европу престарелой, увядающей красавицей, медленно идущей к гибели. Можно быть разного мнения о Витте, но нельзя ведь отрицать, что он очень умный человек.

– Это отрицать можно-с, – перебил его сердито Морозов. Он недавно разговаривал с главой правительства, и этот разговор оставил у него очень неприятное впечатление: Витте «дру-

⁴⁵ В споре рождается истина (*франц.*).

жески» посоветовал ему заниматься промышленностью и бросить политику: «Вы в ней, Савва Тимофеевич, ничего не понимаете. Слышал, вы даете миллионы на революцию. Не советую, очень не советую», – многозначительно сказал он.

– Я был с делегацией у Витте, – сообщил старый земец. – И он ничего об опасности европейской войны не говорил.

– Разумеется, – подтвердил Скоблин.

– В самом деле на Витте ссылаться незачем, Дмитрий Анатольевич, – сказал видный сотрудник «Русских Ведомостей». – Дело не в его уме, но он уже наглядно доказал, что у него очень ограниченный кругозор. Ведь он считает Александра III великим монархом и лучшей формой правления признает самодержавие с хорошим царем.

В сущности, его политика, сдается мне, в значительной мере определяется его личной ненавистью к «ныне благополучно царствующему монарху» и еще...

– Это было бы не так плохо, – вставила, смеясь, Люда.

– И еще личным честолюбием.

«Точно ты личного честолюбия совершенно лишен. Или я», – с недоумением подумал Тоньшев, хотя ему хотелось находить прекрасным все в доме Ласточкиных.

– Вы говорите, барынька, о марксизме и поэзии, – отечески, но неодобрительно сказал Травников. – Наш почтенный коллега князь Трубецкой говорит, однако, о мещанах марксизма. Считает, что нет более мещанской интеллигенции, чем наша: у нас будто бы есть мещане марксизма, мещане позитивизма и даже мещане идеализма.

– Верно, ваш почтенный коллега выжил из ума.

– Разумеется, – подтвердил хирург. Он постоянно пользовался этим словом, иногда совершенно некстати. Слушал не интересовавший его разговор очень рассеянно. Смотрел на бородавку на щеке у земца и думал, что было бы очень просто и легко ее удалить, заняло бы две минуты.

– Он умнейший человек, я его очень люблю и почитаю, – обиженно возразил сотрудник «Русских Ведомостей», – но о мещанстве нашей интеллигенции он говорит зря. Достаточно привести в пример его самого, а уж он интеллигент из интеллигентов.

– Это верно, хотя его июньское соло во дворце оставляло желать лучшего, – сказал Травников. – Но об европейской войне, Дмитрий Анатольевич, невозможно говорить. Если б Вильгельм хотел войны, то он объявил бы ее полгода тому назад, когда вся наша армия завязла на Дальнем Востоке. Тогда он взял бы нас голыми руками.

Старый земец с этим не согласился:

– Это бабушка надвое сказала. Не вся наша армия завязла, и у нас есть союзница Франция, и в случае войны с Германией наш народ встал бы как один человек! – с силой сказал он.

– И взял бы власть в свои руки.

– Ну, еще как будет править наша богоспасаемая деревня: Дырявино, Знобишино, Горелово, Неелово, Неурожайка тож, – сказал земец. Он в юности был народником и даже, как Кравчинский, рыл в далеком глухом имении глубокое подземелье для устройства тайной типографии и печатанья поэмы «Стенька Разин». Но на старости лет немного разочаровался в народе и вспоминал о подземелье с грустным умилением.

– Отлично будет править. И, во всяком случае, мировой пролетариат никогда не допустит европейской войны, – сказала Люда.

– По моему бабьему суждению, Вильгельм поскакал в Танжер больше для того, чтобы лишний раз увидеть свои портреты во всех журналах мира, – сказала, смеясь, Татьяна Михайловна. Она видела, что неожиданное выступление мужа не удалось, была огорчена и хотела замять дело. – Господа, кто хочет чаю? У нас «богдыханский», как уверяют в магазине.

– С удовольствием выпью чайку, барынька, – сказал Травников. – А насчет войны, Дмитрий Анатольевич, вы будьте совершенно спокойны. Симпатии к нам на Западе все растут. Вот, Кнут Гамсун так обожает Россию и все русское, что у нас в Москве клал в щи икру.

Все смеялись.

– Он ненавидит Соединенные Штаты еще больше, чем любит нас.

– Рад, что любит Россию, и жалею, что ненавидит Соединенные Штаты, – сказал, улыбаясь, Ласточкин. Он тоже видел, что из обмена мнениями ничего не вышло, и потерял охоту к разговору: не мог отвечать сразу и о Витте, о Трубецком, и о мировом пролетариате, и о Неелове-Неурожайке тож, и о щах с икрой Кнута Гамсуна. Сделал вид, что не очень хотел начинать политическую беседу, и приятно улыбался, чтобы гости не подумали, будто он обиделся.

– Уж какая там европейская война, – сказал Травников. – А вот конституция у нас будет и очень скоро. Мы должны твердо сказать Витте «do ut des»!⁴⁶

– Да что же мы-то «do»? Налоги, что ли? Немного.

– Ну, так «facio ut des»⁴⁷. Авторитет в народе у нас, слава Богу, есть. И у государя нет другого выхода. Вот что мне вчера рассказывали...

Разговор пошел обычный, о петербургских и петергофских новостях. «Прекрасные они все люди, цвет нашей интеллигенции, таких, быть может, на Западе мало, но чего-то им не хватает», – грустно думал Ласточкин. Татьяна Михайловна поглядывала на мужа одобрительно: не беда.

⁴⁶ «Даю, чтобы дал» (лат.).

⁴⁷ «Делаю так, чтобы дал» (лат.).

Часть третья

I

Не устроившись как следует в Москве, Рейхель решил попытать счастья в Петербурге. Люда всячески его в этом поддерживала. Революционное движение не только не прекратилось после манифеста 17 октября, но еще усилилось. Шел глухой слух, будто в столице ожидается вооруженное восстание. «Во всяком случае, Москва – провинция. Центром будет Питер», – говорила Люда социал-демократам из московского комитета. Сама она в комитет не входила, была этим обижена и огорчена. Товарищи отвечали ей уклончиво. «Без Ильича я и вообще никуда не попаду!» – думала Люда. Ленин же, по слухам, находился в Петербурге. Ей очень хотелось принять участие в восстании. Об опасности и не думала, как не думают о ней гимназисты, отправляющиеся добровольцами на войну.

Жизнь в Москве ей надоела. Было у нее еще и другое основание желать скорейшего отъезда, хотя о нем она старалась не вспоминать. Тонышев теперь чуть не ежедневно бывал у Ласточкиных и явно ухаживал за Ниной. С ней же при встречах был вежливо-холоден и называл ее по имени-отчеству. «Верно Нина сообщила ему, что я «гражданская». Стоило вводить его в их дом!» Она нисколько не была влюблена в Тонышева, любила Нину, но постоянно встречать их в доме Дмитрия Анатольевича было ей неприятно. «Пусть женятся, совет да любовь, мне совершенно все равно, а танцевать на их помолвке я не желаю. Очень влюбчив господин эстет».

Рейхелю она, конечно, иначе представляла необходимость переезда:

– Посуди сам, Аркаша, – говорила она миролюбивым, почти ласковым тоном. – Здесь тебе только обещают в лучшем случае штатную доцентуру. Часового гонорара для жизни не хватит, придется и дальше брать деньги у Мити. Ведь надо же этому положить когда-нибудь конец!

– Конечно, надо. Мне это нестерпимо тяжело. Но именно для переезда придется у него взять денег, и какая же гарантия в том, что в Петербурге мне что-нибудь предложат? Разве у нас умеют ценить людей!

«Других умеют», – подумала Люда. Она считала его выдающимся ученым: «Хоть это же у него есть!» – Но неудачи Рейхеля еще усилили в ней раздражение против него. Сама этого стыдилась: «При чем тут удачи и неудачи? Что они доказывают? Во всяком случае, он настоящий ученый и труженик. Просто ему не везет. И Митя все-таки его несколько подвел. Он не виноват, что институт не создан, но зачем обещал золотые горы?» – думала она. «В Петербурге, если место найдется, Аркадий будет совершенно счастлив. Ведь ему почти ничего не нужно. Ему нужно спокойно работать и непременно в своей лаборатории, чтобы быть совершенно независимым. По той же причине ему необходимо, чтобы у него не было никаких долгов. То, что он берет деньги у Мити, у него настоящий пункт умпомешательства. Роскоши, денег он даже не любит, он один из самых бескорыстных людей, каких я когда-либо знала. – Старалась думать о нем *справедливо*. — И еще ему нужна женщина, да и то не очень нужна...»

– Гарантии, конечно, нет, но там возможностей верно больше.

– Что ты об этом знаешь?

– Штатную доцентуру можно получить и там. Хуже в этом отношении, чем здесь, в Питере, наверное, не будет. Там и я найду, наконец, платную работу.

– Не знаю, почему ты ее найдешь именно там. У тебя нет никакой квалификации, – угрюмо ответил Рейхель. Он и не хотел, чтобы Люда вносила свои деньги в хозяйство; сказал

это больше потому, что теперь им обоим было трудно разговаривать без колкостей. Тотчас раздражилась и она.

– Пока и тебе не слишком помогла твоя «квалификация»... Хочешь, я сама поговорю с Митей? Татьяна Михайловна будет очень рада нашему отъезду, а он особенно спорить не будет. Предупреждаю, он потребует, чтобы ты взял много денег. Я возьму.

– Ни в каком случае!

– Тогда говори сам. Всем известно, что ты джентльмен и что он джентльмен, ты преимущественно снаружи, а он и внутри. Вообще вся ваша порода состоит из джентльменов. Нина тоже воплощение благородства, хотя страстно хочет выйти замуж за Тонышева, он ведь богат и делает блестящую карьеру.

– Я, конечно, не такой замечательный психолог, как ты, и не берусь делать характеристику твоей сложной натуры. По-моему, твоя трагедия в том, что ты считаешь себя чрезвычайно умной, тогда как на самом деле ты дура, – сказал Рейхель, совершенно разозлившись из-за «ты преимущественно снаружи». Он сам тотчас почувствовал, что для «колкости» это уж несколько сильно. Таково впрочем было в последнее время его искреннее убеждение.

Они поссорились. С Ласточкиным Аркадий Васильевич поговорил на следующий же день.

– ...Что ж делать, я должен искать платной работы. Не могу без конца быть тебе в тягость, – сказал он.

– Ну, что ж, попробуй, – сказал Дмитрий Анатольевич. – Мне так жаль, что...

– Надеюсь, я там найду работу, – перебил его Рейхель. Он имел привычку недослушивать собеседников и даже не подозревал, что это может их раздражать.

В поезде он с Людой почти не разговаривал. Как только они в Петербурге устроились в «Пале-Рояле», Рейхель отдал ей половину денег, полученных от двоюродного брата.

– Митя заставил меня принять тысячу рублей, – сердито сказал он.

– Но зачем ты мне даешь половину?

– Так вернее. Если я потеряю, останутся твои. Если потеряешь ты, останутся мои.

– Да ни ты, ни я никогда денег не теряли. Впрочем, как хочешь. Я спрячу четыреста в свой чемодан.

– И я спрячу четыреста в чемодан.

– Только твой не запирается на замок, – сказала Люда с некоторым недоумением: «Тогда какое же «если потеряешь»?»

Оба целый день бегали по Петербургу. Рейхель посещал профессоров. Оказалось то же, что в Москве: предлагали место в лаборатории и обещали должность штатного приват-доцента. Все же обещания были несколько определеннее, и одна из лабораторий оказалась хорошей. Он встречался с Людой лишь за обедом, да и то не всегда. На беду у него разболелись зубы. Надо было ходить ежедневно к дантисту, ждать долго очереди в приемной, проделывать мучительное лечение. Настроение у Аркадия Васильевича становилось все хуже. Люде было его жалко. «Все равно скоро конец», – думала она. Рейхель думал то же самое. Полусознательно он именно для этого отдал ей половину денег.

Она повеселела, оказавшись в родном городе. Тотчас побывала в партийном комитете, но адреса Ленина не узнала. Ей отвечали, что не знают сами: Ильич скрывается и постоянно меняет комнату, живет отдельно от жены и даже отдельно от нее приехал из-за границы.

– Да, я понимаю, что шпики *теперь* ищут усиленно, – сказала Люда многозначительно: давала понять, что ей известно о предстоящем восстании. – Да ведь *у нас* теперь есть своя газета. В какие часы Ильич бывает в редакции?

– В самые неопределенные. Туда тоже могут нагрянуть. Он уже замечал, что за ним ходит гороховое пальто.

– Пойду в газету. Я с Лондона Ильича не видела, – сказала Люда обиженно.

– Правда, ведь вы тогда были с ним на Съезде, – сказал один из членов комитета. Дмитрий, грубовато-веселый и добродушный человек. – Значит, своими глазами видели, как от мартовцев остались рожки да ножки? Ильич и теперь их по головке не гладит. Вот что, завтра в газете состоится редакционное собрание. Назначено на пять часов, значит, начнется в шесть. Приходите пораньше, может, его и поймаете. Приглашены все литераторы, с декадентами включительно. Ох, народ!

– Неужто Ильич пригласил и декадентов?

– С проклятьями, но пригласил. Как же теперь без них? Надо же, чтобы газету читали. Да и пенензы достала жена Горького, а она сама чуть ли не декадентка... Вы там Морозова не видели?

– Видела-с. Говорила-с, – сказала она. Член Комитета засмеялся.

– Побольше бы таких, как он, болванов-буржуев. Так вот, повидайте Ильича и заходите к нам. Люди очень нужны, работаем с раннего утра до поздней ночи.

– Вся вложусь в дело! – обрадовавшись, сказала Люда.

II

Она отправилась в редакцию в указанное ей время. Подходя к дому, с восторгом увидела, что через улицу, оглядываясь по сторонам, бежит Ленин, в пальто с поднятым каракулевым воротником. Они столкнулись у входа. Он еще раз оглянулся и, поспешно войдя в дверь, поздоровался с Людой приветливо, но так, точно видел ее накануне. На этот раз в ее отчестве не ошибся.

– Ильич, сколько лет, сколько зим!.. Я так рада! Мне нужно о многом с вами поговорить. Где и когда можно?

Он, поднимаясь по лестнице, только показал рукой на шею.

– Почтеннейшая, сейчас не могу. Разве после заседания, если у вас что-либо важное?

«Почтеннейшая», – подумала Люда.

– Не знаю, как для вас, Ильич, а для меня очень важно. Разумеется, в партийном отношении. Ведь заседание очень затянется? Где же мне вас ждать?

– А вы пройдите в редакционную, послушаете.

– Вы меня в сотрудницы не звали.

Он взглянул на нее изумленно. «Хороша ты была бы сотрудница!.. Впрочем, и другие не лучше», – подумал он.

– Где же мне было вас искать? Милости просим. Это тут, прямо. Если вас спросят, скажите, что я вас пригласил, – ответил он и, улыбнувшись, исчез за боковой дверью.

Заседание еще не началось. Люда только заглянула в комнату. Там стояло много стульев, ни один не был занят. «Нет, что же сидеть одной?» – Но и в передней стоять одной было неловко. «Вернусь минут через десять, когда соберется народ». Она вышла и увидела, что по лестнице, шагая через две ступеньки, поднимается Джамбул. Обрадовалась ему еще больше, чем Ильичу. Он тоже улыбнулся очень радостно, совсем не так, как Ленин.

– Люда, какими судьбами!

– Вы-то, Джамбул, какими судьбами? Вот и думать не думала, что вы в Петербурге!

– И я не думал, – сказал он, отворяя перед ней дверь. В передней расстегнул шубу и оглянулся. Вешалки не было. Не было и зеркала. «Еще элегантней, чем был прежде!» – подумала Люда. – Как это, дорогая моя, вы здесь очутились?

– Пришла на редакционное совещание. Я ведь сотрудница. Вы тоже?

– Как же, как же. Буду писать баллады и рождественские рассказы. Надеюсь, вы никуда сейчас не убегаете?

– Не убегаю. Я просто в восторге, что встретила с вами! Всегда мы встречаемся в разных партийных учреждениях. Так было и в Брюсселе. Сколько воды с тех пор утекло!

– Да, немало. Где вы живете?

– В «Пале-Рояле». Я только пять дней тому назад приехала из Москвы.

– С мужем?

– С Рейхелем, но я вам давно говорила, что он не мой муж. А где и с какими гуриями живете вы?

– Так легкомысленно нельзя говорить у социал-демократов. Это «трефное».

– Да я ничего легкомысленного не хотела сказать, это у вас такое воображение. Давайте сядем здесь в углу. Или вы хотите уже идти на заседание?

– Отнюдь не хочу. Верно, там уже собрались вице-Бебели, надо будет вести умные разговоры, а я не умею. Где вы сегодня ужинаете? Хотите, поужинаем вместе?

– С великой радостью. Но Ильич обещал поговорить со мной после заседания.

– Неужели вы верите его обещаниям? Мне он тоже обещал и давным-давно забыл.

– Зачем же вы пришли?

- Послушать умных людей.
- Все-таки вы не настоящий большевик.
- Разумеется, не настоящий! Подделка самой грубой работы.
- Кто же вы?
- Я склоняюсь к мистическим анархистам. Они ваши «друзья слева», как кадеты называют вас.

– Вы не изменились, вечные шутки!

Отрываясь от болтовни, Джамбул негромко называл ей проходивших людей. Некоторых она сама узнавала по фотографиям из «Нивы». Это были очень известные писатели.

– Видите, какие вдохновенные лица, – говорил он вполголоса. – У них мировая скорбь!

– «Братья-писатели, в вашей судьбе – Что-то лежит роковое...»

– Ничего, они и с «роковым» все доживут до восьмидесяти лет и умрут от простаты или от болезни печени. Сколько Савва Морозов платит за «роковое» построчно?

– Какой гадкий вздор! И очень хорошо, что доживут!

– Нет, не очень хорошо. Человек не должен умирать развалиной, и вообще не надо жить долго.

– Да, знаю, вы Полиоркет! Во всяком случае вы видите, что за Ильичом идет весь цвет русской литературы!

– Сейчас верно прискачет из Ясной Поляны и Лев Толстой. Надеюсь, ему послали приглашение срочной телеграммой? – спросил Джамбул. – Ну, пойдем все-таки слушать вице-Бебелей.

На улице Джамбул расхохотался.

– Ох, ловкий человек Ленин... Дока!.. Кажется, так говорят: дока? – сказал он. Когда редакционное заседание кончилось, они минут десять ждали в передней. Затем справились, им ответили, что товарищ Ленин давно ушел.

– Верно, Ильич забыл, что назначил мне свидание, – смущенно сказала Люда.

– Разумеется, забыл! Просто забыл! – весело говорил Джамбул.

К приятному удивлению Люды, он назвал извозчику очень дорогой ресторан. «Значит, отец прислал много денег», – подумала она. По дороге он обнял ее за талию, что удивило ее еще больше. Болтал со смехом о заседании и очень хвалил Ленина.

– Ему министром быть бы! И как хорошо он председательствовал! Вы заметили, как он ловко говорил с этим поэтом, как его? Красавцу очень хотелось написать политическую статью, а Ленин «отсоветовал» так учтиво и почтительно: «Зачем вам разбрасываться? Арабскому коню воду возить! Вы пишете такие изумительные стихи!» Разумеется, он его и человеком не считает, а в его стихи отроду и не заглядывал: должно быть, никогда в жизни никаких стихов не читал.

– Неправда! Ильич обожает Пушкина. Да он и сам пишет стихи, правда шуточные.

– Неужели? Может, и «станцы» пишет? Ужасно люблю слово «станцы», хотя не знаю, что оно собственно значит. Как надо говорить: станец или станца? По-моему, станцем называется сарафан, но, вероятно, поэты лучше знают. У Пушкина есть станцы, по форме чудесные, а по содержанию довольно гадкие: «В надежде славы и добра...» Это он от Николая-то ожидал добра!

– У Пушкина «стансы», а не «станцы»!

– Это один черт. Впрочем, мне все равно. Вы сегодня необыкновенно хороши собой! – говорил он. Люда смотрела на него с некоторой тревогой, но ее радость от встречи с ним все увеличивалась.

В передней ресторана он с минуту поправлял перед зеркалом шелковый галстук, который впрочем и до того был в полном порядке. Люда смотрела на него с насмешливой улыбкой.

Он потребовал, чтобы им дали отдельный кабинет.

– Помилуйте, Джамбул, зачем нам отдельный кабинет? Это совершенно не нужно!

– Совершенно необходимо. В общей зале могут быть шпионы, – ответил он шепотом, наклонившись над ней и глядя на нее блестящими глазами. – Вас тотчас узнают, схватят и повесят, а я не хочу, чтобы вас вешали, у вас такая удивительная шейка. Просто как у Дианы! Кажется, это у Дианы была знаменитая шея?

– Это вас надо бы повесить, – сказала Люда, еще больше озадаченная «шейкой».

– Для начала мы с вами выпьем водочки. Очень холодно, правда?

– Совсем не холодно, еще и не зима, – ответила она, стараясь говорить сухо. – Вы надели шубу, верно чтобы щегольнуть бобровым воротником.

– Я южанин, мне в Петербурге и в ноябре холодно... Вы любите шашлык?

– Нет. Не люблю лука.

– Тогда не буду есть и я.

Обед он заказал так, точно всю жизнь обедал в дорогих ресторанах. «Еще подучится и станет не хуже, чем Алексей Алексеевич», – подумала Люда, вспоминая о Тоньшеве уже без неприятного чувства. «Ну и пусть женится на Нине, мне-то какое дело!»

– Какое шампанское вы больше любите?

– Все равно. Клико... Не слишком ли много вы пьете? – спросила она, когда лакей отошел.

– Это не ваше дело.

– Вы грубиян... Но симпатичный грубиян.

– И, пожалуйста, не говорите хоть за обедом об Эрфуртской программе.

– Да я никогда о ней не говорю, что вы выдумываете! А об Ильиче говорить можно?

– Я видел его в Женеве и раз у него обедал. Надежда Константиновна была со мной очень любезна. Даже пива дала. Она милая женщина и неглупая. Именно такая жена и нужна Ленину, хотя она несколько злоупотребляет несомненным правом каждой женщины быть некрасивой.

– И даже очень злоупотребляет. Но меня Крупская не интересуется. Расскажите об Ильиче подробнее. Вы имели с ним тот разговор?

– Нет, еще не имел.

– Ось лыхо! Да что же вы, наконец, хотели ему сказать?

– В двух словах не объяснишь. Впрочем, песню помните? – спросил он и вполголоса пропел с тотчас усилившимся кавказским акцентом:

Нам не так бы, др-рузья,
Пр-равадить н-наши дни!
Вместо д-дела у н-нас
Р-разга-воры адни!

– Это у Ильича-то «р-разговоры адни»!.. Хорошо, что же он там делал?

– Пописывал, пописывал. Я был у него и в «Сосьете де лектюр»⁴⁸, где он целый день работает. Есть же такие чудачки, которые целый день работают в библиотеках. Я отроду в них не был! В первый раз и побывал, когда за ним зашел. Он должен был меня познакомить за городом с Гапоном.

– Не может быть!

– Разве вы не слышали, что Владимир Ильич связался с этим господином? Гапон вошел в большую моду на Западе. «Ле поп руж»⁴⁹, загребают деньги от поклонников и от газет. Верно, Ленин у него попользовался для партии. Они затеяли какое-то дело со шхуной «Графтон»,

⁴⁸ Здесь: читальня (*франц.* Société de lecture).

⁴⁹ «Красный поп» (*франц.* le pope rouge).

которая должна была доставить оружие, кажется, в Кронштадт. Разумеется, села на мель. Дело в принципе глупым не было, во всяком случае получше, чем журнальчики. Но не вышло. Ох, эти теоретики! Я зашел в библиотеку, вижу, он ходит по комнате и что-то про себя бормочет, видно, обдумывал гениальную статью. Библиотекарь смотрел на него, как на сумасшедшего. А Гапон приехал на наше свидание верхом! Он в Женеве учился стрелять из револьвера и ездить верхом! Хорошо ездил!

Джамбул расхохотался.

– Что же за человек Гапон?

– Разумеется, прохвост.

– Почему вы так думаете?

– Как почему? Во-первых, вокруг Владимира Ильича почти все прохвосты, он их обо- жает. А во-вторых, если священник связался с Лениным, то он прохвост уже наверное.

– Да вы сами, Джамбул, чуть ли не верующий!

– Но не мулла. Когда стану муллой, брошу революцию. Аллах революции не любит.

Однако повторяю, я нынче не желаю говорить о политике.

– А о чем же вы хотите говорить?

– О любви.

– О-о! С песенками и стишками, Полиоркет?

– Нет, без стишков. Впрочем, отчего же без них или без поэтической прозы? Вы читали «Викторию»?

– Я аб-бажаю Кнута Гамсуна! Вы тоже?

– Да. Я пробовал перевести на наш язык «Лабиринт любви», он ведь, кажется, теперь во всех антологиях мира. Не перевел, но по-русски главное помню чуть не наизусть. А вы помните? Хотите, прочту?

«Это, кажется, длинно», – подумала Люда. Ей после вина хотелось, чтобы он ничего чужого не говорил, чтобы он был лесным дикарем, как Алан, а она как иомфру Эдварда. Но Джамбул любил декламировать:

– «Да, что такое любовь? – говорил он, глядя на Люду блестящими глазами... – Ветерок, шелестящий в розах. Нет, золотая искра в крови. Любовь – это музыка ада, от нее танцуют и сердца стариков. Она может поднять человека и может заклеить его позором. Она непостоянна, она и вечна, может пылать неугасимо до самого смертного часа. Любовь – это летняя ночь с звездным небом, с благоухающей землей. Но отчего же из-за нее юноша идет крадучись и одиноко страдает старик? Она превращает сердце в запущенный сад, где растут ядовитые грибы. Не из-за нее ли монах пробирается ночью, заглядывая в окна спален? Не из-за нее ли сходят с ума монахини, и король, валяясь на земле, шепчет бесстыдные слова? Вот что такое любовь. О нет, она совершенно иное. Была на земле весенняя ночь, и юноша встретил два глаза. Два глаза!» – читал Джамбул, придвигая к ее лицу свое.

– Да, удивительно! – прошептала Люда.

– «Точно два света встретились в его сердце, солнце сверкнуло навстречу звезде. Любовь – первое произнесенное Богом слово, первая осенившая Его мысль. Он произнес «Да будет свет!» – и явилась любовь. И все, что сотворил Он, было так прекрасно, и ничего не пожелал Он переделать. И стала любовь владычицей мира. Но все пути ее покрыты цветами и кровью. Цветами и кровью».

– Удивительно!

Он выпил еще бокал шампанского и тем же волнующим голосом, почти не изменив декламационной интонации, заговорил о своей любви к ней. Его лицо еще побледнело. Люда слушала его с упоением. «Что ему ответить?.. Да, у человека только одна жизнь... Я ведь и не жила!.. Я слишком много пью».

Еще слабо попыталась обратить все в шутку:

– Уточним, как на партийном съезде. Вы, следовательно, предлагаете мне «вечные нерушимые узы»? Проще говоря, предлагаете мне уйти к вам от Рейхеля?

– Не предлагаю, а молю вас об этом! Вы никогда его не любили!

– Откуда вам сие известно? – «О вечных нерушимых узах» промолчал, – подумала она.

– Бросьте шутить! – сказал он с угрозой в голосе.

– Да это вы вечно шутите...

– Бросьте шутить, говорю вам! Вы не можете любить такого человека, как он! И я им не интересуюсь!

– Но я им интересуюсь... Что я ему сказала бы?

– Что хотите. Правду, – ответил он и обнял ее.

Они вышли из ресторана поздно ночью. У входа стоял лихач.

– Эх, хороша лошадь! Орловский великан! Гнедой, моя любимая масть! – сказал с восхищением Джамбул. Люда взглянула на него с укором. «Кажется, сейчас опять заплачу...»

К удивлению извозчика, они всю дорогу молчали. У «Пале-Рояля» Джамбул поцеловал ей руку. Люда страстно его обняла.

– Я завтра, милая, позвоню тебе по телефону. В котором часу его не будет дома?

Она ничего не ответила.

Рейхель еще не спал. Читал, лежа в кровати. Зубы болели все сильнее. Нерв в дупле умерщвлялся медленно. Злоба у него все росла.

– Здравствуй, Аркаша. Я тебя разбудила? Пожалуйста, извини меня, – сказала она смущенно и подумала: «Теперь глупо называть его Аркашей и еще глупее просить извинения в том, что разбудила».

Он что-то буркнул и отвернулся. На кровати Люды проснулась кошка и радостно соскочила.

Люда умылась по возможности бесшумно и легла. Пусси, совершенно удовлетворенный, устроился у ее плеча. Рейхель продолжал молчать. Она хотела начать разговор и решила, что лучше отложить до утра. Хотела еще подумать, но чувствовала, что и думать не может.

– Потушить? – робко спросила она.

Он быстро приподнялся, приложив руку к щеке.

– Где ты была?

– На редакционном заседании нашей газеты... Там встретила Джамбула...

– Какого Джамбула?

– Это тот революционер, с которым я тебя как-то познакомила на Лионском вокзале.

– Редакционное заседание кончилось в два часа ночи?

– Нет, оно кончилось раньше. Потом я с Джамбулом ужинала в ресторане.

– Вдвоем?

– Да, вдвоем.

– Если он посмеет опять тебя звать, то я вышвырну его вон! – закричал Рейхель. Ей стало смешно, что он «вышвырнет» Джамбула.

– Поговорим спокойно, – сказала она, стараясь осторожно отделаться от Пусси. – Я давно хотела тебе сказать, и то же самое верно ты хотел сказать мне. Нам обоим с некоторых пор ясно, что мы больше жить вместе не можем. Я предлагаю тебе сделать вывод. Пожили и будет. Расстанемся друзьями. Для чего тебе жить с *дурой*?.. А может быть, ты и прав, – искренно сказала Люда, – я, если и не дура, то сумасшедшая!

Он хотел ответить грубостью, но не ответил. «Ведь в самом деле она предлагает то, чего я хотел, о чем только что думал».

Ничего больше не сказал и потушил лампу.

«Вот все и кончилось очень просто. Завтра же куда-нибудь перееду. К нему и перееду», – думала она с восторгом.

Вернувшись домой, Джамбул расстегнул воротник и сел в кресло. На столе стояла бутылка коньяку. Он выпил большой глоток прямо из горлышка.

«Она прелестна, но попал я в переделку! И так скоропалительно. Еще сегодня утром думал о ней как о прошлогоднем снеге...»

«Переделок», и обычно «скоропалительных», у него в жизни бывало много, и он драматически к ним не относился. «Верно, она поехала бы со мной и на Кавказ. Никогда я не введу ее в такие опасные дела. И что у нее с Кавказом общего? Об этом и речи быть не может!»

Он бросил на столик рубль, загадав, выйдет ли все хорошо с Людой. Вышло, что все будет отлично. Счел остававшиеся у него деньги. Было всего пятьдесят семь рублей. «Не беда, пошлю отцу телеграмму. Будет старик ворчать, пусть ворчит», – думал он.

III

В начале декабря в Москве началось восстание.

Московская интеллигенция растерялась. Происходили если не бои, то что-то на бои очень похожее. На окраинах города трещали пулеметы, везде стреляли из револьверов. Улицы стали пустеть. По ним ходили, крадучись, странного вида люди, в большинстве в кожаных куртках, надолго ставших революционным мундиром. Лавки открывались на час или на два в день и ничего на дом не доставляли. Выходить из дому было опасно и все-таки выходить приходилось. Затем и в лавках товары почти исчезли: все было расхвачано, подвозили из деревень очень мало. Несмотря на кровавые события, отсутствие еды было главным предметом телефонных разговоров, – телефон действовал. Передавались страшные слухи. Говорили, что из Петербурга на Москву двинута гвардия и что восстание очень скоро будет потоплено в крови.

Большинство москвичей в душе не знало, кому желать победы. Сочувствовать правительству люди за долгие десятилетия отвыкли, да хвалить его было не за что: из окон многие видели, как на улицах убивают людей и избивают их нагайками до полусмерти. Но и сочувствовать революционерам почти никто из интеллигенции не мог: все считали восстание бессмысленным, плохо понимали, кто собственно и по чьему решению его устроил, к чему оно должно привести и что делали бы революционеры, если бы справились с московскими властями.

Ласточкин был совершенно угнетен. От его веры в графа Витте ничего не осталось. Прежде можно было думать, что главе правительства, по принятому выражению, «вставляют палки в колеса». Теперь ясно было, что все делается по его приказу, хотя руководит подавлением восстания адмирал Дубасов. «Но *что же* все-таки должен был делать Витте?» – с тягостным недоумением спрашивал себя Дмитрий Анатольевич.

Не могло быть и речи о том, чтобы на улицу выходила Татьяна Михайловна. Он сказал ей это так решительно, что она не спорила. В самом деле из знакомых дам ни одна на улицах не показывалась.

– Митя, но тогда и ты не выходи! Умоляю тебя!

– Посылать Федора мы имеем моральное право только в том случае, если буду выходить и я, – ответил Ласточкин.

В их районе, довольно далеко от центра, беспорядки были особенно сильны. Федор не очень желал выходить, но пример барина и очевидная необходимость на него подействовали. Они отправлялись утром вдвоем и покупали все, что можно было достать, преимущественно консервы, сухое печенье, и тотчас возвращались домой уже на весь остаток дня. Однажды издали видели, как неслись по улице казаки с поднятыми нагайками. В них откуда-то стреляли из револьверов. Дмитрий Анатольевич вернулся сам не свой. «Это неслыханно!.. Этому имени нет!» – говорил он растерянно жене, которая тоже повторяла: «Неслыханно!» и думала, как устроить, чтобы Митя больше не выходил.

Скоро загремела и артиллерийская пальба, которой Москва не слышала с 1812 года. Началась паника. Затем пальба затихла, перестали трещать и пулеметы. Стало известно, что Пресню, главный очаг восстания, разгромил пришедший из Петербурга Семеновский полк. А еще немного позднее телефоны разнесли весть, что восстание подавлено, что революционеры частью истреблены, а в большинстве скрылись.

Нормальная жизнь восстановилась с удивительной быстротой и на окраинах. В лавках появилась еда, точно подвозившие мужики отлично разбирались в событиях. На улицы выехали извозчики, даже лихачи. Москвичи не только стали выходить из дому, но проводили на людях чуть ли не весь день, – так всем хотелось обменяться впечатлениями.

К Ласточкиным первый, в необычное время, еще утром приехал профессор Травников. Татьяна Михайловна обрадовалась ему чрезвычайно. Хотела все узнать и надеялась, что Митя

хоть немного развлечется. Гостя усадили в столовой и зажгли электрический кофейник. Федор с радостным видом принес первые, еще горячие булочки и свежее масло.

– Господи! С неделю этого не видел! Ну, дела! – сказал профессор. Он поправел, хотя и не совсем уверенно.

– И мы до нынешнего утра не видели. Кушайте на здоровье и, умоляем вас, рассказывайте поскорее все, что знаете!

– Убиты тысячи людей!.. Может быть, цифру и преувеличивают, но жертв великое множество. Вот что сделали эти господа! Я собственными глазами видел, как...

Вопреки своему обычаю, Татьяна Михайловна его перебила:

– Какие господа? Ради Бога, объясните, кто они и чего они хотели?

– По имени, барынька, я их знать не могу. А чего они хотели, это я у вас хочу спросить. Говорят, какие-то большевики и еще эсеры. Один черт их разберет!

– Но на что же они надеялись! На правительство Троцкого или Носаря?

– Господа вожди были, к счастью, вместе со всем Советом рабочих депутатов, арестованы чуть не накануне восстания. Кстати, этот Бронштейн, именующий себя Троцким, и они все дали себя арестовать как бараны, – сказал Травников и спохватился, вспомнив, что Татьяна Михайловна еврейского происхождения. – Догадался, наконец, ваш граф Витте!

– Он не «мой», – мрачно ответил Ласточкин.

– Кто же руководит этими большевиками?

– Я слышал, какой-то Ленин. Он у них самый главный. Троцкий, тот, кажется, меньшевик. Большевики хотят, барынька, сцапать у нас все, а меньшевики, спасибо им, только половину... А как же, Дмитрий Анатольевич, Витте не ваш? Вы его всегда зело одобряли.

– Теперь никак не могу. Действия наших властей были совершенно возмутительны!

– С этим я не спорю, но, во-первых, одно дело власти, а другое Витте. А во-вторых, что же властям было делать, когда в городе начался кровавый бунт?

– Во всяком случае не то, что они делали.

– Тьер и французские республиканцы подавили восстание коммунаров никак не с меньшей жестокостью. В тысяча восемьсот семьдесят первом году было убито и казнено, помнится, около тридцати тысяч человек.

– Очень французские богачи испугались тогда за свои капиталы! – сердито сказал Дмитрий Анатольевич.

– Да, именно, – подтвердила Татьяна Михайловна.

– Я несколько их не защищаю, но ведь и вы, барынька, не так порадовались бы, если б у вас все это отобрали, – сказал профессор, показывая взглядом на обстановку комнаты.

– Не порадовалась бы, но казней не требовала бы!

– Да я и не требую. Однако и грабежей никак не одобряю. Помните, как сказано в «Дигестах»: «Nemo ex sue delicto meliorem suam conditionem facere potest»⁵⁰.

– Я не помню, как сказано в «Дигестах», и даже не знаю, что это такое.

Профессор добродушно засмеялся.

– Не сердитесь, барынька. И Дубасова уж я никак не защищаю. Действительно, расправа была жестокая. Представьте, я видел своими глазами, как...

Почта опять стала работать правильно. В первый же день Ласточкины послали двоюродному брату успокоительную телеграмму: «Оба невредимы как и все друзья знакомые домашние точка ждем письма обнимаем тая митя». Ответ пришел: «рад обнимаю аркадий».

– Странная редакция. Почему в единственном числе? Аркаша мог бы подписать и Люду, – сказала с недоумением Татьяна Михайловна.

⁵⁰ «Никто не должен свой поступок превращать в прибыль» (лат.).

– Уж не арестована ли она! Завтра верно будет письмо, – ответил так же Дмитрий Анатольевич.

Письмо пришло не сразу и было краткое и тоже странное. Обычно Люда приписывала к письмам Аркадия Васильевича: «Сердечный привет и от меня», или, для разнообразия, «Я тоже шлю сердечный привет». Теперь приписки не было; привета от нее не передавал и Рейхель. Ласточкины не на шутку встревожились. Посоветовавшись, они написали осторожно: спрашивали о здоровье Люды, затем описывали московские события и свои переживания. Еще через несколько дней пришел ответ, совершенно их поразивший:

«Я здоров и благополучен, – писал Рейхель. – Много работаю и, как вы знаете, то место мне обещано твердо. Очень о вас беспокоился и искренно сочувствую, что вам пришлось столько пережить. Здесь все было тихо. С Людой я разошелся. Она от меня ушла к какому-то кавказскому разбойнику и, ни минуты не сомневаюсь, благоденствует. Больше меня, пожалуйста, о ней не спрашивайте, я ничего не знаю и, скажу откровенно, не интересуюсь. Она предпочла мне разбойника, и этим все сказано. Ее адрес, на случай, если б вы пожелали ей написать, мне неизвестен».

Они только ахали, читая. Татьяна Михайловна негодовала.

– *Такого я не ждала даже от нее!* – сказала она. В первый раз у нее прорвалась неприязнь к Люде, всегда ею скрывавшаяся. Дмитрий Анатольевич чрезвычайно расстроился.

– Мы все-таки слышали только одну сторону, и во всяком случае мы им не судьи.

– Говори: мы *ей* не судьи, и это, конечно, будет верно. Но Аркаша ни в чем, я уверена, не виноват, – ответила Татьяна Михайловна, смягчившись. Она была привязана к Рейхелю, однако всегда думала, что очень тяжело иметь такого мужа.

– Едва ли он может быть тут беспристрастен. И уж наверно тот кавказец никак не «разбойник». Аркаша всех революционеров называет либо разбойниками, либо бандитами. Надо бы все-таки написать Люде, но куда же?

– Кажется, Аркаша не хочет, чтобы ты ей писал. Бедный, мне его страшно жаль!

– Как ты понимаешь, мне тоже. Мне, впрочем, и прежде казалось, что они не любят друг друга. Никак не то, что мы с тобой.

– Да, не совсем то... Бог с ней, я погорячилась.

– Как же она теперь будет жить? «Разбойник», верно, и беден.

– Конечно, пошли ей денег. Да куда послать?

– Именно.

– Может, она скоро напишет?

– Мне очень ее жаль. Она совершенно шальная женщина. Что ж, надо написать Аркаше. Просто не знаю, что ему сказать. Я и по случаю смерти не умею писать сочувственные письма, всегда выходит так плохо и стереотипно. А тут уж совсем беда!

– Да, это трудное письмо. Нельзя и сочувствие выразить, он ведь пишет, что «не интересуется»! Хочешь, я напишу, а ты только припишешь?

– Пожалуйста, очень прошу. У женщин всегда выходит лучше, у тебя в особенности.

Московская жизнь в первые недели после восстания все же стала менее шумной. Ласточкины на время отменили свои вечера. Дмитрий Анатольевич бывал на политических совещаниях. Все возлагали надежды на Государственную Думу.

В том же году еще другое известие внезапно его поразило, как и других москвичей его круга. В Канне, совершенно для всех неожиданно, покончил с собой Савва Тимофеевич Морозов. Незадолго до того говорили, что его здоровье в последнее время ухудшилось, что нервы у него расстроились совершенно и что врачи послали его в Париж и на Ривьеру, – развлечься и отдохнуть. В гостинице он воспользовался минутой, когда жена вышла, лег на диван и застрелился. По Москве поползли самые странные слухи. Одни говорили, что Морозов убит каким-

то врачом, которого к нему подослала революционная партия. Другие, неизменно повторяя «ищите женщину», рассказывали интимные сплетни. Третьи уверяли, что Савву Тимофеевича должны были тотчас по его возвращении в Россию арестовать и передать военному суду за то, что он дал миллионы на московское восстание. Четвертые сообщали, что у Морозова была какая-то «теория самоубийства»: все умные люди должны кончать с собой, так как жизнь слишком ужасна, и это самый лучший, самый безболезненный способ расстаться с ней, – он будто бы высказывал такую мысль в разговорах с друзьями. Трезвые москвичи только пожимали плечами: так эти объяснения были неправдоподобны и даже бессмысленны.

– Все это чистый вздор! – говорил Ласточкин. – Никогда никакие революционеры подобными делами не занимались и не могли заниматься, да и не в их интересах было бы убивать Савву Тимофеевича, который их поддерживал. И полиция давным-давно знала, что он дает деньги на революционное движение, и его не трогала, как не трогает и других богачей, тоже дававших на него деньги, хотя и гораздо меньше. И никто из них не кончает с собой. Специально на восстание он не дал бы ни гроша, и никакая каторга ему не грозила. И не такой он уж был влюбчивый человек, а романов у него и прежде бывало достаточно, как почти у всех...

– Не у вас, Дмитрий Анатольевич, – шутливо перебивали его друзья. Татьяна Михайловна улыбалась.

– Да, не у меня, но согласитесь, что из-за любовных романов половина Москвы должна была бы покончить с собой, – отвечал Ласточкин.

Особенно поразило людей то, что покончил с собой человек, которому миллионы давали решительно все блага жизни.

Татьяна Михайловна пыталась развлечь мужа. «Никогда до этого несчастного года он не бывал мрачен». Нерешительно предлагала съездить в Крым или за границу, говорила с ним по-прежнему весело. По природе она была менее жизнерадостна, чем ее муж, но всегда старалась быть бодрой; знала, что он это в ней любит, как любит и ее благодушные шутки. Теперь шутить было не о чем. Про себя она думала, что никуда ему уезжать не надо: успокоится, когда опять погрузится в свои обычные дела. Дмитрий Анатольевич понемногу в них и втягивался. К его, на этот раз почти неприятному, удивлению, ценности на бирже повышались.

Единственным радостным в их жизни теперь было то, что, как говорила мужу с улыбкой Татьяна Михайловна, Нина и Тоньшев «быстро и верно шли к законному браку». Алексей Алексеевич бывал у них очень часто даже в дни восстания, когда все сидели по домам, – точно щеголял своим мужеством. Приносил огромные коробки конфет, – «единственное, что еще можно достать». Отдавал всегда конфеты Татьяне Михайловне, но сидел обычно с Ниной вдвоем, – Ласточкины почти бессознательно оставляли их. Один раз под вечер тайком вышел с ней «погулять», хотя пальба гремела как будто довольно близко. Правда, вернулись они минут через десять, – Нина была очень взволнована. Татьяна Михайловна не на шутку рассердилась.

– Помилуйте, Алексей Алексеевич, как же можно так рисковать! Это Бог знает что такое!

– Ради Бога, не гневайтесь, Татьяна Михайловна. Это в самом деле было непростительно, вся вина моя, – говорил Тоньшев; в действительности он долго убеждал Нину отказаться от «прогулки» и уступил только тогда, когда она сказала ему: «Может быть, *вы* боитесь? В таком случае не надо!»

– Могли вас обоих принести на носилках! Это было бы, конечно, очень поэтично умереть на баррикадах, но баррикады вдобавок чужие и весьма сомнительные. Очень прошу вас больше Нину не выводить.

– Танечка, это моя вина! Это я, по глупости, пристала к Алексею Алексеевичу.

– Все твое любопытство!.. Слава Богу, что сошло благополучно. Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Вино, конечно, есть. Дмитрий Анатольевич теперь пьет немного больше, чем обычно. Верно, как вы и как все. Какого прикажете к нашему

лукулловскому обеду? Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить шампанское.

– Разумеется!.. Русские люди убивают русских людей! – сказал Тонышев. Он вначале говорил в доме Ласточкиных о восстании несколько осторожно. Но тотчас оказалось, что хозяйева относятся к восстанию так же отрицательно, как он. Алексей Алексеевич успокоился и обрадовался.

– Я распоряджусь, чтобы перед обедом подали водку. Ведь адский холод! Восстания и вообще ужас, но устраивать восстание в двадцатиградусный мороз это вдобавок совершенный идиотизм! Вы любите зубровку, Алексей Алексеевич?

– Очень люблю, Татьяна Михайловна. А нельзя ли выпить рюмочку сейчас, чтобы немного согреться? Ведь до обеда еще далеко.

– Танечка, пожалуй, выпила бы и я. Какая ты умница, что в свое время запаслась! Вы знаете, Алексей Алексеевич, у нас есть «погреб», просто как у старых помещиков! Митя говорил, больше ста бутылок. У вас, наверное, нет «погреба»?

– Вот и ошиблись, в имении небольшой есть. Как жаль, что вы не видели моего имения! В Вене я куплю старого токайского, это мое любимое.

– Не уверена, что у нас есть токайское. Сейчас посмотрю. А имение у вас верно отберут, да и в Вену вы не попадете. Министром иностранных дел будет, должно быть, какой-нибудь Носарь, и он едва ли вас назначит советником, – сказала Татьяна Михайловна. «Уже совсем ведет себя как *свой*. Идиллия на фоне восстания!» – радостно подумала она и вышла распорядиться о водке.

Когда восстание кончилось, Тонышев, приехав на обед уже не из колбасы и шпротов, вскользь сообщил, что решил отложить отъезд в деревню. Ласточкины постарались не переглянуться.

– А разве ваш отпуск еще не истекает? – спросил Дмитрий Анатольевич.

– Я послал в Петербург просьбу о продлении. Министр, наверное, продлит, он очень милый человек и хорошо ко мне относится. В крайнем случае, горестно отправлюсь в Вену, не заезжая в имение.

– Очередной бюллетень: завтра они идут в оперу. Предлагают и нам, но без настойчивости. Я ответила: «Как жаль, мы с Митей заняты», – вечером говорила мужу Татьяна Михайловна. – Увидишь, Митенька, он на днях сделает предложение! И по всем правилам: сначала поговорит с тобой. Впрочем, не «сначала». Ты, разумеется, грубо откажешь! Откажи, но все-таки уж не слишком грубо: без непристойных слов. Ах, как я рада!

– Я тоже страшно рад. Он прекрасный человек.

IV

Люда узнала о московском восстании из газет. Знакомые по комитету ей предварительно ничего не сообщили, Ленина она, после редакционного совещания, больше не видела. И то, и другое было обидно.

– Я переехала сюда именно потому, что восстание должно было произойти в Петербурге! И вот какой сюрприз! Нам надо сейчас же вернуться в Москву и принять участие в деле! – взволнованно говорила она Джамбулу. – Сегодня же поедем!

– Разве на ковче-самолете? Движение прекращено, и все подступы к Москве, конечно, охраняются войсками, – ответил Джамбул, пожимая плечами. Он был тоже взволнован, но гораздо меньше, чем Люда.

– Может, ты знал и ничего мне не сказал?

– Нет, я не знал. Сказал ли бы тебе, не знаю. Восстания уже совсем не женское дело.

– Почему не женское дело?

– Из-за твоей горячей головы тебя убили бы в первый же день.

– Все-таки у тебя восточный взгляд на женщин! – сказала Люда сердито, хотя его объяснение немного ее смягчило.

– Тогда у твоего Ленина тоже: он Крупскую в Москву не отправил. И, что много хуже, сам туда не поехал.

– Почему ты знаешь? Ильич, наверное, уже давно в Москве! Кто тебе сказал?

– Я вчера слышал, что он здесь.

– Может быть, ты считаешь Ильича трусом?

– Нет. Он просто находит, что должен заниматься другим делом. Это все-таки несколько странно.

– Это клевета! Я сегодня же все узнаю, и тебе будет стыдно!

Еще недавно Люда ежедневно бывала в редакции *своей* газеты. Со всеми перезнакомилась, хотя ничего не писала. «Не могу найти интересной темы», – говорила она. Но в начале декабря там был произведен обыск, и, наверное, полиция устроила засаду. Люда в тот же день разыскала Дмитрия. Он куда-то торопился и был очень взволнован. Адреса Ленина он не знал, или говорил, что не знает.

– *Во всяком случае*, все в Москве делается по точнейшим директивам Ильича, – сказал Дмитрий. – А откуда он их дает, это не ваша печаль. Скоро все будем знать. Пан или пропал!

– Я уверена, что пан! – восторженно сказала Люда.

Она вернулась домой на лихаче. Джамбул только усмехнулся.

– Даром погибнут сотни людей. Восстание, я уверен, обречено на провал.

– Почему? Что ты каркаешь?

– Потому, что у них по безденежью ничего нет, кроме револьверов и, быть может, трех с половиной пулеметов. Вице-Бибели впрочем останутся живы и здоровы, да и сам обер-Бибель с директивами тоже. Разве посидит в тюрьме, как Мунэ-Сюлли-Троцкий, которого со всем его Советом беспрепятственно арестовал скромный наряд полиции.

– Ты тоже еще не погиб геройской смертью, – съязвила Люда.

– Ваше русское восстание не совсем мое дело.

– Этого я не знала! Я думала, что это наше общее дело. А Ильич не может драться с казаками.

– Да, это не безопасно.

– Ты все понимаешь не так, как надо! Главнокомандующие сами не дерутся.

– Прежде дрались. У нас на Кавказе дерутся.

– Какие «у вас на Кавказе» главнокомандующие!

– Есть, есть. И они не сидят за шестьсот верст в тылу. Твой Ильич в Женеве говорил, что теперь мы все должны учиться владеть оружием: надо бить врага в самом буквальном смысле слова, если не из револьверов, то хоть дубинами. Очевидно, забыл.

Люда читала газеты и волновалась все больше. Через несколько дней стали приходить известия, что восстание провалилось. Из Москвы кружным путем приезжали растерянные, очень раздраженные люди. Все они рассказывали, что спаслись чудом, о Ленине говорили с кривой усмешкой и последними словами ругали Троцкого, Совет рабочих депутатов, петербургских революционеров вообще: «Вместо помощи прислали нам Семеновский полк! Даже не сделали попытки помешать ему пройти в Москву! Предатели и трусы!»

Дмитрий скрылся, и даже многие из тех, кому особенная опасность не грозила, «сняли шкуру», то есть ушли в подполье. Полиция производила аресты, но массовых облав не было. Несколько позднее Люде стало известно, что Ленин уехал из Петербурга.

От нервности ей показалось, что за ними установлена слежка. Она сообщила об этом Джамбулу как будто равнодушно, но с тайной гордостью. Он внимательно ее выслушал, подумал и сказал, что в таком случае надо принять меры предосторожности и первым делом переехать в другую гостиницу. Гордость у нее еще увеличилась: заметила она, а не он, опытный, бывалый революционер. Тотчас объявила швейцару, что уезжает в Варшаву, приказала извозчику ехать на вокзал, там наняла другого извозчика. Через час в новую гостиницу приехал Джамбул. Она ахнула: он перекрасил волосы и сбрил бороду.

– Милый, как тебе идет!.. Я тоже должна перекраситься, да? – Люде представились разные возможности: «Черные как смоль? Или тициановский цвет? И, разумеется, переменить прическу – Клео де Мерод?»

– Тебе поздно: тебя уже здесь видели такой, как ты теперь.

– Отчего же ты мне раньше не сказал!

– Ты не привыкла к гриму. Ему тоже надо учиться. Но ни тебе, ни мне особенная опасность не грозит. И мы скоро уедем: теперь сидеть в Петербурге бесцельно.

– Куда хочешь уехать? На Кавказ? – с беспокойством спросила Люда. – Но я там никого и ничего не знаю! Меня там и понимать не будут. Нет, на Кавказ я ни за что не перееду.

– Я тебе этого и не предлагаю.

– То есть как? Ты хочешь туда ехать один!

– Я хотел тебе предложить уехать пока в Финляндию. Увидишь своего Ильича. Я только что узнал его адрес. Он в Финляндии, в Куоккала, вилла «Ваза», это, оказывается, общая штаб-квартира русских революционеров. Сказал тот ваш лохматый литератор, как его? Ну, тот, что пишет гражданские рассказы...

– Это стихи бывают гражданские.

– И рассказы тоже. Он офицеров называет «бравыми сынами Марса». Как же не гражданские рассказы?

– Что ж, в Финляндию поехать можно! Ты ведь и сам хочешь поговорить с Ильичом.

– Хочу, но он, верно, еще в столбняке после своего блестящего успеха в Москве. Да я еще кое-кого здесь ожидаю из Тифлиса. Или ты нервничаешь?

– Я? Нисколько!

– Я знаю, что ты не трусиха. Опасности почти нет. Русская полиция еще глупее, чем эти московские революционеры... Если тебе нужно что-нибудь купить или заказать, сделай одолжение. В Куоккале верно шьют хуже, чем в Париже.

– Мне ничего не нужно, – ответила Люда, краснея. Вопрос о деньгах теперь опять ее смущал, как при Рейхеле. Она не вернула Аркадию Васильевичу пятисот рублей: сначала просто не подумала, потом хотела послать деньги в «Пале-Рояль» с письмом, но сказала себе, что он скорее всего отошлет их ей обратно и во всяком случае не ответит. Теперь за все платил Джамбул. При первой ее попытке «вносить свою долю в расходы» он вспыхнул и рассердился.

Деньги у него были: отец, встревоженный событиями в России, прислал ему сразу две тысячи, – был убежден, что от неприятностей с полицией всегда и везде можно откупиться.

– Не нужно так не нужно. Посидим еще здесь. Да и время интересное, соберется Государственная Дума, от которой впрочем, как говорят по-русски, что от козла молока... Ну, а пока до свиданья. Мне нужно повидать одного армянина.

– Или одну армянку, – сказала Люда якобы в шутку. Она не была особенно ревнива, но отлучки Джамбула начинали ее тревожить. Он теперь нередко уходил по вечерам, оставлял ее одну, не объяснял, куда уходит, обычно говорил, что нужно встретиться с «одним человеком».

Как-то он вернулся очень поздно. Она была в ужасе, не знала что делать. «Арестовали?.. А что, если он просто меня бросил! – вдруг пришло ей в голову. – Что тогда?.. Нет, неправда, это невозможно... Но что, если?.. Рейхель будет в восторге... Герцогиня в Москве скроет восторг... Митя скажет что-нибудь очень гуманное и корректное...» Когда Джамбул около полуночи вернулся, Люда горячо его поцеловала: «Слава Богу, я уже думала, что ты арестован!» То, что он теперь сам предложил уехать в Куоккала, ее успокоило.

Вечером, у ярко освещенного входа в Европейскую гостиницу, ее радостно остановил выходявший человек средних лет в николаевской шинели. Люда не помнила его фамилии, но встречала его у Ласточкиных. «Кажется, из цивилизованных купеческих сынков. Это о нем герцогиня шутила, что у него две мечты в жизни: попасть в Государственную Думу и дирижировать на балу у генерал-губернатора. Да, он самый, душа общества, умеет двигать ушами и говорить женским голосом».

– ...Только что выбрался из Белокаменной! Вы не можете себе и представить, что там было! Дикари с обеих сторон, но с правительственной еще вдобавок звери!.. Я на днях видел Дмитрия Анатольевича, он страшно угнетен! Еще больше, чем ваш покорный слуга. Но ничего. Государственная Дума не за горами, она покажет всем этим черносотенцам из именитого дворянства... Да, чуть не забыл: поздравляю вас с семейной радостью!

– С какой?

– Разумеется, с помолвкой Нины Анатольевны. Это блестящая партия. Увидите, Тонышев будет со временем послом.

– Да... да... Спасибо, – растерянно сказала Люда. – Да, он, наверное, будет послом.

– Наша восходящая звезда. И какой культурный и либеральный человек! Такие теперь нам особенно нужны... Ах, какие ужасные были события, мы все потрясены!.. Ну, очень рад, что вас встретил. Я в Милютины лавки, там нынче получены свежие белоны, я их предпочитаю всем другим устрицам. До свиданья, дорогая Людмила Ивановна, скоро, верно, встретимся у ваших.

«Мне совершенно все равно, – опять сказала себе Люда. – Меня не известили, что ж, это естественно... Митя, быть может, хотел, но герцогиня, верно, не позволила».

V

Уехали они в Финляндию, однако, еще не скоро.

У Люды случилось несчастье: сбежал Пусси. Это расстроило ее чуть не больше, чем провал московского восстания. Она плакала несколько дней. Джембул не удивлялся: сам страстно любил животных. Поместили объявление в газетах. Никто кошки не привел.

– Ты кого больше любила: ее или меня? – попробовал все же шутить Джембул. Люда рассердилась.

– Ее гораздо больше!

– Купи другую.

– Мне нужна не другая, а мой Пусси! Ты – бревно! Я завтра дам еще объявление. Назначу сто рублей награды.

– Конечно. Дай непременно,

– И никуда из Петербурга не уеду, пока не потеряна надежда.

– Что ж, подождем, – сказал Джембул. У него еще были в Петербурге неотложные дела. – Но я уверен, что она не сбежала. Верно, ее раздавил трамвай.

Люда опять заплакала.

– Я сама так думаю... Пусик меня не бросил бы!

– Все-таки подождем. Никакой слежки за нами нет.

Перед отъездом Люда все же выкрасила волосы. Выбрала тициановский цвет. Немного волновалась перед границей, хотя действительно трусихой никак не была. Проехали они беспрепятственно. Больше и наблюдения не могло быть никакого. Финляндские власти относились к русским революционерам снисходительно и даже благожелательно.

В Куоккала они сняли комнату у извозчика-«активиста». Люда у извозчиков никогда не жила и приятно удивилась: так все здесь было чисто и уютно. Устроившись, они вышли на улицу.

– «Что же, – дева молодая, Молви, – куда нам плыть?» – спел он, и опять у него сильнее обозначился его приятный кавказский акцент.

– Плыть на эту самую «Вазу».

– Да где же она находится, проклятая «Ваза»? Спросим у первого прохожего.

Этот первый прохожий неожиданно оказался знакомым. Джембул представил его Люде:

– Соколов, он же «Медведь», он же «Каин». Оба прозвища вполне заслужены. Знаменитый революционер, гроза царизма, – сказал он весело. Люда смотрела на улыбавшегося ей Соколова с любопытством. О нем ходили рассказы в революционных кругах, частью восторженные, частью неблагоприятные. Говорили, что он был «аграрным террористом», теперь стал «максималистом»; рассказывали об его необычайной физической силе и красоте. «В самом деле писанный красавец!» – подумала Люда. Поговорили с ним очень недолго: он торопился на вокзал.

– Вы верно приезжали к Ленину? – не подумав, спросила она.

– К Ленину? Зачем мне Ленин! Я его тут и не видел. Знаю, что он живет в этой самой «Вазе» и не выходит из осторожности, хотя тут агентов мало, – насмешливо сказал Медведь и простился, указав им, как пройти к вилле.

– Замечательный человек! Герой, – сказал Джембул. – Почтище твоего Ленина!

– Уж будто?

– Да, почтище. Он не теоретик, и слава Богу. У вас ведь чуть не все теоретики. Подумаешь, какая мудрость. Прочел человек десяток брошюр, сделал несколько выписок из Маркса, вот и вся теория. Сейчас же сам пишет глубокомысленные брошюры, если только он грамотен. О них пишут другие, такие же мудрецы, как он. Вот имя и создано, обеспечена мирная, бле-

стящая карьера, правда, часто полуголодная. Вся Россия знает: теоретик социал-демократов!.. Не говорю о каком-нибудь Плеханове. Я его терпеть не могу, он роковой человек, но он, по крайней мере, учен и талантлив...

– Мы говорили не о Плеханове, а об этом Соколове.

– Совсем другая статья. Не скажу, чтобы он не был идейным человеком. Нет, он тоже идейный. Но он верно понимает, что ему жить недолго. Он не «бережет себя для дела», как твой Ильич.

– Да что же он делает, Соколов?

– Из таких людей, как он, выходят диктаторы, по крайней мере те, которые похрабрее, у которых правило: хоть час, да мой... Что он делает? Не знаю. У его организации есть большие деньги, мне говорили, будто сто пятьдесят тысяч, и она, кажется, затевает какие-то грандиозные дела. А пока что кутят, устраивают оргии. Так можно дойти Бог знает до чего... Быть может, я все-таки пошел бы с ним, но у них кавказцев нет, и Кавказом они не интересуются. Если б у него была большая идея, то уж не было бы столь существенно, как они достают деньги.

– По-моему, это, напротив, очень существенно.

– Это «буржуазные предрассудки», над которыми ты же сама издеваешься... У него теперь новая любовница, Климова, я ее знаю. Дочь члена Государственного Совета. Совсем еще девчонка. Еще недавно была вегетарианкой и толстовкой. Странный путь – от Льва Толстого к Михаилу Соколову. Разумеется, она страстно в него влюблена. Да и мудрено было бы девчонке в него не влюбиться. Он прямо какой-то Байард или Роланд... Который из них был «неистовый»? Роланд?

– Он Роланд, а Ленин кто?

– Ленин смесь Дарвина с Пугачевым.

– А ты сам какая смесь?

– Я какая? – переспросил Джамбул. – Я смесь Шамиля с Казановой.

– Может быть, с Ванькой-Каином?

– Не смей ругаться. Это в Соколове, пожалуй, есть и Ванька-Каин. Какой я Ванька-Каин? Скорее Стива Облонский. Ах, как он описан у Толстого!

– Вот тебе на! Ни малейшего сходства.

Люда смеялась. «Он всегда весел, это дает ему большой шарм. Да, на Рейхеля не похож. И никуда он от меня не уйдет. Ни на какой Кавказ. Не отпущу! Свет жизни увидела с ним!»

– Ты ни Ванька-Каин, ни Казанова, ни Стива Облонский. Уж скорее Алкивиад! – сказала она. Это был в гимназическое время ее любимый герой. – Ты любишь иногда прикидываться дикарем, а ты образованнее меня.

– Это еще означает не так много.

– Мерси. Все же Запада тебе не хватает. Ты и в столицах живешь как в ауле. Ты нахал, но я люблю тебя.

– Тоже мерси, – сказал он и обнял ее на улице, впрочем совершенно безлюдной.

Вилла «Ваза» была большая запущенная усадьба. По-видимому, в ней жило много людей. Уже на улице слышался шум, голоса, хохот, детский плач, собачий лай. Дверь была не заперта. Они постучали, никто не ответил, – вошли. Тут Джамбул галстука и пробора не поправлял. В комнате не было не только зеркала, но не было и вообще почти ничего: лишь диван, плохо покрытый чем-то вроде грязного, порванного пледа. На полу у дивана стояла полуопорожненная бутылка молока и на газете с крошками лежал неровно отломанный кусок хлеба.

В следующей комнате несколько человек играли в карты. Один из них был Дмитрий. Он радостно с ней поздоровался, нисколько видимо не удивился приходу новых людей и пожал руку Джамбулу.

– Хотите поиграть в дурачки?

Люда с изумлением на него взглянула, чуть было не обиделась, но неожиданно для себя расхохоталась.

– Так у вас в революционном центре играют в дурачки?

– Так точно. Не всегда же решать судьбы мира. С женами и играем. Муж и жена одна сатана. Ильич тоже играет. И недурно, хотя хуже, чем Богданов и чем я... Вы хотите повидать Ильича? Его комната далеко, я, пожалуй, вас провожу? – предложил он без особой готовности. Другие игроки нетерпеливо поглядывали на вошедших. Люда попросила только указать им, как пройти. Дмитрий все же вышел в коридор.

– В те комнаты слева не заходите: там эсеры и склад их бомб. Направо детская. А к Ильичу вон туда.

Раздражение Люды против Ленина исчезло при его виде: «Господи, как изменился!» Он их встретил равнодушно-вежливо. Напротив, Крупская была ласковее обычного.

– Матушки!.. Вы теперь бритый брюнет! – сказала она Джамбулу. – И вы, товарищ Николаев, не прежней масти! Володя тоже не раз менял облик, он удивительно это делает, я сама тогда его не узнаю! Ну, рассказывайте, что в богоспасаемой Москве.

– Не очень теперь она богоспасаемая. Я впрочем из Москвы уехала давно, до восстания. Мы были в Петербурге.

– А каково настроение питерских рабочих? – спросила уже озабоченно Крупская, оглядываясь на Ленина с беспокойством.

– Очень скверное. Арест Совета рабочих депутатов произвел тяжелое впечатление и...

– Да, Троцкий оказался не на высоте. Как и можно было ожидать. Недаром Володя прозвал его Балалайкиным. Он только ораторствовал и никаких мер не принимал. Настроение было такое, что Совет мог легко арестовать Витте в Зимнем. Рабочие вышли бы на улицу как один человек!

– Вместо этого Витте арестовал Совет. А московское восстание, так плохо подготовленное, потоплено в крови. Да, руководство оказалось не на высоте, – сказал Джамбул ласково. Крупская на него посмотрела.

– Одно восстание провалилось, а другое удастся, – угрюмо заметил Ленин. – Мы кое-чему научились.

– Унывать нет ни малейших причин, – подтвердила Крупская. – Были и очень отрадные явления. Вы верно слышали, с каким подъемом прошла Таммерфорсская конференция! Был сорок один делегат. И среди них новые, интересные люди. Особенно один кавказец, Иванович, кажется, его зовут Иосиф Джугашвили? Вы, верно, его встречали на Кавказе?

– Встречал. Серый и гадкий человек, но очень хитрый и смелый, – ответил Джамбул. И Ленин, и Крупская взглянули на него вопросительно.

– У нас не было такого впечатления, – сказала Крупская. – Он оказался фанатическим сторонником Володи. Володе устроили бурную овацию.

– Все? Сорок один человек? – спросил насмешливо Джамбул. Люда поспешила вмешаться:

– Я это слышала. Теперь вы, Ильич, наш общепризнанный вождь.

– Володя и до конференции был общепризнанным вождем, – поправила Крупская. – Конечно, не говорю о меньшевиках. Хороши, кстати, гуси!

Она сообщила новые сведения о гнусностях Плеханова, о беспредельной гадости Мартова, о черносотенстве Аксельрода, – эти выраженья были из недавних писем ее мужа: она их читала, изучала и запоминала. Люда слушала не без удивленья.

– Но ведь мы с ними объединяемся! А Плеханова, я слышала, Ильич даже звал в редакцию? Я и то удивлялась, – сказала она, вопросительно глядя на Ленина. Он беззвучно засмеялся, и его, еще увеличившаяся, лысина покраснела.

– Что ж, что объединяемся? Они все-таки черносотенцы. И даже не объединяемся, а скорее спутываемся. Да Володя знает, что делает, – ответила Надежда Константиновна. – Вот что, останьтесь с нами обедать, покалякаем. Володя немного скучает после Питера и всего, что там было. Его газета стала центром всей революционной акции... Я сейчас сбегая и чего-нибудь куплю. Здесь лавки закрываются рано.

Люда отказалась: видела, что Ленин не в духе. Крупская же всегда ее раздражала.

– Мы ведь на первый раз лишь зашли на минуту. Очень устали.

– Не надо уставать, особенно молодым партийцам. Предстоят великие события. Всем надо готовиться и трудиться не покладая рук. Володя еще недавно сказал, что у нас теперь не тысяча восемьсот сорок девятый год, а тысяча восемьсот сорок седьмой. Разве вы не помните?.. А где вы остановились?

– Недалеко отсюда, у извозчика-активиста.

– Хороший народ финские активисты и к Володе отлично относятся, знают и почитают. А то вы могли бы остановиться и здесь. Дом большой. Первая комната пустая, и мы в ней всегда оставляем еду, на случай, если из Питера поздно ночью приедет какой-либо товарищ. Мы здесь временно, на биваках. Ищем пристанища. Работать Володе тут трудно: нет книг и мешают. Он задумал...

– Все равно, что я задумал, – перебил ее муж и обратился к Джамбулу: – А то остались бы? Вот вы все желали со мной поговорить.

– Я остался бы. Но, может быть, Владимир Ильич, вы хотите поиграть в дурачки? Вас там, кажется, ждут, – сказал Джамбул с особенно серьезным видом. Крупская строго на него взглянула. Его замечание показалось ей дерзким.

– Володя иногда по вечерам играет после работы, это его немного развлекает, – сказала она. Но Ленина слова Джамбула, по-видимому, не задели. Он даже усмехнулся.

– Да, я могу остаться. Мне действительно необходимо с вами поговорить. А она тем временем поболтает с Надеждой Константиновной.

– Нет, я пойду, – сказала Люда холодно. Не знала, что Джамбул будет говорить с Ильичом в первый же день, и была задета тем, что ее к разговору не привлекли. – Надо посмотреть, какое-такое Куоккала.

– Тогда через час-полтора встретимся дома.

– Да, не засиживайся.

– Addio, – сказал Ленин, рассеянно пожав Люде руку.

Крупская проводила ее до дверей.

– Он не в духе, – озабоченно сказала она вполголоса в пустой комнате.

– Джамбул?

– Нет, разумеется, Володя. Ох, боюсь, опять начнется депрессия, как тогда в Брюсселе. И вдобавок он нездоров.

– Ось, лышенько! Что такое?

– Эти неудачи его расшатали. Я всячески поддерживаю в нем бодрость. И особенно важно, чтобы люди с мест тоже говорили, что есть еще порох в пороховницах. Представьте, он мне вчера сказал, что не надеется дожить до победы нашего дела! Пожалуйста, в разговорах с ним не нойте!

– Я никогда не ною, – сердито сказала Люда. «Это я «человек с мест». И Джамбул тоже!»

– Забегайте почаще. Только не в рабочие часы Володи. Завтра днем не приходите: кажется, будет Камо. Это известный кавказский боевик. Чудак! Недавно ходил по Питеру в костюме кавказского джигита, с каким-то шаром, обернутым в бумагу! Все думали, бомба. Оказалось, арбуз! Он вез нам в подарок арбуз. Вы его знаете?

– Что-то слышала от Джамбула. Он его хвалил, но, помнится, говорил, что это совершенный дурак.

– Больно строг ваш Джембул, – сказала Крупская с неудовольствием.

У Ленина в Куоккала депрессии не было. Неудача московского восстания, правда, очень его расстроила. Ему несколько не было жаль погибших людей, он о них думал, да и то не очень, лишь тогда, когда в «Вазе» пели после ужинов «Вы жертвою пали». Пел, впрочем, с искренним воодушевлением, на него действовала музыка, хотя бы и плохая.

Его злило то, что он совершил грубую ошибку в расчете сил и что над ним теперь насмеялся Плеханов. «Это невероятный нахал точно рад, что восстание провалилось! – думал Ленин. – Да он и в самом деле рад. Его рехтхабериштво⁵¹ переходит все границы. Между тем мы все-таки на восстании кое-чему научились. Оно было только генеральной репетицией, этого наши болваны не понимают! Что ж делать, после московского провала надо идти на уступки. Будем «объединяться» и с меньшевиками. Я им скоро покажу «объединение», пошлю их к чертовой матери! Уж лучше было бы работать с максималистами. Они ничего не понимают и тоже надо мной насмеются: «начетчик», но они настоящие люди. Жаль, что Соколов все-таки тот же болван эсер. Он по натуре большевик и очень мне пригодился бы, гораздо больше, чем здешняя теплая компания. Но в голове у него старая жвачка. Разумеется, в Маркса никогда и не заглядывал!»

Для Ленина люди, не читавшие Маркса, были не совсем люди, даже Клаузевиц, у которого было, впрочем, то оправдание, что он до «Капитала» или хоть до «Коммунистического Манифеста» не дожил. «Соколов, верно, сам не понимает, чего хочет, или же хочет того, что совершенно не нужно и очень вредно. Вот так Бонапарт».

Накануне вечером он читал книгу о возвышении Наполеона. Подготовка Брюмера чрезвычайно ему нравилась, все было так умно, тонко, толково, Бонапарт всех обманывал и обманул. «А для чего? Для разных идиотских Аустерлицов, для столь же идиотской короны! И повезло ему, что были деньги. Кажется, приворовал, командуя армиями в Италии или в Египте».

Он вышел с Джембулом в садик. Навстречу им шел ребенок с мячом. Ленин ласково с ним поговорил, – любил маленьких детей. – «Тебя мама ждет». Залаяла на незнакомого человека собака. Он так же ласково ее погладил, – любил и собак. – «Свой, свой», – объяснил он ей, показывая на Джембула. Собака успокоилась. Ленин отошел в глубь сада и сел на скамейку.

– Вот, давайте здесь побалакаем, отсюда ничего не слышно... Да, вы пошутили отчасти правильно. В самом деле, хоть в картишки играй, – хмуро сказал он. – Радоваться нечему.

– Нечему, – подтвердил Джембул. – Все же хорошо хоть то, что вас короновали в Таммерфорсе. Теперь есть, с кем говорить. Слава Богу, и Балалайкин долго мешать не будет. Он, разумеется, за то, чтобы сесть на ваше место, продал бы дьяволу душу, если у него есть душа. Больше в партии никого нет, все шляпы и теоретики. Для разных объединительных и разъединительных съездов они, конечно, годятся, но ни для чего другого. Им не стоит и посылать деньги на сапоги.

– На какие еще сапоги?

– Когда турецкий султан в далекие времена выступал в поход, он посылал своим ханам по пять тысяч червонцев на сапоги. Да ханы обычно отнекивались.

– Нельзя ли без аллегорий? Какой поход вы имеете в виду? – спросил Ленин. «Ох, попросит денег», – подумал он. – И не из чего посылать: нет червонцев, наша касса сейчас пуста, все ухлопали на восстание. Купчишки перепуганы насмерть, Морозов даже со страху застрелился, не оставив нам ни гроша. Вдовушка не даст ничего, хотя пролетарского происхождения. Кто-

⁵¹ Стремление настоять на своем (*нем.* recht haben).

то говорил, будто она купила или покупает подмосковную: какие-то Горки. Отвалила бы нам что, в светлую память Саввы... А вы о чем хотели со мной разговаривать?

– Об этом самом. Не о подмосковной, а о вашей казне. Ведь без денег вы ровно ничего не сделаете. Надо создать казну не грошевую.

– Это, почтеннейший, святая истина, но какой способ вы предлагаете?

– Способ я ношу с собой в кармане.

– Да что вы все так выражаетесь? Говорите понятно. Какой способ носите в кармане?

– Револьвер системы «маузер». Видите, я говорю понятно и без аллегорий.

«Вот оно что! – подумал Ленин. Он был доволен. – Кажется, этот джигит серьезный человек. Если только не охранник».

– Экспроприации? – спросил он. – Не вы первый о них говорите.

– Кто же еще? Красин? Он умный человек.

– Разные говорят, и не у нас, – ответил Ленин уклончиво. – Вот, например, максималисты, недавно отколовшиеся от болванов-эсеров. Кстати, по Квакале, говорят, бегают Соколов, тот самый. Верно, у него с кем-либо тут свиданьице.

– Больше не бегают. Уехал. Мы его встретили у вокзала.

– Так вы его знаете? – подозрительно спросил Ленин.

– Встречал. Встречал и их собственного «теоретика», некоего Павлова. Он мне доказывал, что нужно вырезать всех капиталистов поголовно, так как они ничем не отличаются от зверей. Совершенный психопат.

– Зачем же вырезать всех поголовно?

– А их идеи о свободе! Это уж просто из Кузьмы Пруткова: «Проект о введении единомыслия в пространном нашем отечестве».

Ленин усмехнулся.

– Это еще не так глупо. Максималисты кое-что смыслят, жаль, что все-таки народники... Ну да дело не в них. Вы догадываетесь, что я обо всем таком думал и без вас.

Он встал, сделал несколько шагов по дорожке и остановился против Джамбула, засунув пальцы за жилет.

– Прежде это называлось просто грабежом, – сказал он. – Не могу в себе до конца вытравить слюнявого интеллигентика. Не лежит к этому душа. Наши дурачки-меньшевички начнут ахать: ах, убийства, ах, убивать бедных людей!

– Тут необходимы пределы: бедных людей мы экспроприировать не будем.

– Это даже само собой разумеется: если они бедные, то экспроприировать и нечего, – сказал Ленин. – Но кассиры и артельщики редко бывают миллионерами. А убивать бедных можно?

– Зачем придирается к обмолвкам? Убивать мы по возможности не будем никого.

– Именно «по возможности». Ну, ладно... Значит, вы занялись бы этим дельцем, если бы партия вам это поручила? – спросил Ленин, впившись в него глазами.

– Я никогда не предлагаю другим того, чем не согласился бы заняться сам.

– Это лучше. – «В самом деле как будто подходящий человек. Не хуже, чем Камо», – подумал Ленин. – Но, видите ли, тут заколдованный круг: для денег нужны экссы, а для экссов нужны деньжата.

– Я, кажется, у вас деньжат не просил.

– Не просили, да и неоткуда было бы их вам дать. Касса, повторяю, пуста. В этом и есть главная беда, что у нас нет выбора... А главное, ведь надо иметь уверенность, что товарищи-эксисты будут отдавать деньжата партии. Ну, не все, но большую часть, – добавил он многозначительно. «Нет, трудно иметь дело с этим субъектом!» – подумал Джамбул. Лицо у него стало багроветь. Ленин опять на него взглянул. – Конечно, они и должны оставлять себе

часть на покрытие своих расходов. «Откуда же у него денежки? Не из Охранки ли они? Непохоже».

– Мы тоже должны знать кое-что, – сказал Джамбул очень холодно. – Куда пойдут «деньжата»?

– А это уже наша печаль.

– Чья «ваша»? Центрального Комитета, что ли? Если на содержание теоретиков и на фракционные брошюры, то мне это неинтересно.

– Вот как? Именно теоретики и создают историю!

– Да, иногда создают, если они не трусы и не шляпы.

– Бывают, что не трусы и не шляпы. Без них, видите, не обходятся даже господа Соколовы-Каины.

– Соколов дело другое. «И наведу на тя убивающа мужа и секиру его». Это из Иеремии.

– И Иеремию читаете! Ни к чему, почтеннейший! Больше бы читали Маркса, это самое главное. А Соколов безумный человек.

– Возможно. Я тоже считаю бессмысленными убийства отдельных людей, какое положение они ни занимали бы.

– Это, по крайней мере, по-марксистски. Верно, хотя и допускаются исключения. Вернемся к эксам. На что же, по-вашему, должны были бы пойти деньги?

– На массовую доставку оружия, особенно на Кавказ, так как Москва провалилась. Но этим должны заниматься не теоретики. Я хотел бы над этим поработать.

– Мы полезных людей всегда привлекаем. И небольшие жалованья назначаем, когда есть деньги. Кстати, вы имеете возможность работать без жалованья? – вскользь спросил он.

– Я получаю деньги от отца, – ответил Джамбул с усмешкой. – Мой отец имеет средства. Живет в Турции. Могу дать вам его адрес. Для справок.

– Что вы, помилуйте. Да, мы вас охотно привлечем к доставке оружия. Директивы, разумеется, останутся за нами. Мы с вами установим *modus vivendi*... Кстати, надеюсь, вы не думаете, что Центральный Комитет так тут же возьмет и даст свою санкцию на эксы. Такой вопросик надо тщательно провентилировать.

– Партия все провентилирует, как вы ей прикажете провентилировать.

Ленин усмехнулся, снова сел на скамейку и, повернувшись к Джамбулу, взял его за пуговицу.

– К несчастью, это не так. Теперь не так, особенно после московского поражения... Когда вы уезжаете?

– Еще не знаю.

– Прямо в Россию?

– Нет, к нам, на Кавказ.

«Он что же, сепаратист? Или просто каша в головке? Ну, да нам не до «единой и неделимой», как проповедует иуда Струве», – подумал Ленин.

– Хорошо, что возвращаетесь. Эмиграция – последнее дело. Я буду с вами регулярно сноситься. На Кавказе есть ценнейшие работники. Только там, кажется, прочно засел в массах Боженька. Аллах. Религия одна из самых отвратительных и опасных сил в мире.

– Аллах переживет Маркса.

Ленин вытаращил глаза.

– Ну, хорошо. На Кавказе есть ценные субъекты. Кота Цинцадзе умный человек. Камо глуп, как сивый мерин, но очень храбр. И надежен, как каменная гора... Кстати, вы давеча ругали этого Ивановича-Джугашвили. Вы его хорошо знаете?

– Потому и ругал, что знаю. Я на Кавказе знаю всех. И его у нас не любят. Он, как лесовская ведьма, «имеет не совсем стройную репутацию».

– Уж не подозреваете ли вы его в провокации?

– Нет, в этом не подозреваю.

– Так в чем же дело? Быть может, вы не удовлетворены его «моральными качествами»? – Ленин засмеялся. «Если б был охранником, то, наверное, прикидывался бы твердокаменным марксистом», – подумал он. – Вот что, приходите завтра в пять часов. Один, – подчеркнул он.

VI

«Квакала», как шутливо называли Куоккалу революционеры, была очень скучным местом. Люда тотчас его возненавидела. Ленин скоро покинул виллу «Ваза» и поселился в какой-то избе.

– Там Володя совершенно не мог работать, мешал шум, – объясняла Крупская. – Правда, теперь мы платим дороже, а денег у нас как кот наплакал. Что ж делать, если не хватит пороха, вернемся в «Вазу». Ведь, может, здесь придется засидеться.

Джамбул и в Куоккале не скучал, как не скучал почти нигде, «только на съездах». Говорил, что было бы и совсем хорошо, если б в этой глуши можно было достать сносную верховую лошадь. «То есть я и лошадь. Или лошадь и я», – думала Люда. Он много гулял. Радовался жаркой весне. Опять отпускал себе бороду; его щетина не нравилась Люде. «Слишком скучно бриться, всегда терпеть не мог. Перед отъездом в Петербург сбрую и снова превращусь в Алкивиада», – объяснял он.

У Ленина он бывал часто и разговаривал с ним наедине. Раздражение у Люды все росло: Ильич почти не обращал на нее внимания. Крупская ей очень надоела.

– Ты знаешь, как я почитаю Ильича, но у нее его культ доходит просто до смешного! – говорила она Джамбулу. – Опять звала обедать, она очень гостеприимна, отдаю ей справедливость. Но я отказалась, не хочу их объедать, да и обеды уж очень плохие. Мне все равно, что есть, но ты таких обедов не любишь.

Они вдвоем ходили в местный ресторан, где впрочем кухня тоже была скверная. За обедом разговор обычно не очень клеился. «Англичане говорят: «два человека составляют компанию, а три нет». По-моему, чаще бывает обратное. Когда только два, то каждый немного напрягается, чтобы не наступало молчание» – думала Люда. Случалось, себя спрашивала, *кто* был бы в разговоре подходящим третьим. – Вот Митя подходил бы, он человек широких взглядов». Но тотчас вспомнила о недавнем времени, когда у нее «двое составляли компанию». «Неужто проходит любовь? В самом деле он прежде был интереснее... Нет, это не разочарование, скорее просто скука».

Иногда она говорила Джамбулу и колкости, как прежде Рейхелю.

– Я, конечно, не спрашиваю тебя, о чем ты изволишь беседовать с Ильичом, но...

– Это, к сожалению, его секрет, а не мой. Он меня связал честным словом. Да и ничего интересного.

– Разумеется, разумеется! Но мне здесь в Квакале сидеть надоело. В общем, мы напрасно сюда приехали. В Петербурге была жизнь. Так я в этом году и не видела наших фиалок... Долго ли ты еще хочешь здесь оставаться?

– Скоро уедем. Надо ведь и отдохнуть, набраться сил для работы.

– Не знаю только, для какой. И я очень давно отдыхаю. Ты, кстати, тоже.

Он кое-как отшучивался, но с необычным для него напряжением. «Что-то скрывает! Этого еще не хватало!» – подумала Люда.

От скуки она попросила у Крупской книг. Та дала несколько брошюр и протоколы Второго съезда: «Володя находит, что все мы должны их читать и читать», – объяснила она. Люда дома заглянула в протоколы с любопытством: «Сама все слышала, а теперь напечатано и перешло в историю!» Однако скоро потеряла интерес: «То, да не то! Совсем не так это было слушать». Из брошюр наиболее понятной была чья-то работа о кооперации. «Да, это надо знать, необходимо вообще пополнить экономическое образование». Прочла всю брошюру и даже сделала выписки в тетрадку.

Работы по хозяйству у нее было немного. Чтобы поддержать русское имя в чистеньком домике извозчика, Люда с утра отдавала полчаса уборке комнаты. Джембул на это время уходил на вокзал за газетами, затем читал их, как говорил, «на лоне природы».

Приведя комнату в порядок, Люда собралась выйти на прогулку, когда в дверь постучали. Вошли двое мужчин и одна дама, – по виду кавказцы. Они очень вежливо спросили по-русски о Джембуле.

– Его нет дома, – сухо ответила Люда. – Пошел читать газеты.

– Не знаете ли вы, где мы могли бы его найти? – спросила дама с сильным грузинским акцентом. Люда на нее посмотрела. Дама была молода и хороша собой. «Выскочила первая! Могли бы спросить мужчины», – подумала Люда недоброжелательно. «На лоне природы, – хотела было ответить она, – но это недостаточный адрес».

– Не знаю. Он обычно возвращается часов в одиннадцать. Я должна уйти, но, если хотите, вы можете подождать его здесь.

Посетители обменялись вполголоса несколькими словами, сказали, что вернутся, и, учтиво поклонившись, вышли. Люда написала Джембулу записку: «К тебе зашли два компатриота и одна красивая компатриотка. Зайдут опять в одиннадцать. Если вернешься раньше, подожди почтенную компанию. Чтобы вам не мешать, я вернусь только к часу. Буду, высунув язык, бегать по лесу. Пожалуйста, не зови их завтракать в наш ресторан, пусть жрут на вокзале», – написала она и вдруг, почти с ужасом, почувствовала, что больше не ревнует Джембула ни к «красивой компатриотке» и ни к кому другому. «Но ведь тогда и любовь кончена! Нет, вздор... Незачем его злить». Она старательно зачеркнула слово «жрут». Хотела было написать «лопают», – это шутивее, – и написала просто «завтракают». – «Не переписать ли? Нет, лень. Замарано хорошо, да он и не станет всматриваться. Его мои эмоции уже мало интересуют, да собственно и прежде не интересовали. Он «Алкивиад», но отчасти и бревно. Алкивиад пополам с бревном...»

В лесу ее раздражение почти прошло. Было только скучно гулять одной, – «что ж делать, мне чуть не всегда скучно. И решительно ничего у него, разумеется, с этой кавказкой нет... Но все-таки нужно этому положить конец! – думала она, точно ей было жаль расставаться с раздражением. – Я должна узнать, в чем у них дело, что он замышляет. Казалось бы, уж мне-то надо бы знать! Если он и не врет, будто с него взял обет молчания Ленин (не назвала его мысленно «Ильичом»), то об этих князьях я имею право узнать во всяком случае!»

Вернулась она ровно в час. Джембул был один.

– Были твои гости? Видел их?

– Видел.

– Не смею спрашивать, кто и что. – Люда помолчала, глядя на него вопросительно. – Они, верно, пошли к Ленину?

– Нет, они ничего общего с Лениным не имеют. Они пошли на вокзал. Сейчас уезжают.

– Счастливого пути. Пойдем завтракать. Я голодна как зверь.

Несмотря на принятое в лесу решение, Люда до жаркого не спрашивала его о посетителях. Надеялась, что он скажет первый. Джембул не сказал. Говорили о газетных новостях, о Государственной Думе.

– Когда же мы уезжаем в Петербург? – наконец, не вытерпев, спросила она.

– Когда хочешь, мне и самому здесь уже очень надоело, – сказал он. – Хоть завтра. Ведь ты отдохнула как следует?

Люда не ответила на этот вопрос, показавшийся ей лицемерным.

– Ловлю тебя на слове. Завтра же и уедем!

– И отлично, – сказал Джембул, точно не замечая раздражения Люды. – Жаль только, что приедем в самое жаркое время. В Петербурге страшная жара.

– Ничего, я люблю Петербург и летом.

– А что, если б мы уехали, например, в Кисловодск?

– Какой вздор ты говоришь! Что мы, буржуи, что ли? Не хочу разъезжать по курортам!

– Деньги есть, я ведь опять получил от отца. Очень зовет старик навестить его.

Она тотчас насторожилась. И, как всегда, упоминание о деньгах ее кольнуло.

– Твой отец, насколько мне известно, живет не в Кисловодске, а в Турции?

– Я к нему в Турцию и съездил бы.

Люда помолчала. «Так и есть, надоела...»

– Кисловодск, Турция, так... Но когда же мы будем заниматься делом?

– То есть революцией?.. Людочка, можно поговорить с тобой по душам?

– Не можно, а необходимо, давно пора, – ответила она, насторожившись еще больше от «Людочки». Он редко так называл ее. – Что ты хочешь сказать?

– Зачем тебе заниматься революцией? Ты сама видишь, она становится все более кровавой и, что еще хуже, все более грязной. Государственная Дума, это ерунда. Террор с обеих сторон будет расти с каждым днем. То, что было до сих пор, это цветочки, а ягодки еще впереди, как говорите вы, русские.

– В сотый раз прошу тебя, не говори «вы, русские»! Ты тоже русский.

– А я в сотый раз тебе отвечаю, что я русский только по культуре, да и то не совсем. Я стою за независимость Кавказа. Но мы сейчас говорим не об этом. По-моему, тебе лучше отойти от революции.

– То есть как «отойти»?

– Так, просто отойти. Это не женское дело вообще и не *твое* дело в частности. Если ты теперь же не отойдешь, это неминуемо кончится для тебя каторгой! Разве ты способна жить на каторжных работах?

– Почему каторжные работы? Зачем каторжные работы?

– Я именно и говорю: зачем каторжные работы? Это ужас, грязь, медленная смерть, беспросветная тоска и скука. А ты создана для радостной, счастливой жизни. Ты вот фиалки любишь. Ты по природе барыня. Видишь, и Ленин не очень тебя вводит в свои дела.

Она вспыхнула.

– Не вводит, и не надо! Свет на нем не клином сошелся. Но от тебя я ждала другого. Что ж, и ты тоже отойдешь?

– Нет, я отойти не могу, а тебя я в кавказские дела вводить не хочу и не имею морального права. Зачем тебе жертвовать собой ради чужого дела? И вообще зачем тебе заниматься такой работой? Вот ты меня спрашивала, откуда деньги у этого Соколова. Я сегодня случайно узнал от моих гостей подробности. Они его терпеть не могут, но, конечно, говорят правду. У него деньги от экспроприации в Московском обществе взаимного кредита. Читала в газетах? Это его дело.

– Он ограбил банк!

– Можно называть и так, – сказал Джамбул, морщась. – Да, он ограбил банк. Не он один, конечно, их было несколько. Технически это было исполнено с необыкновенным совершенством. Этот человек – воплощение хладнокровия и бесстрашия. При дележе ему досталось сто пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги они обзавелись автомобилями, рысаками, вели развеселую жизнь.

– Очень тебе благодарна, что ты меня познакомил с таким господином! Я подала ему руку!

– Руку можно подавать кому угодно. – Он поморщился еще сильнее и невесело засмеялся. – Вот же мне ты «подаешь руку», а у меня тоже бывали в жизни страшные дела.

– Но не грабежи!

– Добрая половина революционной работы это грязь. Спроси у любого искреннего революционера. Спроси хоть у твоего Ильича. Впрочем, он правды не скажет. Все дело в *цели*. В целях Ленина я очень сомневаюсь, а в своих несколько, ни минуты. Россия не Кавказ, она не порабощена иностранным завоевателем... Так поедим в Кисловодск? Я тебя научил бы ездить верхом. Вместе ездили бы в «Храм воздуха», а?

– Нет, спасибо, я не поеду... Значит, ты вернешься?

– Разумеется, – ответил он. Не любил лгать, но лгать *женщинам* для него было довольно привычным делом. – Разумеется, вернусь в Кисловодск.

– Если ты хочешь вернуться, то можешь вернуться в Петербург. Но я вообще тебя не держу. В мыслях не имею!

– Ну вот, зачем такие слова?.. Ты будешь пить кофе? Нет? Знаешь что? Сегодня в «Вазе» генеральная оргия «дурачков» – даже во всех смыслах – и, верно, при благосклонном участии Ленина. Там с ним и простимся... А потом другую оргию устроим дома, – опять уже весело добавил он и не в первый раз подумал, что темперамент у нее довольно холодный. «И глаза никогда не блестят, хотя очень красивые».

– Незачем посылать перед оргиями повестку, – ответила Люда. «Поговорим как следует в Питере. Мы просто здесь одичали», – подумала она.

В «Вазу» они отправились только вечером. Знали, что днем Ленин работает. «Может быть, даже работают и некоторые другие, хотя это мало вероятно», – говорил Джамбул. Еще издали они услышали очень громкое, нестройное пенье.

– Что такое? Перепились за дурачками?

– Ты отлично знаешь, что Ильич не пьет, не то что ты. Много, если выпьет бокал пива.

– Ну, так другие... Ох, как фальшиво поют! – сказал Джамбул.

– Ильич очень музыкален. Я слышала, как он поет «Нас венчали не в церкви». Не Шаляпин, но могу тебя уверить, очень недурно!

Сбоку отворилось окно, высунул голову испуганный старик-финн, прислушался и пробормотал что-то, по-видимому, не очень лестное для русских. Люда и Джамбул ускорили шаги. «Ваза» была ярко освещена. Люди в саду стояли лицом к растворенному окну и восторженно пели. В окне Ленин размахивал сложенной в трубочку брошюрой. Кто-то аккомпанировал на гитаре.

– Да он не только Шаляпин, он еще и Никиш! – сказал Джамбул. – Что это они орут? «Укажи мне такую обитель»?

– Да, разумеется! – взволнованно сказала Люда. – Ох, не люблю, скверные стишки.

– Это стихи великого поэта, невежда!

– А все-таки скверные. Давай послушаем отсюда, чтобы не мешать божественному хору.

Он остановился. Люда остановилась неохотно. Ей хотелось самой пить и петь. Ленин высоко взмахнул брошюрой, прокричал: «Так, братцы, валяйте!» и опять запел. Хор подхватил:

...Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи,
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой ночуя в степи...

– Знаешь что, пойдём стонать под овином домой, – сказал Джамбул.

– Ни за что! – ответила Люда. – Ни за какие коврижки!

– Я тебе коврижек и не предлагаю. Но гадко слушать. Зачем люди поют, если не умеют?

VII

В поезде после границы был небольшой спор – где остановиться в Петербурге. Джамбул предлагал «Европейскую». Когда у него были деньги (а они бывали у него почти всегда), он ни о какой экономии не заботился. Хорошие гостиницы и рестораны, еще больше дорогие костюмы, галстуки, тонкое белье улучшали его настроение, и без того обычно очень хорошее.

– Нет, не хочу. У меня ведь нет богатого отца, – сухо отвечала Люда. – Ох, не похож ты на русского революционера.

– Я и не *русский* революционер, – сказал он. Теперь это подчеркивал все чаще.

– Знаю, слышала. Остановимся в какой-нибудь недорогой гостинице.

– Пожалуйста. Хоть в ночлежке, – согласился он. В последнее время во всем ей уступал. – Я могу жить и как кинто.

– Зачем как кинто?

Прежде Люда часто его себе представляла в наряде *джигита*, при украшенной золотом и серебром *гурде*, в *бешимете* и в *чувяках*; вспоминала такие слова, известные ей по романам. Иногда ему это говорила. «Да это для меня самый естественный костюм. Такой носили все мои предки», – отвечал он.

Они выбрали гостиницу, среднюю между «Европейской» и ночлежкой. Там оказался знакомый: начинающий журналист Альфред Исаевич Певзнер, благодушный, веселый человек. Он в том же коридоре снимал крошечную комнату. Всего с полгода тому назад приехал из провинции в Петербург, но уже имел связи, знал все, что делается и в «сферах», и в левых кругах, и в правых кругах. Печатал репортерские заметки в либеральных газетах, – революционные недолюбливал. Пока зарабатывал мало, но как раз только что получил в большой газете должность репортера. Подписывался буквой П. и придумывал себе псевдоним.

– Как вы думаете, «Дон Педро» это хорошая подпись? – спросил он Джамбула, который, как и Люда, охотно с ним болтал.

– Превосходная! – ответил Джамбул. – Однако, по-моему, «Дон Педро ди Кастильо Эстрамадура» было бы еще лучше.

Певзнер благодушно махнул рукой.

– Хотите с Людмилой Ивановной побывать в Государственной Думе? Я всех там знаю и на сегодня легко получу для вас билеты. Теперь наплыв уже меньше, *чем* был в первые дни.

– Говорят даже, что это богоспасаемое учреждение скоро прихлопнут, – сказал Джамбул.

– Типун вам на язык! На днях кто-то из кадетов назвал самую эту мысль кощунственной.

– Отчего же не повидать такую святыню? Ведите нас туда.

Заседание оказалось скучноватое. Знаменитые кадеты не выступали. Ругали правительство серые крестьяне, трудовики. В ложе министров был только министр внутренних дел Столыпин, о котором уже много говорили в России. Но он тоже не выступал и скоро уехал. Люда, опять оживившаяся в Петербурге, была довольна, что попала в Думу: еще никогда ни в каком парламенте не была. Певзнер показал ей Столыпина.

– Восходящая звезда на бюрократическом горизонте! Оратор, что и говорить, прекрасный. По слухам, скоро будет главой правительства.

– В самом деле осанистый, импозантный человек. И сюртук ему к лицу, это бывает редко, – сказала Люда. – Жаль, что зубр.

– Он только полузубр.

– Ох, и скука в этой «Думе народного гнева», – зевая, сказал Джамбул.

– Муромцев сидит на председательском кресле, как Людовик Четырнадцатый на троне. Нет, Государственную Думу не разгонишь. Слухи об этом, вы правы, идут. Я могу вам даже

сообщить, как революционеры решили на это ответить. Они чудовищным по силе снарядом взорвут Петергофский дворец, – шепотом сказал Певзнер.

Люда признала, что в Финляндии «износилась», и заказала себе два платья, – одно из них вечернее, хотя никаких «вечеров» не было и не предвиделось. К обеду надела дневное, недорогое, но, она знала, очень удачное. Вопросительно взглянула на Джамбула. Он даже не сразу заметил, что это новое платье. «Прежде тотчас замечал! – отметила Люда. – И хуже всего то, что мне все равно, нравится ли оно ему или нет. Да, идет дело к концу, и мне тоже все равно. Или почти все равно».

Дня через два Джамбул вернулся в гостиницу взволнованный и сердитый. Люда таким его не видела.

– Что случилось?

– Случилось то, что мне сегодня передали совершенно невероятную историю! О Ленине! Помнишь, ты мне рассказывала, что ты у твоих Ласточкиных – или как их там? – встречала двух молодых революционеров со странными фамилиями: Андриканис и Таратута?

– Не *встречала*, а один раз встретила. Так что же?

– Представь себе, говорят, что Ленин их женит на двух сестрах Шмидт. Это племянницы Саввы Морозова, богатые купчихи.

– То есть как Ленин «женит»? Зачем?

– Эти господа обещали ему, что если женятся, то отдадут приданое партии!

– Не может быть!

– Мне сообщили из достоверного источника. Я тоже не хотел и не хочу верить. Ленин на многое способен, но все-таки не на такую гнусность. И *таких* революционеров, которые женились бы на приданом, без любви, по-моему никогда не было. Ведь это граничит уже с сутенерством.

Люда смотрела на него смущенно, точно она отвечала за Ленина и за обоих женихов.

– Все-таки не надо преувеличивать, – нерешительно сказала она. – При чем тут сутенерство? Некоторые революционеры теперь занимаются экспроприациями, как Медведь. Это еще гораздо хуже.

– Это в сто раз лучше! – ответил с бешенством Джамбул. – Неужели ты этого не понимаешь? Тогда мы с тобой разные люди!

– Мы действительно разные люди. Я в этом ни минуты не сомневалась, – сказала Люда. Ей, однако, понравилось его негодование. «Все-таки в нем есть рыцарский элемент. Верно и Алкивиад тоже негодовал бы», – подумала она. – Но скорее всего это просто гадкая клевета меньшевиков.

Джамбул стал все чаще поговаривать о своем отъезде, – говорил по-разному: то на Кавказ, то в Турцию. Люда старалась изображать равнодушие. Затем он назначил срок более точно: «в начале августа». Был с ней очень мил и нежен, всячески старался ее развлекать. Случалось, она плакала. «Да ведь это обычное дело: сошлись, пожили, разошлись! Собственно и не разошлись, а он меня бросает. Что же мне делать? Нет, я не поеду на Кавказ заниматься какими-то темными делами. Да он меня и не зовет... Зачем ехать, если он меня не любит? И если я сама больше его не люблю? К тому же он немного позднее бросил бы меня и на Кавказе. Не буду за него цепляться... Он никак не подлец, напротив, он, при своей бесчувственности, *charmeur*. Но, может быть, тот красавец-грабитель Соколов еще больший *charmeur*?»

Государственную Думу в июле разогнали. Узнав об этом, Люда побежала на Невский, чтобы принять участие в постройке баррикад. Улицы были в точно таком состоянии как накануне. Главой правительства стал Столыпин. Он обещал, что будет созвана Вторая Дума.

– Собственно, Думу народного гнева даже не «разогнали», а просто распустили, – говорил Джамбул. – Помнишь, я тебе в Лондоне читал поэму о Деларю. Все они и оказались Деларю.

– Возмутительно! Просто возмутительно! Хороши кадеты!

– Позволь, почему же только кадеты? Не слышно что-то и о подвигах твоих большевиков. Да впрочем, что же они могут сделать, когда у них в кармане два целковых? Напишут гневную брошюру и издадут ее, с уплатой типографии в рассрочку.

Она не знала, что ответить. Пришла весть о Выборгском воззвании. За ним тоже ничего не последовало. В городе по-прежнему все было совершенно спокойно. Баррикад не было, но увеселительные места были полны.

– Когда же, Альфред Исаевич, вы чудовищным по силе снарядом взорвете Петергофский дворец? – спросил Джамбул Певзнера, встретившись с ним в коридоре гостиницы.

– Не понимаю, над чем тут шутить! Случилось большое несчастье, а вы шутите! – сказал сердито Певзнер и подумал, что этот человек довольно бестактен. Джамбул смутился, что с ним бывало очень редко.

– Вы совершенно правы, Альфред Исаевич. Пожалуйста, извините меня, – сказал он и протянул Певзнеру руку.

Перед отъездом он попробовал настаивать, чтобы Люда взяла у него половину его денег. Она вспыхнула и наотрез отказалась. Понимала, что их связь кончена. «Перевернулась страница, что ж делать? Страниц будет верно немало, и от каждой останется воспоминание и рубец на сердце». Все же ей было бы легче, если б ушла она, а не он.

– Никаких денег я у тебя не брала никогда, – сказала она и подумала, что это не совсем точно: за все платил он. – А теперь уж наверное не возьму.

– Но почему же, Людочка?

– Потому! – отрезала она. Ей было досадно еще и то, что он предложил именно половину – как Рейхель. С тем тоже было связано воспоминание, хотя без рубца.

Джамбул купил ей кошечку. Выбрал наиболее походившую на Пусси. Но и это вышло не очень хорошо. Люда очень благодарила, ласкала котенка, поила его молоком, а про себя подумала: «Это значит, вместо Пусси и вместо него самого. Чтобы не было так тоскливо спать одной...»

Вечером 10 августа, накануне его отъезда, они поехали в *тот самый* ресторан, взяли *тот самый* кабинет, пили *то самое* шампанское. Люда надела новое вечернее платье. На этот раз он заметил и очень хвалил, преувеличенно хвалил. Обед сошел неудачно. Говорили о неинтересных предметах, разговор часто прерывался. «Что же теперь делать? Вернуться в наш номер? Настроение будет как в приемной у хирурга», – подумал Джамбул и предложил провести вечер в «Олимпии».

– Там в саду хоть можно подышать свежим воздухом.

– Отчего же нет? Поедем, – сказала Люда.

Хотя я и славянка,
И даже варшавянка, —

пела в переполненном летнем театре хорошенькая полька. Джамбул поглядывал на нее с интересом. Люда смотрела на него с грустной насмешкой. «Гляди, гляди, мне все равно». Изредка они обменивались впечатлениями. В антракте вышли в сад, там гуляли, почти не разговаривая. Когда вернулись в партер, он подтолкнул ее под локоть и показал глазами на ложу. В ней сидели молодая, очень красивая барышня и трое мужчин. Люда изумилась: в сидевшем рядом с барышней элегантно человеке она узнала Соколова.

– Медведь!

Джамбул бросил на нее сердитый взгляд и оглянулся на соседей. Но на эстраде как раз заиграла музыка. Французский гастролер запел «La Tonkinoise»:

Pour que je finis-se
Mon ser-vi-ce
A Ton-kin je suis – allé⁵².

Люда смотрела на ложу. «Так это его новая любовница? Да, хороша собой, хотя не красавица. Но как же они решаются показываться на людях, если в самом деле затевают революционные дела? Едва ли затевают... А за ними какие-то печальные юноши».

– У него лицо гипнотизера, – вполголоса сказала она Джамбулу. Он впрочем не расслышал. Наслаждался парижской песенкой:

Je l'appelle ma pe-tite Chi-noise
Ma Ton-ki-ki, ma Ton-ki-ki, ma Tonkinoise...⁵³

– Не возобновить ли с ним знакомство? – спросила Люда нерешительно, когда певец кончил и раздались рукоплесканья. Сама понимала, что это невозможно; да ей и не очень хотелось. Грабители были ей противны.

– Ни в каком случае, – ответил резко Джамбул, – и, пожалуйста, не смотри в их сторону.

Люда не провожала его на вокзал: решила проститься с ним дома, просто по-товарищески. Он был этим и обижен и доволен. Но она не удержалась и заплакала.

– ...Береги свою буйную головушку, Джамбул, – говорила Люда сквозь слезы.

– Я скоро вернусь.

– Не лги хоть на прощанье... Прощай, мой милый... Мой дорогой...

Когда он вышел, она смотрела ему вслед в окно. Затем долго, плача, целовала котенка. Приняла на ночь двойную порцию снотворного.

⁵² «Тонкинку»: Чтобы закончить дела, я приехал в Тонкин (франц.).

⁵³ Я называю ее своей маленькой китайчочкой, мою тон-ки-ки, тон-ки-ки, мою тонкиночку... (франц.).

VIII

На следующее утро, проснувшись с тяжелой головой, она принялась за поиски работы. Вырезала из газеты несколько объявлений. Собственно, она ничего делать не умела. В свое время советовалась с Рейхелем: каким бы делом заняться? Он неизменно с мрачной шутливостью советовал ей поступить на сцену: «Будешь сначала играть энженю, а потом комических старух».

Из объявлений ничего не вышло. Ее спрашивали, знает ли она счетоводство, умеет ли писать на машинке, где служила. Она отвечала, что счетоводства не знает, на машинке не пишет, не служила нигде, но владеет хорошо французским языком, сносно немецким и желала бы иметь квалифицированную работу. В первых двух местах сказали, что такой работы ей предложить не могут; в третьем посматривавший на нее господин, после сходного ответа, добавил, что будет иметь ее в виду, и записал адрес. «Да, конечно, без протекции ничего получить нельзя», – подумала она обескураженно.

Протекцию в деловом мире ей мог бы оказать только Ласточкин. Но для этого надо было жить в Москве. Ей переезжать не хотелось. У нее не раз шел с Дмитрием Анатольевичем и с его женой древний спор петербуржцев и москвичей. Ласточкины считали Москву первым городом мира: «Она лучше даже, чем Париж!» Люда то же самое думала о Петербурге. Рейхель участия в споре не принимал: в душе считал лучшим городом Берлин, где все было так чисто, удобно и дешево. «Что же делать, надо переехать: только Митя может найти для меня службу. Если, конечно, герцогиня ему позволит...» Люда отлично знала, что, как бы ни сердилась на нее Татьяна Михайловна, она такое «разрешение» даст без всякого колебания. «Но как же я Митю повидаю? Может, и он знает меня не хочет?»

Вернулась она домой только в три часа дня. Накормила кошку, та была явно обижена опозданием. «Как в свое время бедный Пусси», – подумала, вздохнув, Люда. Больше она, из-за усталости и дурного настроения, не выходила. Вечером заказала чай в номер. Читала сначала книгу о кооперативном движении, затем роман Жип. Рано легла с кошкой спать. Принять опять снотворное не решилась: «Еще войдет в привычку!»

Утром горничная, как всегда, принесла ей кофе и газету. Люде не хотелось ни есть, ни вставать. Лежать в постели с кошкой было приятно. «Остались два объявления. Надо в понедельник утром пойти, хоть для очистки совести. Если ничего не выйдет и там, то незачем откладывать, уеду в Москву». Еще подумала о Джамбуле: где теперь находится его поезд: скоро ли он приедет в Тифлис и действительно ли едет именно туда? «Кто его там встретит? Женщины? Какую работу он начнет? Верно, в вагоне еще до первой станции забыл о моем существовании? И я хороша! В плохом, очень плохом состоянии нервы».

Она надела халат, дала молока кошке, налила себе кофе. Развернула газету – и ахнула. Весь верх страницы занимали огромные, необычные для русской печати набранные разными шрифтами заголовки в ширину всех столбцов, в несколько этажей: «Страшный взрыв на Аптекарском острове. Покушение на П. А. Столыпина. Премьер невредим. Тяжело ранена его дочь. Множество убитых и раненых».

«Один из самых кровавых террористических актов в русской истории, – быстро читала Люда с все росшим волнением, – залил кровью вчера днем нашу столицу».

В начале четвертого часа пополудни к даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, где временно летом проживает новый председатель совета министров П. А. Столыпин, подъехали в ландо три человека. Из них двое были одеты в форму ротмистров отдельного корпуса жандармов. Третий был в штатском платье. Все трое имели в руках большие портфели. Выйдя из ландо, они быстро вошли в переднюю.

В швейцарской находились агент охранной агентуры Петр Казанцев и состоявший при главе правительства генерал Замятин. Вошедшие люди сразу показались подозрительными зоркому глазу опытного специалиста Казанцева. Причины этого были следующие:

Все трое были смертельно бледны. Лица у них были искажены, глаза горели лихорадочным блеском.

Каски у обоих ротмистров были старого образца. Между тем недели за две до того головной убор жандармских офицеров был изменен.

Они держали в руках большие объемистые портфели, что не допускается при представлении высоким должностным особам.

Чуя недоброе, Казанцев поспешно направился к вошедшим. И вдруг он с ужасом заметил, что у одного из них накладная борода!

– Ваше превосходительство!.. Неладное! – отчаянным голосом закричал Казанцев тоже что-то заподозрившему генералу Замятину. Оба бросились на вошедших.

И в ту же секунду все три злоумышленника подняли вверх свои портфели и с силой бросили их на пол с зловещим хриплым криком: «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!»

Раздался оглушительный взрыв, за ним продолжительный грохот рушащихся стен, звон разбитых вдребезги окон.

Когда дым немного рассеялся, представилась страшная, невиданная, неопишная картина:

От дачи осталось очень немного. Отовсюду слышались душераздирающие крики и стоны умирающих людей.

Всего, как оказалось, убито тридцать три человека, ранено двадцать два.

Разумеется, разорваны в клочья люди, бывшие в передней, в том числе все три злоумышленника. Оправдалось: «Поднявший меч от меча погибнет».

Председатель совета министров чудом остался жив и невредим. Уцелела и его супруга, находившаяся в своих частных покоях.

Но другие! Члены семьи главы правительства! Просители, ожидавшие в приемной! Должностные лица! Слуги!

В первом этаже исторической дачи на Аптекарском острове находятся или, вернее, находились две приемные комнаты, зал заседаний и кабинет П. А. Столыпина, а также гостиная и столовая. Частные покои расположены во втором этаже. Председатель совета министров сидел в момент взрыва за письменным столом в своем кабинете. Именно эта комната одна чудом уцелела. Только бронзовая чернильница была подброшена в воздух и пролетела над головой П. А. Столыпина, заливая его чернилами.

Сила взрыва была такова, что в фабрике, находящейся по другую сторону Невки, не осталось ни единого целого стекла. Очень пострадала улица перед дачей. Фаэтон, в котором приехали злоумышленники, оказался почти разрушенным.

По роковой воле судьбы, на балконе над подъездом в момент взрыва находились четырнадцатилетняя дочь главы правительства Наталья Петровна и его двухлетний сын, называемый в семье Адей. Их как былинку выбросило на мостовую, прямо под ноги взбесившихся лошадей. Несчастная Н. П. Столыпина искалечена... Примчавшиеся на место преступления врачи и санитары перевезли ее в карете «Скорой помощи» в ближайшую лечебницу доктора Калмейера и признали ее состояние очень тяжелым. Есть, к счастью, надежда на спасение ее жизни, но, по-видимому, ей предстоит ампутация обеих ног, что подтвердил приехавший из больницы лейб-хирург Павлов. Ее двухлетний брат, перевезенный вместе с нею в ту же лечебницу, находится в менее тяжелом состоянии.

Супруга председателя совета министров сейчас находится в той же лечебнице, а глава правительства с не пострадавшими членами своей семьи отправился на катере в свою зимнюю резиденцию на Фонтанке.

Передают ужасные подробности. Один из просителей, бывших в приемной, принес с собой своего маленького ребенка, вероятно для того, чтобы разжалобить министра-президента. Оба, отец и сын, разорваны в клочья. Другой проситель, встретив в приемной знакомого, заговорил с ним. Взрыв оставил его невредимым, но у разговаривавшего с ним за минуту до того человека снесло голову как топором.

Глава правительства сохранил полное самообладание, которому отдают должное и его политические противники. К его охране приняты экстренные меры».

Дальше следовало перечисление убитых и раненых, а также приехавших на место преступления должностных лиц. Подпись была: П. Этот репортаж был Тулоном молодого Певзнера. Его статья была в газетных кругах признана самой лучшей. Альфред Исаевич писал с вполне искренним волнением: он был действительно потрясен и возмущен делом. Разгонял строчки на этот раз не умышленно, а по профессиональной привычке.

За его первой статьей была вторая, написанная другим репортером, с подзаголовком: «Первые результаты дознания»:

«Дознание, которое велось с заслуживающей быть отмеченной быстротой и эффективностью, пока установило следующие факты:

Ландо, привезшее убийц, было нанято у извозпромышленника Александрова в Максимилиановском переулке в доме номер 12. Кучер, крестьянин Станислав Беднарский, показаний дать не мог: он еще жив, но тяжело ранен, хотя в момент покушения, естественно, оставался в ландо на улице.

Извозпромышленник Александров показал, что ландо у него нанял известный ему в лицо и по имени Цветков, дворник дома номер 49 по Морской улице. С ним приходила женщина, ему, Александрову, по имени неизвестная, но в лицо также знакомая. Она называла себя горничной квартиры номер 4 в вышеуказанном доме.

Дворник, крестьянин Илья Цветков, не имеющий, как легко было установлено, никакого отношения к страшному делу, показал:

Квартира номер 4 в доме номер 49 принадлежит некоей Иоганне Гарфельд и сдавалась ею с обстановкой по газетным публикациям. Всего лишь несколько дней тому назад, а именно 8 августа, эта квартира была Иоганной Гарфельд сдана лицам, назвавшим себя спасским мещанином Даниилом Морозовым и женой последнего Еленой Морозовой. С ними поселился также коломенский мещанин Петр Миронов и горничная, рязанская крестьянка Анна Монакина. Все это были люди очень молодые. «Барыне» Морозовой на вид можно было дать лет 19 или 20. Она была хороша собой. «Hübsch und elegant» («красива и элегантна»), – сказала нам кухарка квартиры, лучше говорящая по-немецки, чем по-русски. – «Так что, сказать, красotka, – говорит дворник». Паспорта у них были в порядке и своевременно прописаны. Означенный Даниил Морозов уплатил ему, Илье Цветкову, для передачи «Гарфельдихе» месячную плату в 250 рублей.

Разумеется, следственные власти в сопровождении больших сил полиции тотчас нагрянули в квартиру номер 4. Но там оказалась только вышеупомянутая ничего не подозревавшая и сразу насмерть перепугавшаяся кухарка Эмилия Лаврецкая, служившая прежде у Гарфельд и по ее рекомендации нанятая Морозовыми вечером 9 августа. Очевидно, она тоже не имеет ни малейшего отношения к кровавому преступлению. «Барыни» же и «горничной» и след пропал.

Не может быть сомнения в том, что фамилии Морозовых, Миронова, Монакиной ложные, а паспорта либо фальшивые, либо у кого-либо похищенные, что в настоящее время и выясняется дознанием. Остается только удивляться тому, что лица, снявшие столь дорогую

квартиру на Морской, могли пользоваться «плебейскими» паспортами и не обратили этим на себя внимания.

Показанием кухарки установлено, что злоумышленники вели все три дня замкнутый образ жизни. Швейцар дома, крестьянин Иван Козлов, новых жильцов не знавший именно из-за их замкнутого образа жизни, показал, что 12 августа, приблизительно в три часа без четверти пополудни, к дому номер 49 подкатил экипаж, и из дому быстро вышли два офицера, один штатский и женщина, как будто горничная, причем один из офицеров уже на улице дал ему, Козлову, рубль на чай, а женщина указала кучеру адрес: «На Аптекарский» и велела ехать медленно. Очевидно, это было сделано для того, чтобы снаряды в портфелях не взорвались по дороге от какого-либо случайного толчка.

Тотчас после отъезда ландо на улицу вышли «барыня», в сопровождении той же «горничной», причем он, швейцар Козлов, для барыни нанял извозчика, а горничная ушла пешком, а куда, он, швейцар, не может знать. Номера извозчика он не заметил.

О приметах Морозова и Миронова означенные свидетели ничего ценного сообщить не могли: совсем молодые, невысокие, больше ничего. Лучше запомнили «барыню: высокая – выше погибших злоумышленников, – сложена «ладно», не полная, лицо белое, нос небольшой, по виду совсем барыня, по-русски говорила чисто. Кухарка Лаврецкая еще показала, что вчера, 12 августа, господа встали в десять часов утра и завтракали в час. На «барыне» в этот день была чесучовая кофточка, черная шелковая юбка и черный, очень, по словам Лаврецкой, «модный», пояс.

В квартире номер 4 обнаружены три больших букета цветов. Быть может, Морозова или Монакина поднесли их погибшим злоумышленникам, отправлявшимся на верную смерть.

К тому моменту, когда настоящий отчет сдается в набор, других фактов не установлено.

Можно предполагать, что преступление совершено либо анархистами, о чем как будто свидетельствует возглас: «Да здравствует анархия!», либо партией социалистов-революционеров, либо, скорее, недавно отколовшейся от последней партии пресловутой группой так называемых максималистов».

Волнение у Люды достигло предела. «Что же это?.. Революционеры и такое гнусное преступление!.. Ведь это же иначе назвать нельзя!..» Ее особенно поразили некоторые подробности: человек со снесенной головой, сообщение о букетах, о последнем завтраке перед самым делом.

В газете была еще небольшая передовая статья: «Как бы мы ни относились к политике председателя совета министров, разогнавшего Первую Государственную Думу, мы не можем не признать чудовищным преступление, совершенное вчера на Аптекарском острове и сопровождавшееся столькими безвинными жертвами...» – «Да, он совершенно прав: чудовищное дело!.. Пишет смело, могут и прикрыть газету... Господи, что за люди?».

Люда принялась снова за отчет и только теперь заметила подпись П. – «Да это Альфред Исаевич!» Минуты через две она, не расчесав даже волос, не застегнув крючков платья, стучала в коридоре в дверь Певзнера. Никто не откликнулся.

– Их нет, барыня. Вчера вернулись поздно ночью, а сегодня ушедши в шесть утра. Они ведь пишут в газетах. Все этот взрыв, – сказала проходившая с подносом горничная.

Люда вернулась в свой номер. Подумала, что надо бы сейчас же отправиться на Аптекарский остров. «Но верно к даче никого не допускают? Да и что же теперь там увидишь, если и пустят?» Опять представляла себе человека с оторванной головой, просителя с ребенком в руках, букеты.

Даже не вспомнив об оставшихся объявлениях, она принялась беспорядочно укладывать вещи. Руки у нее сильно дрожали. «Никогда, никогда не могла бы участвовать в таких делах и ни за что не буду!.. Да, грязное, отвратительное дело!»

В этот же вечер она выехала в Москву. Точно за что-то себя наказывая, взяла билет третьего класса. Отдав носильщику вещи, увидела бежавшего газетчика. – «Разве есть в воскресенье вечерняя газета? Или экстренный выпуск?» «Последнюю продаю, барыня, в городе больше и не достанете». Люда хотела было развернуть листок еще на ходу, развернула в вагоне, положив несесер на пол, не посадив на колени кошку.

Сообщались еще новые подробности дознания:

«Из обрывка подкладки на одном из мундиров установлено, что жандармские мундиры приобретены в магазине готового платья «Новый Базар» на Невском. Служащие магазина, мещане Аронсон и Шиндельман, показали, что эти мундиры куплены в начале августа неизвестной им молодой дамой, приезжавшей в сопровождении какого-то человека, тоже им неизвестного. Как были одеты покупатели, Аронсон и Шиндельман ответить затрудняются: «Покупателей в наш магазин приходит много, всех не запомнишь».

Дознание выяснило также, что шарфы и жандармская амуниция были приблизительно в то же время приобретены в магазине офицерских вещей Семенова в Апраксином рынке. Служащие этого магазина, крестьяне Алешин, Кичига и Вознесенский, показали, что вещи были проданы даме и господину. Можно таким образом думать, что покупатели в обоих магазинах были одни и те же. Однако приметы сопровождавшего даму господина, насколько можно судить по показаниям вышеупомянутых приказчиков, никак не совпадают с приметами погибших злоумышленников: господин был высокого роста и атлетического сложения, чего нельзя сказать об этих последних. Таким образом, можно с большой вероятностью предположить, что в деле на Аптекарском острове участвовал еще один мужчина, пока не арестованный, так же, как «Миронова» и «Монакина».

Вдруг одна установленная дознанием подробность потрясла Люду:

«Извозпромышленник Александров еще показал, что то же ландо с тем же кучером Станиславом Беднарским за два дня до преступления, а именно 10-го августа вечером, было у него нанято теми же Цветковым, дворником дома номер 49 по Морской, и неизвестной ему по имени женщиной (очевидно, «горничной Монакиной») для поездки в сад «Олимпия» по Бассейной улице. Дворник Цветков подтвердил это показание. Он заявил, что ездили в тот вечер «барыня» Морозова, Морозов и Миронов. Подтвердила это показание и кухарка Эмилия Лаврецкая: господа куда-то уезжали, куда именно не знает, и вернулись поздней ночью».

IX

Остановилась Люда в Москве в каких-то совершенно дешевеньких номерах. Теперь твердо, почти с радостью, решила жить чрезвычайно скромно. В первый день читала газеты, уже спокойнее, – все то же, – бегала по городу, никого не встретила и скучала. Решила завтра позвонить Ласточкину. Помнила, что он обычно возвращается из-за границы в конце июля или начале августа. «Верно уже вернулись... Если к аппарату подойдет герцогиня, повешу трубку, пусть выйдет так, будто никто не звонил».

Она позвонила, с несвойственной ей робостью, в такое время, когда Дмитрий Анатольевич обычно бывал дома. На беду к аппарату подошла именно Татьяна Михайловна. Узнав голос Люды, она совершенно растерялась, тоже хотела было повесить трубку, но и у нее это не вышло, заговорила со своими обычными любезными интонациями; по своему характеру, и как не умела Люда, отвечала радостно и смущенно.

– Митя... Мой муж будет очень огорчен, что вы его не застали... Где вы остановились? – говорила растерянно Татьяна Михайловна. – Я скажу Дмитрию Анатольевичу... Надеюсь скоро вас увидеть...

Ласточкин был изумлен и очень доволен.

– Как же нам теперь быть? Ты ее к нам пригласила? – сказал он жене.

– Не пригласила, но сказала «надеюсь». Сама не знаю, как это вышло!

– Да это и есть приглашение, – победоносно уточнил Дмитрий Анатольевич. – Что ж делать, теперь надо ее звать.

– Тартюф! Сознайся, что ты страшно рад. Вот что, поезжай сначала ты к ней. Разбойника я во всяком случае принимать не хочу. Его ни за что не зови! Может быть, тогда она не примет приглашения, и слава Богу!

Ласточкин поехал к Люде на следующий же день. Убогие номера нашел не без труда. «Бедная! Верно сидит без копейки. Надо тотчас дать ей денег».

Люда чрезвычайно ему обрадовалась.

– Как мило, что вы заехали, Дмитрий Анатольевич!.. Или мне по-прежнему звать вас Митей?

– Да, разумеется! – ответил Ласточкин и, тоже немного против его воли, эти слова оказались похожими даже не на «теплую ноту», а на горячее восклицание. «Изменилась. И глаза стали гораздо грустнее. Счастья особенного незаметно». На кровати что-то зашевелилось, на пол спрыгнула кошка. Дмитрий Анатольевич только теперь заметил, что кровать была узкая, на одного человека. «Где же «разбойник»? Или она приехала из Петербурга одна? Это очень облегчило бы положение. Тогда, пожалуй, и на обед можно пригласить».

– А, знакомая, – сказал он с улыбкой, показывая взглядом на кошку, которая тотчас взобралась на колени к хозяйке.

– Нет, это другая, новая! Неужели вы не заметили, Митя! Представьте, Пусси от меня сбежал!

– Простите, не заметил. Эта очень похожа, хотя теперь вижу, что она темнее.

– Я впрочем думаю, что он не сбежал, а, верно, его, бедненького, раздавил где-нибудь трамвай, он выскочил на улицу, я недоглядела, бий меня бис! Три дня ходила сама не своя, – говорила, оправдываясь, Люда. Ласточкину было странно, что они начали с разговора о кошке.

– Таня тоже очень рада вашему приезду.

– Неужели? Она была со мной очень мила. Как она? Я ведь думала, что вы оба больше и знать меня не хотите. И вы были бы правы. Я действительно виновата перед Рейхелем. Впрочем, виновата не в том, что разошлась с ним, а в том, что сошлась.

Дмитрий Анатольевич закрыл глаза и чуть развел руками.

– Мы вам не судьи, это ваше интимное дело, – сказал он. – Когда же вы к нам придете? Приходите в субботу обедать.

– Даже обедать зовете? Надеюсь, с согласия Татьяны Михайловны? Спасибо вам обоим. Что она? Что Нина? Я знаю, что Нина вышла за Тонышева. Где они?

– Они в Вене. Алексей Алексеевич получил повышение. Верно, пойдет далеко по службе.

– В этом я ни минуты не сомневаюсь, он такой способный человек. И очень привлекательный.

– Они оба очень привлекательны. Нина имеет в венском обществе большой успех. Они даже завели «салон».

– Да, ведь он очень богат.

– Это зависит от того, что называть богатством, – сказал, улыбаясь, Ласточкин. – А каково, Люда, ваше собственное материальное положение? – воспользовавшись случаем, спросил он.

– Очень плохое.

– Ваш... друг не имеет средств? Если вы позволяете об этом говорить?

– Я рассталась с Джамбулом, – ответила Люда. Дмитрий Анатольевич вытаращил глаза.

– Расстались?

– Да, он от меня сбежал. Как Пусси. Я шучу, не сбежал, но мы не сошлись убеждениями. Я не хотела заниматься его нынешними делами. Да и другое было, пятое-десятое. Но мы расстались полюбовно, в очень хороших, даже дружеских отношениях.

С минуту продолжалось молчание. «Пятое-десятое»! – подумал Ласточкин. Он и вообще не очень любил ее развязную манеру речи, но тут развязность показалась ему особенно натянутой и неуместной. «Может, появился еще кто-нибудь? До чего же она, бедная, дойдет?»

– Люда, возьмите у меня денег! Вы меня обидите, если откажетесь, прямо говорю, обидите! – наконец сказал он. О деньгах все-таки говорить было легче.

Она долго отказывалась. У нее показались на глазах слезы. Была тронута, и ей было стыдно: угадывала его мысли, Ласточкин расстроился. Люда уступила.

– От души вас благодарю, Митя. Но я хочу просить вас о другом: найдите мне место. Я хочу работать, пора! Мне все равно, какое. И с меня будет достаточно самого скромного жалованья. Именно место, а не синекуру!

– Я сделаю все возможное и думаю, что это можно легко и быстро устроить. Будьте совершенно спокойны. Это не то, что создать научный институт.

Они говорили довольно долго. Люда опять спросила, что Татьяна Михайловна, и опять, не дожидаясь ответа, перешла на другое. Дмитрий Анатольевич думал о ней все более изумленно. «Что скажет Таня?»

– Какое ужасное событие произошло в Петербурге! – сказал Ласточкин. – Этот взрыв с десятками ни в чем не повинных жертв! Какие времена!

На это Люда ничего не ответила. Дмитрий Анатольевич был совершенно надежный человек, но ей было тяжело говорить о Соколове. Он снился ей вторую ночь. «Он ли взорвался или другие?» – спрашивала она себя.

Татьяна Михайловна также была поражена уходом «разбойника» и не только не обрадовалась (чего Ласточкин все же немного опасался), но огорчилась. – «Тебе, впрочем, верно жаль было бы и Джека-Потрошителя», – весело говорил Дмитрий Анатольевич. – «Ее в самом деле очень жаль, очень!»

Через два дня он нашел для Люды место в одном из кооперативных учреждений, начавших распространяться в России. Жалованье было достаточное для скромной жизни. Приняли ее хорошо. Люда была в восторге и сразу увлеклась работой.

Благополучно сошла и ее встреча с Татьяной Михайловной. Об интимных делах не говорили. Татьяна Михайловна отлично вела разговор, пока его еще нужно было «вести». Дмитрий

Анатольевич поглядывал на нее с благодарностью. Кроме Рейхеля, у них не было близких родственников, поэтому не было и обычных споров между мужем и женой: «это твои родные». Люда не была родственницей, все же за нее отвечал Дмитрий Анатольевич.

Разумеется, Ласточкины не предлагали ей жить у них, да она и не согласилась бы. Дмитрий Анатольевич советовал ей переехать в другую гостиницу получше. Она отказалась и от этого, все как будто себя наказывая. Стала бывать у Татьяны Михайловны, впрочем не часто: ссылалась на работу.

Действительно, она проводила на службе весь день. По вечерам читала ученые книги, притом с увеличивавшимся интересом, и все понимала. В газетах только просматривала заголовки, начиная с кавказских телеграмм. В театры не ходила, от приглашений отказывалась. «Я, кроме вас двух, никого не хочу видеть», – объясняла она Ласточкиным. Говорила совершенно искренно. Как с ней нередко бывало в суждении о людях, с ней внезапно произошла перемена. Она теперь не только не говорила колкостей Татьяне Михайловне, не только не называла ее мысленно «герцогиней», но даже ее полюбила. По ее желанию, они стали называть друг друга просто по имени. Чуть было даже не перешли на «ты», но обе подумали, что это было бы пока неудобно. «При Аркадии говорила ей «вы», а стала бы говорить «ты», когда его бросила!.. Но в самом деле я была к ней очень несправедлива. В Москве все единодушно говорят, какие прекрасные люди Таня и Митя, это редко бывает, и все совершенно правы. И Нина тоже очень милая женщина. Тоньшев хуже, но и он порядочный человек. И все они гораздо лучше революционеров!» – думала Люда.

Ласточкины радостно отмечали происшедшую в ней перемену.

– Я так рад, что у вас теперь такие хорошие отношения! – говорил жене Дмитрий Анатольевич. – И надо же, чтобы это случилось после ее ухода от Аркаши!

– У нее угрызения совести из-за всей этой истории. Да, каюсь, мне прежде она была несимпатична. Я даже думала, что она ограниченный человек. Она и не читала почти ничего, музыки тоже не любила. Но я совершенно ошиблась! Люда не глупа, и не зла, и способна. Видишь, как она увлечена книгами, в которых я ничего и не поняла бы! И я уверена, что у нее больше никаких похждений не будет. Да собственно эту историю с «разбойником» и нельзя назвать «похждением», беру слово назад.

– Да, у кого таких дел не было? Кроме тебя, конечно. Дай Бог, чтобы она в кого-нибудь влюбилась по-настоящему и вышла замуж.

– А ты заметил, она стала патриоткой. В хорошем смысле. Говорит, что Кавказ, Финляндия мечтают об отделении от России, и верно, другие окраины тоже. Я спросила: «Да разве вы, Люда, этого не хотите?» Она ответила: «И слышать не хочу!»

– Я искренно рад. Я тоже не хочу.

– Но мы ведь и раньше не хотели, а она была революционеркой. Верно, уж очень, бедная, разочаровалась в «разбойнике».

– Должно быть, хорош гусь!.. Я, в частности, так рад тому, что она увлеклась кооперацией. Это действительно прекрасная работа. Молодежь ею не интересуется, потому что в ней нет романтики. А она в сто раз важнее и лучше того, что делает теперь молодежь. Недаром в кооперацию стали уходить люди, разочаровавшиеся в революции, как Люда.

И Люде, и Татьяне Михайловне очень хотелось поговорить о «похждении» по душам, но обе боялись начать этот разговор. Однажды Люда увидела на столике в гостиной «Викторию» и чуть изменилась в лице.

– Вам нравится Гамсун, Таня? Я его обожаю!

– Я нет.

– Почему?

– Уж очень он ненатурален, я этого не люблю.

– Он теперь во всем мире признан гением.

– Да, я знаю. Люди очень щедро раздают этот титул, особенно иностранцам, и легко поддаются в литературе чужому мнению. Тут в книге есть его краткая биография. Он прошел через очень тяжелую школу нищеты, даже голода. После нее, по-моему, трудно стать гениальным писателем: слишком человек озлобляется.

– Однако ведь многие великие писатели были злыми. Я даже где-то слышала анекдот. Какой-то остряк-критик советовал начинающим писателям: «Никогда не говорите о людях ничего дурного. Ни в каком случае и не думайте о людях ничего дурного. И вы увидите, какие отвратительные романы вы будете писать!»

Татьяна Михайловна засмеялась.

– Правда? Но зачем же слушать остряков? А главное, у Гамсуна все так неестественно.

– И «Лабиринт любви» в «Виктории»?

– Я как раз сегодня это читала. Да, и этот «Лабиринт». «Цветы и кровь»! Зачем кровь? Цветов неизмеримо больше, – сказала Татьяна Михайловна, подумав о любви между ней и мужем. – А почему вы о нем спрашиваете?

– Он в моей жизни сыграл большую роль, – ответила Люда. Татьяна Михайловна смотрела на нее вопросительно. «Лабиринт»?.. Теперь расскажет?» – подумала она.

Но Люда ничего не рассказала, хотя ей этого хотелось. Рассказала лишь недели через две. Татьяна Михайловна слушала с недоумением. Хотела сочувствовать, но не могла.

– Не понимаю. Страстная любовь на несколько месяцев, – не удержавшись, сказала она. – Уж если мы заговорили о книгах... Вот вы, Людочка, любите говорить о литературе, а Нина еще больше, она многое даже выписывает. Я не люблю и не умею, но уж если заговорили. Так вот я недавно читала, что знаменитый революционер Дантон ездил в миссию в Бельгию, а тем временем в Париже умерла его жена, которую он обожал. Он вернулся через неделю после ее похорон и был так потрясен, что велел вырыть ее из могилы и обнял ее в последний раз. Просто думать страшно и даже гадко. Но через несколько месяцев он женился на другой! Я такой любви просто не понимаю!

– А я понимаю. Мне нравятся именно такие люди, как Дантон! – сказала Люда. «Верно, Таня считает настоящей только их скучную любовь с Митей!» – подумала она.

Часть четвертая

I

В Вене с ужасом и благоговением говорили, что император Франц-Иосиф «живет по хронометру». Так, верно, ни один другой человек во всей Австрии и не жил. Говорили также неодобрительно, что он газеты читает «в гомеопатических дозах»: главное узнает из докладов, а остальное ему рассказывают Катерина Шратт или же «старый еврей»; под этой кличкой был в венском обществе известен Эммануил Зингер, один из владельцев большого газетного треста, ничего в газетах не писавший, но знавший все и почему-то пользовавшийся милостью императора, который пожаловал ему дворянство.

Зингер, очень любивший Франца-Иосифа и хорошо его знавший, никаких советов ему не давал; только сообщал, «что говорят», и часто ссылался на каких-то галицийских талмудистов. Император не очень и ему верил, но слушал внимательно и не без интереса: может быть, и старики-талмудисты что-то понимают, очень мало, но столько же, сколько министры или генералы.

Своих суждений, не относившихся к очередным делам, он министрам не высказывал. Один из них, граф Куэн-Хедервари, встречавшийся с ним в течение тридцати лет, вероятно, не менее тысячи раз, говорил, что совершенно императора не знает: между ними в разговорах всегда был точно невидимый занавес, за занавесом же находился не человек, а какой-то живой символ Габсбургской монархии.

Еще меньше верил он генералам. Особенно не любил, чтобы генералы вмешивались в политические дела (а министры – в военные). Раз, позднее, начальнику генерального штаба Гецендорфу устроил сцену, когда генерал стал критиковать министра иностранных дел Эренталя, – если можно было назвать сценой то, что император немного повысил голос и чрезвычайно сухо сказал: «У графа Эренталя нет никакой своей политики: он делает *мою* политику».

Его любовница Катерина Шратт сообщала ему придворные сплетни. Она его обожала, тоже не давала ему советов, тоже ни о ком его не просила и ни о чем его не просила, денег от него не брала и даже подарки принимала смущенно. Это он чрезвычайно ценил.

Газетам же он не верил совершенно и даже не понимал, для чего они издаются и зачем их люди читают. Жил он учением католической церкви и своей старческой мудростью, а также – в значительно меньшей степени – наследственной мудростью тех 137 Габсбургов, которые были похоронены в фамильной усыпальнице Капуцинской церкви. Живыми же Габсбургами и их мнением интересовался мало. Он проснулся, как всегда, в четыре часа утра и тотчас же встал со своей железной кровати. Ее называли «походной», хотя он на своем веку в походах бывал очень мало. Обстановка его спальни была чрезвычайно проста и даже бедна, особенно по сравнению с общим великолепием Бурга. Редкие люди, которые по долгу службы иногда заходили в эту комнату, изумлялись: неужели *так* живет император! Находили в этом «спартанский стиль» и не без недоумения вспоминали, что в своей интимной жизни, особенно в молодости, он спартанцем не был. Сам он не говорил ни о походной кровати, ни о спартанском стиле. Франц-Иосиф принадлежал к не слишком многочисленным в мире людям, которые ни в чем никогда не притворяются. Он был именно таков, каким его считали. Ему нравилось, что его спальня убрана так бедно, а дворец так богато; за долгую жизнь он привык к этому; вообще ничего не любил менять.

День начался с массажа ледяной водой. Так он начинался всегда. В последние годы доктор Керцль настойчиво требовал, чтобы император от такого массажа отказался: действи-

тельно, он в течение двух-трех часов после этого за работой дрожал и не мог согреться; позднее у него образовался хронический катар дыхательных путей. Керцль все же ничего не добился.

Завтрак состоял из стакана молока. Франц-Иосиф сел за стол, тоже очень простой и содержавшийся в чрезвычайном порядке. Чернильница, лодочки с карандашами, с очинёнными гусяными перьями находились всегда на одних и тех же местах. Камердинер знал, что если он что-либо передвинет хотя бы на дюйм, то император тотчас заметит и рассердится; гнев же у него выразится только в глазах и в коротком замечании. Франц-Иосиф почти никогда голоса не повышал и не выносил, чтобы при нем повышали голос другие. Придворным было известно, что на больших обедах за столом поблизости от него, да и не только поблизости, надо говорить очень тихо, – избави Бог засмеяться или рассказать анекдот. Придворные обеды в Вене весельем не отличались.

На столе лежала тщательно выровненная стопка бумаг, поступавших на рассмотрение императора. Все знали, что Франц-Иосиф чрезвычайно добросовестен в работе, что он один из наиболее трудолюбивых людей страны. Говорили, будто он читает, от первого до последнего слова, все поступавшие к нему документы. Это было бы совершенно невозможно. Бесчисленные бумаги, подававшиеся ему просто для подписи, он только пробежал и подписывал. Но доклады сановников читал очень внимательно: требовал только, чтобы они были не слишком длинны и по возможности просты.

Для хороших решений ему, как и другим правителям мира, нужны были бы такие обширные, глубокие, всеобъемлющие познания, каких не имел ни один человек на свете. Но он в меру думал над каждым докладом и писал свои замечания, всегда осторожные, обычно дельные. Иногда впрочем вставлял отдельные слова, непонятные министрам, вроде «Опять Бомбелль», «Бейст 1869 год», «1854 год, № 107». Император обладал необычайной памятью и неизменно всех поражал тем, что не только знал документы, подписанные им в молодости, но помнил даже их номера. Министры часто ломали себе голову над его отрывочными словами и приписывали их старческой рассеянности. Разъяснений обычно не просили, делали вид, будто понимают. Франц-Иосиф не любил устных указаний, предпочитал все писать и думал, что это не только самый надежный, но и самый быстрый способ работы. По телефону никогда не говорил и не имел даже аппарата в своих покоях: это было очень вредное и особенно беспокойное новшество. Так он до конца дней не пользовался и автомобилями; еще удивительно, что ездил по железным дорогам, которые, правда, появились в пору его детства.

Одна из бумаг касалась не государственных, а личных имущественных дел. Император управлял огромным наследственным богатством Габсбургов, и его управление вызывало у эрцгерцогов глухое недовольство. Имущество могло бы приносить гораздо больше дохода, чем приносило. Так, земли были сданы полтора года тому Марией-Терезией по 47 крон за акр; эта арендная плата была недурной в восемнадцатом столетии, но теперь цены были совершенно другие, и наследник престола довольно настойчиво поговаривал о необходимости изменения контрактов. Он находил также, что в многочисленных владениях короны слишком много служащих и что некоторые из них ведут дела очень плохо или недобросовестно. Сахарное дело во всей Европе считалось чрезвычайно выгодным, все австро-венгерские сахарные заводы приносили большой доход, и только Гединский завод императора приносил большой убыток. Франц-Иосиф, впрочем, сам понимал, что он плохой сахарозаводчик, что действительно служащих больше, чем нужно, и что контракты с арендаторами не соответствуют новым экономическим условиям.

Он далеко не был равнодушен к богатству Габсбургского дома и желал быть самым богатым из монархов – тут соперничество могло быть только с русскими царями. При браках эрцгерцогов и эрцгерцогинь самым важным, конечно, была *Ebenbürtigkeit*⁵⁴ их невест и женихов;

⁵⁴ Равенство по происхождению (нем.).

собственно вполне *ebenbürtig* были только Бурбоны, – правда, они никогда не имели императорского титула; да еще, пожалуй, баварская и саксонская династии: они королями стали не очень давно, но глубокая древность их владетельных родов была смягчающим обстоятельством. Все же Франц-Иосиф, хотя сам женился по любви на бедной баварской принцессе, бывал вполне удовлетворен лишь в тех случаях, когда женихи и невесты были не только *ebenbürtig*, но и очень богаты.

Женитьба наследника престола на какой-то чешской графине была для императора страшным ударом. Франц-Фердинанд смущенно ему говорил, что род Хотеков очень старый. Франц-Иосиф только смотрел на него с недоумевающей и презрительной улыбкой: Габсбурги на графинях не женятся! После долгих увещаний, он скрепя сердце дал согласие при условии, что брак будет морганатическим: женится Бог знает на ком, и только еще не хватало бы, чтобы его сын взошел на австрийский престол. Теперь, читая бумагу, он сердито думал о деловых планах наследника. Знал, что Франц-Фердинанд не жаден к деньгам (при устройстве своих великолепных садов в Конопиште он просто снес несколько доходных домов). Но, очевидно, он не понимал некоторых вещей: не понимал, что нельзя отменять условия, подписанные Марией-Терезией, нельзя увольнять хотя бы плохих служащих, предки которых служили Габсбургам. «Верно, и это идеи его дорогой жены», – думал он и с досадой отложил бумагу. Несколько позднее Франц-Фердинанд прислал ему официальный меморандум о необходимости перемен в управлении наследственными богатствами. Император ответил решительным отказом.

Работа кончалась обычно в восьмом часу утра, иногда несколько позднее, в зависимости от числа бумаг. Он ничего не откладывал на следующий день. Подписав последнюю бумагу, он позвонил в колокольчик. Вошел дежурный адъютант. Император учтиво-холодно наклонил голову. Руки не подал. Подавал руку только генерал-адъютантам, высшим государственным сановникам, иностранным дипломатам и людям, носившим очень древние, исторические имена, – знал генеалогию всех австрийских и многих иностранных фамилий. Никогда не подавал руки духовным лицам, даже кардиналам, и не целовал перстня. Люди удивлялись и приписывали это историческому атавизму, восходившему ко временам соперничества Габсбургов с папами. Это несколько не мешало ему быть чрезвычайно благочестивым человеком. О смерти он почти не думал: по недостатку воображения не мог себе представить *свою* смерть, а в загробной жизни никогда не сомневался. Твердо знал: все будет хорошо. Только будет в Капуцинской церкви 138-й Габсбург. Потерял очень много близких людей и никогда не испытывал чувства, будто у него похитили самое дорогое. Знал, что всех увидит снова. Но не спешил увидеть.

Адъютант подал список людей, которым на этот день были назначены аудиенции с указанием числа минут каждой. Шестой в списке значилась дама: старая принцесса. Он велел впустить ее первой и перешел в другую, очень роскошно убранную комнату. Дамам, независимо от их происхождения, он всегда целовал руку: не садился за стол на парадных обедах, пока не сажались дамы, – выходило так, что они усаживались в ту же секунду, что он; на балах, если недалеко от его кресла стояла у стены дама, он жестом предлагал ей занять его кресло, от чего она отказывалась с ужасом.

Он поцеловал руку принцессе, предложил ей сесть и одновременно сел и сам. Ей было отведено десять минут. Франц-Иосиф спросил об ее здоровье, о погоде в том городе, из которого она приехала, об общих знакомых, глубоких стариках и старухах, – помнил всех. Принцесса рассказывала. Он с юношеских лет выработал привычку слушать как будто с интересом и воздерживаться от зевоты. На девятой минуте принцесса, забывшая его правила, о чем-то пошутила и даже засмеялась. Это было совершенное безобразие. Глаза у него сразу стали ледяными. Она смутилась. Аудиенция продолжалась только девять минут. Он проводил принцессу до дверей.

Затем представлялись разные генералы. Их он расспрашивал о состоянии вверенных им частей, расспрашивал очень внимательно: военным делом еще интересовался больше, чем

всем другим. Подал руку только одному генералу: это был барон с древним именем. До него был принят граф, ему император руки не подал: титул этого графа имел всего столетнюю древность. Барона же спросил даже об его охоте и вспомнил, что в молодости охотился с его дедом. Аудиенция была без свидетелей. Император знал, какой честью считается его рукопожатие, знал, что не все верили рассказам очастливленного лица, и после окончания приема вскользь сказал обер-гофмаршалу, что подал руку барону; таким образом это тотчас стало известно всем при дворе.

Ровно в двенадцать лакеи внесли небольшой столик с прибором. Франц-Иосиф ел очень мало. Завтрак продолжался двадцать минут, а перерыв в аудиенциях был в полчаса. Кофе император никогда не пил; позволял себе две сигары в день. С наслаждением закурил, но бросил сигару в двенадцать двадцать семь. Лакеи унесли столик. Аудиенции возобновились. Оставалось восемь человек, и только последняя аудиенция, назначенная графу Берхтольду для важного разговора, не была ограничена числом минут. Таким образом рабочий день был на этот раз не очень длинный. Вечером не было ни спектакля, ни бала. Никаких владетельных особ в Вене теперь не было и в ближайшее время не ожидалось. Это было очень приятно. Его утомляли посещения монархов, особенно Вильгельма II, которого он вдобавок не считал *настоящим* императором, как не считал настоящими императорами Романовых или прежде Бонапартов. Франц-Иосиф родился уже после того, как Габсбурги из императоров Священной Римской империи стали просто австрийскими императорами, и в душе не прощал Францу II этого понижения в ранге династии. Он догадывался, о чем с ним будет говорить австро-венгерский посол в России. Этот родовитый, богатый и потому независимый человек, очень красивый, всегда превосходно одевавшийся, ему нравился. Император даже подумывал о том, чтобы предложить Берхтольду самую высокую придворную должность, для которой он очень подходил. Считал умным, способным человеком и министра иностранных дел Эренталя; тот был еврейского происхождения, но это для Франца-Иосифа в государственных делах не имело значения, он не выносил только людей, объявлявших себя свободомыслящими.

Однако и Эренталь, и Берхтольд вели беспокойную политику: оба ставили себе целью присоединение к империи Боснии и Герцеговины. Франц-Иосиф и сам хотел бы закончить свое царствование таким делом. Тут сказывались чувства 137 предков. Но дело казалось ему рискованным: могло привести к войне с Россией. Никаких войн он больше не хотел и всячески им сопротивлялся. Изменить его мнение ни Берхтольд, ни Эренталь не могли. Никто на него влияния не имел. Хорошо знавший его человек сказал о нем: «Если б в Империи был какой-нибудь князь тысячелетнего рода, и если б он был верующий католик, и если б он обладал огромным умом, огромной культурой, огромным состоянием, и если б он никогда, ни разу в жизни, ни о чем для себя не попросил, то, быть может, он имел бы некоторое влияние на нашего императора. Но такого человека в Империи нет».

Франц-Иосиф подал Берхтольду руку и предложил ему сесть. Спросил о здоровье, о погоде в России, о царе и царице. Затем вопросительно на него уставился, приглашая его перейти к делам.

После краткого общего доклада Берхтольд высказал мнение, что приобретение Боснии и Герцеговины совершенно необходимо империи. Оно чрезвычайно ее укрепит и сильно повысит ее престиж. Никакого риска нет: Россия на войну не решится. Вследствие недавнего поражения на Дальнем Востоке она очень слаба. Командование, военное снабжение, подготовка армии оказались плохими, русский военный флот совершенно разгромлен, – он приводил факты и цифры. Кроме того, революционное движение отнюдь не подавлено, в случае новой войны оно вспыхнет с еще гораздо большей силой: недовольство в России стало почти всеобщим, Сербия, разумеется, заявит протест, но какое значение может иметь Сербия? Настал благоприятный момент для действия, упустить его было бы грехом и огромной ошибкой.

Он говорил хорошо, гладко, без горячности: знал, что говорить с императором *горячо* нельзя. Франц-Иосиф бесстрастно и внимательно его слушал. Все это не раз слышал и от Эренталя. «Да, оба хотят одного и того же. Как будто все правильно, но уверенности в этом быть не может, – думал он, – ни на чьи такие слова полагаться невозможно. Они молоды, большого опыта у них нет».

– Присоединение к моей империи Боснии и Герцеговины? Да, я это знаю, – холодно сказал он, когда Берхтольд замолчал. – Но вы говорите, что оно не приведет к войне с Россией и что Россия слаба. Однако так будет не всегда. И готовы ли к войне мы сами?

– В этом не может быть никакого сомнения, ваше величество. Таково единодушное мнение нашего командования.

– Я то же самое слышал от моих фельдмаршалов и генералов и в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году, и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом. Они жестоко ошиблись. Могут ошибиться и теперь. Я никакой новой войны не хочу. Прошу вас твердо это запомнить. Я давно говорил это и Бюлову (он произносил по-венски: Билов; правильным могло быть, конечно, только австрийское произношение).

– Строго подчиняюсь воле вашего величества. Но я обязан высказать свое убеждение. Если б даже Россия решилась на войну, то ей пришлось бы иметь дело также с Германией. Франция же в войну, наверное, не вмешается.

– Это мне тоже говорили. Я не уверен ни в том, ни в другом, – сказал император еще холоднее. – Император Вильгельм – друг царя. Французская политика очень изменчива. В политических делах нельзя быть уверенным ни в чем. И если б даже война кончилась полной нашей победой, то погибли бы сотни тысяч людей. А я, как верующий человек, не хочу проливать чью бы то ни было кровь и всего менее кровь моих подданных.

– Кровь и не будет проливаться, ваше величество, – уныло сказал Берхтольд. Он знал взгляды, не раз высказывавшиеся императором и Эренталю. Знал также, что эти взгляды не имеют решающего значения: давление правительства, парламента, того, что он называл волей народа, то есть мнения газетных передовых статей, окажутся сильнее. Франц-Иосиф и сам это понимал. Все же Берхтольд был разочарован. «С такими взглядами никакой политики вести нельзя. И он сам не всегда так думал. И я такой же добрый католик, как он... При чем тут вера?»

– Со всем тем, я не отрицаю, что было бы очень хорошо мирным путем присоединить Боснию и Герцеговину к моей империи, – сказал император. Смутно почувствовал, что этими словами почти уничтожает значение того, что говорил раньше. Это тотчас сказалось и в выражении глаз Берхтольда. – Я надеюсь, что вы, с вашими способностями и тактом, будете поддерживать добрые и корректные отношения с Россией.

– Я это и делаю как могу, ваше величество, – сказал Берхтольд облегченно и даже искренно. У него в самом деле были очень хорошие отношения с русским придворным миром. Его забрасывали приглашениями, он чуть не каждый день в обществе, в балете, в Михайловском театре встречался с петербургской аристократией.

После окончания приема император вздохнул свободно. Рабочий день был кончен. Оставалось теперь только приятное: прогулка, обед не на переносном столике, а в столовой, вековое токайское – он, впрочем, пил мало, – и госпожа Шратт. Ей разрешалось улыбаться, и даже хохотать, и даже рассказывать венские анекдоты. Он и сам смеялся в разговорах с ней; без нее, быть может, просто не выдержал бы своей жизни.

II

От Рейхеля пришла телеграмма: «Приезжаю среду несколько дней телеграфируйте можно обедать у вас четверг если дома приду шесть часов».

В другое время эта телеграмма обрадовала бы Ласточкиных. Они любили Аркадия Васильевича, мирились с его тяжелым характером и, как говорила Татьяна Михайловна, чувствовали себя перед ним «без вины виноватыми»: не нашли для него в Москве работы. Изредка с ним переписывались. Он писал суховато. Это огорчало Дмитрия Анатольевича. Вскоре после того, как его бросила Люда, Рейхель кратко сообщил им, что, наконец, получил хорошее место с лабораторией в Военно-Медицинской академии и просил больше ему денег не присылать. В ответном поздравительном письме Ласточкин предложил помогать ему еще хоть некоторое время, так как ученые учреждения верно авансов не дают. Рейхель повторил, что отказывается: «Я очень тронут твоим и Тани неизменным вниманием. Однако я уже не нуждаюсь и, верно, больше никогда нуждаться не буду».

– Я была бы рада Аркаше, но как бы он теперь не встретился у нас с Людой? Верно, он слышал, что она в Москве: на всякий случай точно указывает день и час, точно не знает, что может прийти на обед, когда хочет, – сказала Татьяна Михайловна. – Быть может, он и сердится, что мы ее принимаем. Я тебе говорила.

– Ты говорила, но пригласила ее к нам ты, – опять подразнил жену Дмитрий Анатольевич.

– Я тогда растерялась, а теперь не жалею.

– Ты отлично сделала, Танечка, – сказал Ласточкин. – Ничего, она в обеденное время приходит редко. Положимся на судьбу.

– Это приятно слышать. Ты, Митенька, на судьбу полагаешься редко. Слишком много все обдумываешь.

– Разве? Но если ты мной недовольна, то мы можем развестись, – пошутил Дмитрий Анатольевич и поцеловал жену.

Он ответил двоюродному брату телеграммой в шутовском тоне: «Мы оба страшно рады точка но отчего тебе не остановиться у нас точка старый замок как ты давно знаешь всегда к твоим услугам ждем обнимаем».

Рейхель у них не остановился, но пришел к обеду ровно в указанное им время. Был в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Сказал, что «более или менее удовлетворен» полученной им должностью и много работает.

– Лаборатория очень недурна, у меня есть отдельная комната, и я теперь совершенно независим. Могу даже заказывать на казенный счет любые приборы.

– Как я рад! Ты прославишь эту лабораторию! – с жаром сказал Ласточкин. – Мне говорили о важности твоих работ.

Он не любил преувеличивать, но на этот раз покривил душой. Недавно из Петербурга в Москву приезжал знаменитый бактериолог. Встретившись с ним в редакции «Русских Ведомостей», Ласточкин спросил его о Рейхеле. – «Ведь он, кажется, на пути к славе?» – Профессор, не знавший об их родстве, пожал плечами. – «Рейхель прекрасный, добросовестный, трудолюбивейший работник, но не очень талантливый человек». – «Неужели? А я думал, что из него выйдет новый Пастер!» – сказал огорченно Дмитрий Анатольевич. – «Нет, Пастер никак не выйдет. Разумеется, мы его ценим. Хотя ему немного вредит то, что он так нервен, раздражителен и, грешным делом, в науке немного завистлив. Большие ученые такими не бывают... Впрочем, бывают и большие», – прибавил профессор, засмеявшись.

Татьяна Михайловна, не выносившая неправды, укоризненно взглянула на мужа и перевела разговор:

– Друзья мои, обед будет минут через десять. Я пришлю вам сюда «аперитивы», так, кажется, это называется у французов? Что вы предпочитаете, Аркадий? Богдыхан в последнее время пьет вермут.

– Я и в Париже аперитивов не пил, а к их знаменитому абсенту и прикоснуться не мог. За столом, если позволите, выпью рюмку водки.

– Позволяю. Закуски мы за обедом не едим, начнем прямо с рассольника. Я ведь помню, что вы, Аркаша, любите рассольник с пирожками. Но я все-таки скажу, чтобы под водку подали икры, – сказала Татьяна Михайловна. У нее было правилом при гостях давать к столу то же, что подавалось без гостей; отступала от этого правила лишь при «парадных» обедах.

– Тогда, Танечка, не присылай мне вермута. И я выпью водки и не одну рюмку, а три в честь Аркаши. Ты прежде тоже пил три, – сказал Ласточкин и смутился: «прежде» могло быть Аркадием, при его подозрительности понятно, как «в пору Люды». Так именно Рейхель и понял.

– *Теперь* у меня нервы в полном порядке и взвинчивать себя водкой незачем, – равнодушно сказал он.

– Это отлично, а то ты человек минорной гаммы.

– А ты бравурно-мажорной.

– И слава Богу. Я рад, что у меня счастливый характер.

– Ну, не слишком уж счастливый, ты еще недавно был в меланхолии, – сказала Татьяна Михайловна и вышла из гостиной. Рейхель вынул из кармана конверт и протянул его двоюродному брату.

– Это половина моего долга тебе, Митя.

– Какого долга?

– Ты знаешь, какого. Ты долго поддерживал меня и в Париже, и здесь. Пожалуйста, сочти. Другую половину надеюсь отдать через год.

– Да помилуй...

– Ничего не «помилуй»!

– Но ведь тебе трудно, и потом...

– Мне нисколько не трудно. Я теперь очень порядочно зарабатываю, а проживаю вдвое меньше. И еще раз от души тебя благодарю.

– Ох, эта твоя щепетильность! Твое джентльменство иногда переходит в донкихотство, – сказал Дмитрий Анатольевич, знавший, что его слова будут приятны Аркадию. «Он всегда гордился своим джентльменством. Но как оно у него сочетается с озлобленностью и с вечным неприятным сарказмом? – подумал Ласточкин. – Он всегда был в денежном отношении совершенно бескорыстен, как и Люда. Надо все-таки сказать ему хоть что-нибудь о Люде? Иначе выйдет еще более неловко».

– Спрячь конверт, – сказал Рейхель, – и расскажи мне о своих делах. О политике, пожалуйста, не говори, я, как ты давно знаешь, ненавижу ее и презираю.

– О чем же? О культурной работе? Она опять возобновилась и развивается, несмотря на эту несчастную революцию. Все революции скверное дело, но нет ничего хуже подавленной революции, – сказал Ласточкин и заговорил на свою любимую тему: о сказочном росте России. Говорил так же хорошо и с таким же увлечением, как когда-то в Монте-Карло. Рейхель слушал, подавляя зевоту.

– Очень интересно, – сказал он. – О своих собственных заслугах ты не говоришь, но я знаю, какое участие ты принимаешь в этой работе. По-моему, ты делаешь настоящее дело.

– Быть может, но не такое все же, как вы, ученые... И еще новое отградное явление: рост кооперации. Ты знаешь, кстати, что Люда в ней работает? – робко спросил Дмитрий Анатольевич. Лицо у Рейхеля чуть дернулось.

– Она в Москве? Вы ее видите?

– Изредка видим. Надеюсь, ты ничего против этого не имеешь? Ты понимаешь, что нам...

- Понимаю и решительно ничего не имею, – перебил его Аркадий Васильевич.
- Не знаю, известно ли тебе, что она разошлась с этим кавказским революционером? Рейхель взглянул на него с изумлением. Затем злобно-весело рассмеялся.
- Я не знал! Хорошо, очень хорошо! И давно случилось это примечательное событие? –

спросил он.

Ласточкин отвел глаза и пожалел, что сказал о Люде.

– Уже довольно давно... Она отошла от революции. Теперь получила место в одном кооперативном обществе, очень увлечена работой и...

– Она меня совершенно не интересует, – опять перебил его Рейхель.

– С той поры, как ты вернул ей свободу, она...

– Мне незачем было возвращать ей свободу, мы не были женаты. И извини меня, поговорим о чем-нибудь другом.

– Друзья мои, пожалуйста в столовую, – сказала в дверях Татьяна Михайловна.

За обедом Рейхель был весел. Сообщение о Люде доставило ему большое удовольствие. Очень хотел узнать, кто кого бросил, но спрашивать об этом было неудобно. Говорил любезности, что было ему не свойственно. «Все-таки он мил, хотя и сухарь, – думала Татьяна Михайловна, не зная об его разговоре с Дмитрием Анатольевичем. – Надо бы его женить». У нее мелькнули в памяти некоторые московские невесты. – «Нет, ни одна за него не пойдет. Он не может иметь успеха у женщин».

– Что же ты скажешь, Аркаша, об этом ужасном деле на Аптекарском острове? – спросил Ласточкин.

– Ничего не скажу. Надеюсь только, что всех этих бандитов перевешают.

– Дело они сделали действительно ужасное, – сказала Татьяна Михайловна. – Перебили множество ни в чем не виноватых людей. Да и виноватых убивать не следует. Но и вешать никого нельзя. И все-таки нельзя называть бандитами людей, идущих добровольно на верную смерть, как-никак, ради какой-то идеи.

– Хороша идея! Есть храбрые бандиты, это ровно ничего не значит. Картуш, Тропман тоже были бесстрашны.

– Я просто не могу понять, к чему они стремились. Ну, убьют Столыпина, будет Горемыкин или кто-нибудь такой же.

– А я и не интересуюсь, кто будет: все хороши, – сказал, пожимая плечами, Рейхель. Разговор ненадолго прервался.

– У нас завтра ложа в опере, «Борис» с Шаляпиным. Пойдете с нами, Аркадий?

– Спасибо. Кого вы еще звали?

Она поспешно назвала одного поэта, писавшего непонятные статьи об аполлонической музыке. Рейхель кивнул головой удовлетворенно. «Не думал же он, что мы его пригласим с Людой!»

– А четвертое место оставлено специально для вас, Аркаша.

– Охотно пойду, вечером я свободен. Но вы знаете, что я ничего в музыке не смыслю, просто жаль давать мне место. Кажется, «Борис» теперь в большой моде?

– В моде или нет, но я во всей музыкальной литературе не знаю ничего лучше сцены коронавания.

– Я слышал от кого-то, что у вас теперь первый музыкальный салон в Москве.

– Надеюсь, вы не вкладываете иронического оттенка в слово «салон»? Да, мы оба все больше увлекаемся музыкой, – сказала Татьяна Михайловна и вдруг похолодела: из передней послышался быстрый троекратный звонок, так звонила Люда. «Господи, как не повезло!» Она с ужасом взглянула на мужа, но было уже поздно: входную дверь открыли. Люда вошла своей быстрой энергичной походкой в столовую – и остановилась на пороге.

– Друзья мои... Аркадий, ты здесь? Здравствуй.

Рейхель что-то невнятно пробормотал. «Неужто они это подстроили?» – с бешенством подумал он. Но по виду хозяев ясно было, что они сами в полном замешательстве.

– Я зашла только на минуту, проведать вас, – сказала Люда очень смущенно. Татьяна Михайловна сидела ни жива ни мертва.

– Почему же только на минуту? – спросил Дмитрий Анатольевич и заговорил об ее работе со скоростью тысячи слов в минуту. Так же быстро говорила Люда, искоса бросая взгляд на Рейхеля и тотчас отводя глаза.

– Вы совершенно правы, Митя. Я повторяю, что не революция, а именно кооперация спасет мир! Вы не можете, Таня, и представить себе, как она растет, особенно этот Рочдэйльский тип ее. Она выведет Россию из трясины. Все видят, как выродилось революционное движение. Скоро вся страна покроется сетью потребительных обществ пермского типа, производственных товариществ, земледельческих артелей! Беднейшие слои населения, наконец, получают возможность жить по-человечески. А рижский Консумфереин! А Нимская школа!

– Это чрезвычайно важно, кооперация, чрезвычайно важно, – подтверждал Ласточкин, с опаской поглядывая на своего двоюродного брата. Тот про себя отметил «Таню».

– Я тоже думаю, что это важно, – говорила Татьяна Михайловна, на которую веяло скукой от самого слова «кооперация». Столбняк у нее проходил. Она старательно улыбалась. – Все же сознайтесь, Люда, что вы чулки, например, покупаете не в артелях, а на Кузнецком мосту.

– Чулки, конечно. А чай, кофе, сахар покупала бы в потребительном товариществе, если бы ближайшее не было от меня на расстоянии двух верст.

– Очень характерен этот начавшийся отход от революции, – сказал Дмитрий Анатольевич. – Кстати, Танечка, я и забыл тебе сказать. Помнишь тех двух молодых людей, которые были у нас в прошлом году на вечере мелодекламации? У них были странные имена: Таратута и Андриканис. Так вот мне сегодня говорили, будто они женятся на сестрах Шмидт.

– Вот тебе раз!

– Это брак и по любви, и по идейной близости: все четверо принадлежат к большевистской фракции социал-демократов... Впрочем, этого я твердо не знаю.

Рейхель посмотрел на часы.

– Таня, вы мне разрешите позвонить по телефону? Иначе я не застаю дома этого профессора, – сказал он и, не дожидаясь ответа, встал. Дмитрий Анатольевич проводил его к аппарату.

– Извини, нам так досадно. Люда приходит к нам редко. Мы не ожидали, – сказал он сконфуженным шепотом. Рейхель ничего не ответил. Ласточкин затворил за ним дверь и вернулся в столовую. Аркадий Васильевич позвонил к профессору; тот назначил ему свидание как будто без особой радости. «Что же теперь делать? – подумал Рейхель. – Нельзя же уйти до конца обеда. Может, она уйдет?»

– ...Еще хорошо, что он не наговорил мне грубостей, и на том спасибо, – говорила в столовой вполголоса Люда.

– Что вы!

– Мне все равно, и я понимаю, что он имеет право на меня сердиться... Я бегу à l'anglaise⁵⁵. Извините меня, что ворвалась так не вовремя.

– Что вы, что вы!

– Я в самом деле спешу. У меня сегодня будет один петербургский журналист. Еще раз, пожалуйста, на меня не сердитесь.

– Что вы, что вы!

⁵⁵ По-английски, не прощаясь (франц.).

Из Москвы Люда разослала знакомым открытки с указанием своего адреса. Никому из товарищей по партии не написала, – теперь мысленно уже называла их «бывшими». От ее революционности ничего не оставалось. Дело на Аптекарском острове, уход Джамбула, отношение к ней Ленина, экспроприации смешались в душе Люды. Сказалось и влияние кооператоров, ставших ее друзьями и товарищами по работе. Они в большинстве были люди левые или, по крайней мере, очень либеральные, но относились к экспроприациям и к взрыву столыпинской дачи с крайним отвращением.

В числе людей, которым Люда послала из Москвы открытки, был и Певзнер. Она иногда читала его репортажи в петербургской газете. Он уже подписывался «Дон Педро». Накануне Альфред Исаевич позвонил ей, сообщил, что газета послала его «для обследования положения на Волге» и что он остановился на два дня в Москве.

– Был бы страшно рад повидать вас, Людмила Ивановна.

– Я тоже очень рада, Альфред Исаевич. Приходите завтра вечером чай пить, часов в девять.

– С величайшим удовольствием.

Люда пригласила его не без легкого колебания. Общей гостиной в ее номерах не было, а уж очень неказиста была ее комната. «Тонышева сюда не пригласила бы», – с улыбкой подумала она. По дороге домой купила печенье и полбутылки дешевого вина; за вином ей всегда разговаривать было легче. Заказала чай и велела горничной не стлать на ночь постель, – «я сама постелю попозже». Впрочем, Певзнера к «мужчинам» не причисляла. Знала, что он обожает свою жену, оставшуюся в провинции впредь до того, как он «станет на ноги»; постоянно о ней говорил, писал ей письма каждый день, посылал регулярно большую часть своего заработка. «Проще было бы пообедать с ним в ресторане, но незачем вводить его в расходы. При своей галантности, он на меня потратился бы».

Встретились они радостно. Альфред Исаевич из деликатности только вскользь спросил о Джамбуле, – «верно, слышал, что мы разошлись». Спрашивал Люду о здоровье, об ее занятиях, о кооперации. С гордостью говорил о своих успехах:

– Могу без ложной скромности сказать, что мои репортажи оценены нашей редакцией, как и вообще в газетных кругах. И весной я перевожу жену в Петербург! Недавно у нее был.

– Я очень за вас рада, Альфред Исаевич. Что же вы будете «обследовать» на Волге?

– Очень печальные события. Там орудует какая-то шайка разбойников. И говорят, она в сношениях с большевиками! Теперь ведь и не разберешь, кто грабитель и кто идейный человек. Чего стоил один этот Соколов!

Сердце у Люды забилося.

– Какой Соколов?

– Разве вы не знаете? Соколов-Медведь! Тот самый, который организовал взрыв на Аптекарском острове. Ведь вы, конечно, читали мои репортажи об этом деле?

– Я не знала, кто это сделал.

– Он, он! Страшный человек!

– Так он только других посылает на смерть, а сам жив?

– Да нет же! Он был арестован на днях на улице и на следующий же день повешен, в порядке этих новых военно-полевых судов!.. Что с вами, Людмила Ивановна?

– Нет, ничего решительно, – не сразу выговорила Люда. Вино пролилось на скатерть. – Повешен?

– Повешен. Вы знаете, у него была любовница или жена, Климова. Красавица! И, представьте, дочь члена Государственного Совета! Отец умер с горя! Подумайте, из такой семьи! Она тоже арестована.

– И казнена?

– Еще нет, предстоит ее процесс. Я знаю все подробности. После ареста она попросила, чтобы ей оставили какой-то шарф, который был на ней в тот день, когда она вышла за него замуж. Это было удовлетворено. Она страстно его любила. Он был не только писанный красавец, но еще магнетизер.

– Откуда вы знаете?

– Мы, репортерская элита, все знаем. Я могу вам даже сообщить одну поразительную вещь, о которой писать невозможно. Представьте, через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове он стал писать страстные письма дочери Столыпина, той, что чудом спаслась!..

– Письма дочери Столыпина! Зачем?

– Он предлагал встретиться с ним! Этот человек был так уверен в своей магнетизерской силе, что надеялся убедить барышню убить ее отца!

– Не может быть!

– Это неслыханно, но это так. Я знаю из самого верного источника. Пожалуйста, не оглашайте этого.

– Но как же?.. Если он предлагал ей встретиться, то, значит, давал свой адрес?

– Давал адрес конспиративной квартиры! Был, значит, уверен, что она властям не скажет. И самое поразительное, он в этом не ошибся! Она сообщила отцу об этих письмах, но адреса не указала. По взглядам она, разумеется, правая и обожает своего отца, но не хотела выдавать на смерть доверившегося ей человека. И Столыпин признал ее поведение правильным! Странная душа у русских людей! Эх, пролили вы вино. Ничего, это замоют. Белое вино пятен не оставляет.

– Пятен не оставляет, – сказала Люда.

III

Тифлисские террористы обычно собирались в одном и том же ресторане Тилипучури. Это было неконспиративно, но они знали, что местная полиция очень плоха, да и не слишком усердно их арестовывает. Ремесло полицейского было в ту пору, особенно на Кавказе, столь же опасно, как ремесло террориста.

Кавказский наместник, граф Воронцов-Дашков, был человек либеральных взглядов. Он любил кавказцев, как их всегда любили русские люди, с легким оттенком благодушной насмешки, относившейся к кавказскому говору. В молодости он сам три года воевал с горцами, помнил, что тогда в армии ни малейшей враждебности к ним не было и что в русской литературе, от Пушкина и Лермонтова до Толстого, вряд ли есть хоть один антипатичный кавказец. Война давным-давно кончилась, все же наместник смутно, почти бессознательно, рассматривал террористов двадцатого века как несколько худшее повторение горцев Шамиля.

Он с террористами, разумеется, не встречался, но с главарями умеренных социалистов старался кое-как «поддерживать человеческие отношения»! Иногда заключал с ними негласные соглашения, тотчас впрочем становившиеся гласными. Так, в пору столкновений между армянами и татарами передал социал-демократической партии пятьсот винтовок для вооружения поддерживавших порядок рабочих дружин, под честное слово меньшевика Рамишвили, что винтовки будут возвращены властям по миновании надобности. Так, перед ожидавшимся приездом царя на Кавказ, взял с революционеров честное слово в том, что покушений не будет. Не думал, что такое соглашение вполне обеспечивает безопасность императора; но, по его мнению, оно на Кавказе обеспечивало ее лучше, чем полицейские меры. Воронцов-Дашков был противником казней и находил, что все равно виселицей не запугаешь чеченца или ингуша. Вдобавок он стал почти фаталистом после убийства Александра II: от судьбы не уйдешь.

Его любили три царя. Правительство же очень его недолюбливало. Однако древнее имя графа, его огромное богатство, независимость человека, ни в ком для себя не нуждавшегося, даже его барская внешность и манера одинакового обращения с людьми, а всего больше личная близость к царю внушали осторожность правительству; оно по возможности не вмешивалось в его методы управления Кавказом. Взгляды наместника, быть может, немного сказывались и на действиях полиции. Но и по простой осторожности сыщики старались не заглядывать без крайней необходимости в такие места, как ресторан Тилипучури. Холодное оружие было на Кавказе у всех, очень много было револьверов, немало изготовлялось и примитивных бомб. «Положительно каждый ребенок может из коробки из-под сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, годный для взрыва его няньки», – писал современник.

Вероятно, Департамент полиции уже тогда знал, что руководит издали экспроприациями сам Ленин. Может быть, знал и то, что для этого из партийного Центрального комитета выделен небольшой, еще более центральный комитет, настолько секретный, что о самом его существовании долго не знали виднейшие социал-демократы.

В этот комитет, кроме Ленина, входили только два человека: Красин, он же «Никитич», он же «Винтер», он же – почему-то «Лошадь», и Богданов, имевший полдюжины псевдонимов: «Максимов», «Вернер», «Рахметов», «Сысойка», «Рейнерт», «Рядовой». Служащие Департамента полиции не очень интересовались моральными свойствами революционеров: «все канальи!» (некоторые, быть может, добавляли: «да и мы тоже»). Но именно этих двух большевиков заподозрить в терроре было трудно: один занимался не то философией, не то наукой, не то еще черт знает чем; другой был видный инженер, загребавший деньги в торгово-промышленных предприятиях и никак не «Лошадь», а очень умный и ловкий делец. Люди же, по их поручению руководившие непосредственно террористическими делами на Кавказе, известны: Джугашвили и Камо.

О Камо на Кавказе рассказывали и легенды, и анекдоты. О Джугашвили же и революционеры знали не очень много, а говорили еще меньше. Непонятным образом этот человек, так страстно влюбленный в саморекламу, позднее ею занимавшийся тридцать пять лет с небывалым в истории успехом, в молодости почти ничего о себе не сообщал даже близким товарищам: вероятно, всех подозревал в провокации. По еще гораздо более непонятным причинам, о своих кавказских делах почти никогда не рассказывал и впоследствии, когда мог это делать совершенно безопасно.

Уже стемнело, когда Джамбул неторопливо подошел к ресторану. Бросил взгляд в открытое окно. Друзинников не было. «Где же они сегодня?» – спросил себя он. Понимал, что никто не останется в этот вечер дома в одиночестве, – разве Коба? «У него вообще нет нервов». Джамбул прошел дальше и, убедившись, что подозрительных людей нет, вернулся. «Пора поесть, с утра ничего не ел», – подумал он.

В этот день он рано поутру, взяв в манеже лучшую лошадь, выехал верхом далеко за город и где-то в глухом месте леса упражнялся в стрельбе из револьвера. Еще лет пять тому назад с пятнадцати шагов попадал в туза. Теперь прикрепил к дереву листок бумаги, раза в три больший, чем игральная карта, и два раза подряд промахнулся. Это очень его раздосадовало, хоть для завтрашнего дела большая меткость была не очень нужна. «Конечно, от бессонницы! – сердито подумал он. – Да бессонница-то от чего! Кажется, не в первый раз иду на опасное дело, и прежде спал хорошо...» Взял себя в руки, стал стрелять лучше. Перед последним выстрелом загадал: «Если промахнусь, то, значит, дело провалится». Не раз загадывал и дома, пользовался и картами и монетой. Выходило разное, но одно было и без карт ясно: все равно отказать уже нельзя, это значило бы себя опозорить.

Да еще ему иногда казалось, что загадывать собственно следовало бы о другом: *нужно* ли это дело? Сомнения у него были давно, а с некоторых пор все усиливались. Иногда он даже себя спрашивал, не объясняются ли они страхом смерти? Друзья говорили, что он совершенно бесстрашен: просто не понимает, что такое страх. Эти слова до него доходили и доставляли ему радость. Все же он думал, что тут есть преувеличение: людей, никогда не знавших страха, не существует. «Соколов и Камо самые храбрые из всех, кого я видел, но, вероятно, и они страх испытывали».

На этот раз он попал в листок, даже в самую его середину, и свои упражнения закончил: взял с собой только одну запасную обойму; да и не годится перед делом стрелять *тринадцать* раз. «Семь попаданий из двенадцати. Недурно, но прежде было бы лучше».

Прежде, приезжая на Кавказ хотя бы из Парижа, он всегда очень оживлялся и веселел. Теперь этого не было. Обычная шутовость его почти покинула. Он был настроен серьезно и даже несколько торжественно. «Да, вполне возможно, что завтра убьют. Ну, убьют, одним Джамбулом будет меньше, только и всего... Думал, что прошло для меня то время, когда перед опасными делами я подводил какие-то жизненные итоги. Оказывается, не совсем прошло», – говорил он себе. Думал о престарелом отце: как он об этом узнает!

Думал иногда и о Люде. Сохранил о ней приятное воспоминание. Ничего о ней толком не знал. В Петербурге при прощании она не попросила его писать (просто забыла), и это его задело. Тем не менее он послал ей из Тифлиса письмо. Чтобы как-нибудь ее не подвести, написал без подписи, измененным почерком, и своего адреса не указал. Ответа, таким образом, быть не могло. «Впрочем она все равно верно не ответила бы из гордости». Больше не писал. Едва ли не первый раз с четырнадцатилетнего возраста вообще о женщинах думал очень мало.

В ресторане было пусто и душно, пахло жареным луком и свежеразмолотым кофе, – он очень любил оба эти запаха. В глубине комнаты сидел Камо, очевидно, только что пришедший. Перед ним на столике не было ни еды, ни напитков. «Ох, и нарядился же, дурак этакий!» – подумал Джамбул. На головорезе были темно-красная черкеска, белый шелковый беш-

мет, сафьянные чувяки; ножны шашки и кинжала были густо украшены бирюзой, серебром, слоновой костью. На стуле лежала белая папаха. «Хорошо еще, что не надел в июне бурки и башлыка! Нет ли при нем и бомбы? Впрочем, бомбы пока что у них отобрал Коба. Этот что угодно, но никак не дурак!»

Еще раз быстро и почти незаметно оглянувшись по сторонам, он поздоровался с Камо и сел против него за столик.

– Не сиди, слуши, спина к двери. Как будешь драться, если вбегают фараоны? – спросил Камо. Он говорил по-русски почти так, как в глупых анекдотах изображают кавказцев. Другого общего языка у них не было. Татарским оба владели плохо.

– Не сидеть же мне за маленьким столиком рядом с тобой? Если вбегут фараоны, пожалуйста, сообщи мне.

– Когда сообщи? Фараон быстро бегаёт. Потеряешь полминуту, пропал. Нельзя потерять полминуту, – сказал Камо, плохо понимавший шутки.

– Хорошо, буду знать. Сзади есть черный ход. Фараон любит бегать и через черный ход. Не догадался?

– Не догадался, – удивленно признал Камо. Это прозвище ему дал Джугашвили: получая поручения, тот спрашивал: «Камо отвезти?..» «Камо сказать?»

Джамбул, как всегда, смотрел на него с ласковым любопытством. Только с ним теперь и говорил шутливо. Знал его дела, обычно ему удававшиеся, и не понимал, как и почему они удавались. «Он и конспиративного дела не понимает! Очевидно, инстинкт заменяет ему ум, как у львов или тигров». Он знал много террористов. Самым замечательным считал Соколова и немного жалел, что этот казненный человек не был кавказцем. В тифлисском деле участвовали только кавказцы. «Все смельчаки и удалыцы и все много умнее его, а главная роль все-таки будет его, и это, пожалуй, правильно».

– Водку пил?

– Не пил.

– Выпьешь со мной? Может, в последний раз пьем.

– Может, последний раз, – равнодушно подтвердил Камо. – Одну рюмку буду пить. Больше перед завтра нельзя. Молоко буду пить. Вино не буду пить.

– Отчего? Коба не велел? Сам Ленин немного пьет. Любит, говорят, итальянское.

– Не любит. Я в Куоккала привез вино. Целый бурдюк с Кавказа привез. Я тогда был флигель-адъютант. Ехал в первом классе. Жаль деньги, а надо. Один стерва генерал удивился. Спрашивает о при дворе. А я знаю о при дворе? Очень заругал кадетов. Генерал доволен, но удивлялся. Хорошо, стерва скоро сошел на станции. Привез Ленину бурдюк. Благодарил. Ленин вино не любит, но Богданов любит. Так был доволен, так был доволен! А Ленин мне бомбы давал. Красин готовил. Я тоже готовил. Он знает химию! Я помогал. Хорошие бомбы.

– Столыпинские?

– Столыпинские, – подтвердил Камо. Так назывались бомбы новой конструкции, впервые пущенные в ход на Аптекарском острове.

– Так... Есть что будешь? Шашлык любишь?

– Шашлык люблю. Миндальный пирог люблю. Ты платишь свои деньги? Деньги партии не смей. Тогда сыр.

– Свои, свои. У меня партийных никогда не было и не будет. И завтра, если выйдет дело, ничего себе не возьму.

– А я себе возьму? Ты дурак!

– Другие, может, и возьмут, а?

– Слуши, хочешь – убью!

– Не хочу. Да, наши, знаю, не возьмут, они почти все хорошие люди, а другие еще как брали. К водке что будешь есть? Я угощаю, от отца получил, сегодня денег жалеть нечего. Какую закуску любишь?

– Всю люблю. Мало. Сыр с тархуном.

Джамбул подозвал хозяина и, все обдумав, заказал обильный ужин («может, последний в жизни»): балык, икру, шамаю, кобийский сыр с тархун-травой, чахокбили, шашлык, миндальный пирог, графин водки, бутылку лучшего кахетинского вина.

– Теперь рассказывай, только не ори, – сказал он негромко, когда хозяин отошел. – Видел Пацию?

– Видел Пацию, – ответил Камо, предпочитавший отвечать, когда было можно, словами вопроса. – Анету тоже видел.

– Обе следят за кассиром?

– Обе следят за кассиром.

– Кто повезет деньги?

– Повезет деньги два. Кассир и счетчик.

– Молодые? Семейные?

– Не знаю.

– Как их зовут?

– Кассир Курдюмов. Счетчик Головня.

– Много денег?

– Анета Сулахелидзе говорит: миллион. Пация Галдава говорит: триста тысяч.

– Хороши бабы сведенья! Едут в фаэтоне?

– Едут в фаэтоне.

– Какая охрана?

– Другой фаэтон.

– Да ведь не сам фаэтон будет охранять. В фаэтоне-то кто?

– Пять стрелки. Галдава говорит: всегда пять стрелки.

– Неужто не будет казачьего конвоя?

– Будет казачьего конвоя. Позади будет. Впереди будет.

– Много казаков?

– Много казаков. Не знаю, сколько много.

– Ох, немало людей перебьем, если нас не укокошат раньше. У них жены, дети... Значит, больше ничего узнать бабы не могли?

– Бабы не могли, и ты и я не могли.

– В плане перемен нет?

– Зачем перемен? Хороший план.

– Что думает твой Коба?

– Коба приказ дает, а что думает, кто знает?

– Это так. Он всегда врет.

– Не смей говорить: Коба врет!

– Да он в жизни не сказал ни слова правды: просто не умеет.

– Слуши. Хочешь, убью! – сказал Камо, и лицо у него стало наливаясь кровью. – Ленин вот! – Он поднял руку высоко над головой. – Потом Никитич. – Он понизил руку. – Потом Коба. – Его рука еще немного понизилась. – А потом ты, я, все. – Положил руку на стол.

– Спасибо. А ведь твой Коба раньше был меньшевиком, хотя тщательно это скрывает.

– Нет большевики, меньшевики. В Стокгольме Ленин объединился.

– Скоро разъединился.

– Не разъединился. А Коба никогда не был меньшевик. Всегда большевик.

– Был, был меньшевиком. У нас на Кавказе все были, – возразил Джамбул, любивший его дразнить.

– Ты врешь! Убью!

– Нет, пожалуйста, не убивай меня. Убей лучше кого-нибудь другого. Кстати, маузер всегда при себе носишь?

– Всегда. Без нельзя.

– Ну и дурак, – сказал Джамбул, впрочем тоже не расстававшийся с револьвером. – О чем еще с Лениным говорил?

– Провокаторы говорил. Ленин думает провокаторы. Красин тоже думает. Я предлагал план. Пойду ко всем товарищам. Три человека возьму, хорошие. Возьму с собой кол. Крепкий. Спрошу: ты провокатор? Если провокатор, сейчас посадим на кол. Если испугается, значит тоже провокатор. Хороший большевик ничего не испугается. Ленин не хотел. Красин тоже не хотел. Ругался. Очень ругался. «Ты, говорит, дикарь и болван!» Ленин смеется. Значит, правда. Я знаю, что я некультурный... Я по-русски хорошо говорю?

– Превосходно.

– Грамматику не знаю. Ничего не знаю. Писать не умею. По-грузински, по-армянски умею. Плохо. Арифметику совсем не умею, – сказал Камо со вздохом. – Некультурный. Дикарь. Дед был ученый. Священник.

– Неужели священник?

– Хороший, ученый. Я сам был верующий, ах, какой верующий! Много молился. Потом перестал, научили товарищи. Меня Коба учил. Всему учил. Спасибо. А учился плохо. Отец был пьяница. Он жив, но давно меня выгнал. От него я и некультурный.. Ну, говорим дело.

– Рассказывай.

Они заговорили о завтрашних действиях. В плане перемен действительно не было.

– ...Начнем на доме Сумбатова.

– Кто же, наконец, сбросит с крыши первую бомбу? – Это единственное, что еще не было решено.

– Не твое дело, кто бросит. Коба знает, кто бросит. Не ты.

– Он мне сегодня же скажет. Это «мое дело», такое же, как его, – раздраженно сказал Джамбул. – Я рискую больше, чем он.

– Не больше, чем он. И ты не нужен, Коба нужен.

– Я другого мнения... А что, это правда, будто тебя уже раз вешали?

– Вешали. Стервы поймали, сразу вешали. Я всунул. – Он прикоснулся к подбородку. – Что это называется?

– Подбородок?

– Подбородок веревку всунул. Не заметили. Пьяные. Противно было. Ушли стервы. Я развязался. Удрал. Не вешали. Подбородок месяц болел.

– Приготовил на завтра чистокровного рысака?

– Не скажи чистокровного. Скажи чистопородного. Штатский говорит чистокровного, кавалерист говорит чистопородного. Мне русский офицер сказал. Здешний. Драгун. Скажешь чистокровного, сейчас увидят: не русский офицер, – с удовлетворением пояснил Камо.

– Неужели увидят? А то ты как две капли воды москвич... Ну, что ж, постарайся на твоём рысаке не попасться под бомбу. Лошадь жалко. Значит, ты и завтра будешь в мундире?

– В мундире.

– Ну, и опять дурак. Ох, боюсь, напутаешь. Лучше уступил бы твою роль мне.

– Не уступил. Это ты дурак.

– А какой ты это орден нацепил? Купил на Армянском базаре?

– Купил на Армянском базаре.

– Купил бы Андрея Первозванного, – посоветовал Джамбул и спохватился: «Еще купит!»

– Не Андрея Первозванного. Коба сказал: Станислав третьей степени с мечами и бантом. Если кто был на японской войне два сражения, тот Станислав третьей степени с мечами и бантом. Ты не знаешь. Коба знает.

– Коба все знает. А что он сам будет завтра делать? Тоже будет палить с площади?

– Не будет палить с площади. Его убьют, кто останется?

– Конечно, конечно. Он волнуется?

– Не волнуется.

– Злой как черт?

– Злой, – согласился Камо, подумав. – Но не как черт. Жена помер.

– Я знаю. Правда, что она была верующая и терпеть не могла социалистов? Он любил ее?

– Так любил, так любил!

– А я, правда, не думал, что он может кого-нибудь любить. Иремашвили говорил мне, что был на кладбище. Он сам – Сосо, и Кобу, по старой памяти, называет Сосо. Были друзьями. Так вот Джугашвили ему сказал, приложив руку к груди: «Только она смягчала мое каменное сердце. Теперь ненавижу всех! Так пусто, так несказанно пусто!» Я переспрашивал. Клянется, что так, дословно... Значит, Кобе нельзя палить с площади? Его жалко?

– Тебя не жалко. Меня не жалко. Коба жалко.

– Правильно, – сказал Джамбул. «На него и сердиться нельзя», – подумал он, смотря на собеседника в упор. Глаза у Камо были непонятным образом хорошие, мягкие, печальные. – Ну, хорошо, а когда схватишь на площади мешок, кому отдашь?

– Кобе отдам, Ленину отдам. Красину отдам.

– Этим можно. Джугашвили денег не любит, это правда. Но где их будут хранить пока что? Ведь за границу переправить не так просто.

– Не твое дело.

– У Кобы была хорошая мысль. Он говорил мне. Хочет спрятать в Тифлисской обсерватории. Он там служил, кажется, лакеем, что ли? Знает там каждый угол. Хочет положить в диван директора. Умно!

– Спроси Коба.

– Это умно, – повторил Джамбул. Мысль ему нравилась преимущественно своей оригинальностью: обсерватория! С усмешкой подумал, что Коба не доверит денег одному человеку: «Либо сам отвезет, либо пошлет несколько человек, так украсть труднее». – Я еще хотел бы его повидать перед делом. Поедешь со мной?

– Не поеду. И адрес не дам.

– Адрес я знаю и без тебя, – сказал Джамбул.

Простившись с Камо, Джамбул вышел из ресторана и опять осмотрелся. Возвращаться домой ему не хотелось. Идти к Кобе было в самом деле поздно, да собственно и незачем. «Не надо было бы нынче ночевать дома. Да от судьбы не уйдешь. Во всяком случае живым не дамся... На что Ленин потратит деньги? Неужто хоть часть пойдет на журнальчики? Тогда очень нужно было идти на такое дело!.. Очень может быть, что завтра погибну. Стоило ли?»

Он вдруг вспомнил о взрыве на Аптекарском острове. Читал газетные отчеты с еще более жадным любопытством, чем Люда, чем все; с первой же минуты понял, чьих рук это было дело, и знал всех его участников. Теперь, не в первый раз, представил себе, как эти безвестные, бессловесные молодые люди, почти столь же преданные Каину, как Климова, – как они едут в ландо на Аптекарский с Морской, как мысленно отмечают повороты – осталось еще два? нет, три! – как всматриваются в названия улиц, в номера домов, как считают минуты остающейся жизни, как перед дачей в последний раз смотрят на землю, на небо, на людей, на извозчика, ими тоже обреченного на смерть.

«Нет, на это я пойти не мог бы! – вздрогнув, подумал Джамбул. – Велика разница между *возможной* смертью и смертью *верной*, без малейшей, без самой ничтожной надежды на спасение!» Подумал об аресте и о казни Каина. «Как мог он в последнюю минуту не покончить с собой? Не успел, этот Геркулес! Что, если не успею и я!.. Все же есть надежда, есть и смысл. Добудем миллион, будет восстание, и Кавказ освободится. Только это одно отделяет наше дело от обыкновенного уголовного грабежа, но этого одного достаточно... Да, если погибну, жизнь пойдет дальше точно так же, так, как шла всегда, только я о ней ровно ничего не буду знать, ни о чем. И люди даже не вспомнят, ни в какую историю не попадешь. Разве кто-нибудь когда-нибудь еще вспомнит о Соколове, а он, при всем своем бездумии, при всем своем бездушии, был сверхгерой, не чета Лениным и Плехановым?»

Эриванская площадь была безлюдна в этот поздний час. Он смотрел на дом, с крыши которого неизвестный ему человек должен был завтра бросить первую бомбу. В верхнем этаже жили три княжны, известные в тифлисском обществе; о них ходили благодушные анекдоты. «Может быть, *он* уже на крыше? Это было бы благоразумнее, чем подниматься при утреннем свете». Догадывался, что этот человек поднимется со двора по лестнице или по трубам.

Подошел к воротам и попробовал. Они не были затворены. Джамбул осмотрелся и заглянул в слабо освещенный двор. К нему спиной, глядя на крышу, стояли два человека. Один был в косоворотке и в сапогах. Джамбулу показалось, что это Коба. «Как все-таки я могу работать с этим человеком!» – подумал он. Точно вид Кобы мгновенно химически проявил те сомнения, которые у него назревали не первый день и не первый месяц.

IV

Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городские были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей, и, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее тифлисский прокурор обвинял в легкомыслии полицеймейстера, а полицеймейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора.

«Теоретики» экспроприации предпочитали называть их «боями гражданской войны», любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили, по «Войне и миру» или по бесчисленным газетным цитатам с «Die erste Kolonne marschirt», о диспозиции Вейротера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае они тщательно выработали подробный план дела на Эриванской площади: Чиabriшвили, Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе, Чичиашвили и Эбралидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами, Далакишвили и Какриашвили на полицейский отряд у здания городской управы, Ломинадзе и Ломидзе на караул у Вельяминовской улицы, и т. д.

Однако экспроприации не так уж похожи на бои, они длятся не целый день и не несколько часов, а разве три-четыре минуты, и науки о них уже во всяком случае не существует. «Соотношение сил» экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти или десяти или даже двадцати казаков. Собственно, самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эриванская площадь, людная, центральная, расположенная поблизости от дворца наместника. По ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти беспрерывно, военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа, у банков, на углах каждой из выходивших на площадь улиц.

Руководители дела, не слишком дорожившие чужой и даже собственной жизнью, на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв: с раннего утра Камо в военном мундире, со свирепым видом, ходил по площади и вполголоса, вставляя в свою русскую речь «ловкие таинственные замечания», советовал людям уходить поскорее. Мера была довольно бессмысленна: на смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, и этот странный офицер, по логике вещей, если бы такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городского. На самом деле он никаких подозрений не вызвал, благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, которой сам стоя правил (что тоже едва ли часто делали офицеры).

Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13 июня, в 10 часов утра, кассир тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получают в почтово-телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк, на Баронскую, мимо Пушкинского сквера, через Эриванскую площадь и дальше по Сололакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами, — они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман, в отличие от многих других экспроприаторов, не брали: все отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России.

Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело: деньги из столицы приходили в Тифлис часто. Распорядителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и счетчику приставлены караульный Жиляев и довольно большой наряд из солдат и казаков.

Вероятно, из экономии фаэтоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали их; это было небезопасно, да и ненужно: они были запечатаны в двух огромных пакетах, 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того, кассиру было дано еще 465 рублей незапечатанных. Эти Курдюмов счел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок, затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаэтонам, в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаэтон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жилиев и два солдата. В третьем⁵⁶ еще пять солдат. Казаки разделились: часть скакала впереди фаэтонов, часть позади, а один казак сбоку от первого фаэтона, со стороны дверец.

Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Галдава дала знать о приближении казаков Степко Инцирквели. Этот сигнализировал Анете Сулаквелидзе, гулявшей перед зданием штаба, а она подала знак Бачуа Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой (что было последним общим сигналом) и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам.

С крыши дома на углу площади и Сололакской улицы была брошена первая бомба, за ней последовали другие, бросавшиеся с разных сторон, тотчас началась отчаянная пальба из револьверов – и наступил хаос, в котором уже было никак не до диспозиций. Из-за дыма почти ничего и не было видно. Люди рассыпались по сторонам кто куда мог.

С Гановской улицы на площадь примчалась пролетка Камо. Держа вожжи левой рукой, он стоял на подножке, стрелял во все стороны из револьвера и выкрикивал страшные ругательства. По «диспозиции» ему полагалось схватить в первом фаэтоне мешок с деньгами. Но и найти фаэтон было нелегко. Станным образом он остался цел. Кассира и счетчика выбросило силой взрыва на мостовую, казак был убит.

Камо почти никогда в жизни не терялся и уж никак не мог бы растеряться в тех случаях, когда действовал по определенному приказу. Ни малейших сомнений он не испытывал ни до экспроприации, ни после нее: Ленин постановил, Никитич помогал, Коба организовал, – значит, о чем же тут судить? Думать вообще было не его делом. Теперь на площади он действовал почти исключительно по инстинкту. Быть может, он единственный был совершенно спокоен, несмотря на грохот бомб, на пальбу, на дикие крики. Отчаянно кричал и ругался он не от злобы или волнения, а просто потому, что это входило в технику таких дел: так в старину конница неслась в атаку с воем и с ревом.

Справа из облака дыма выскочил Бачуа Купрашвили и побежал к Сололакской. В облаке как будто на мгновение обрисовался фаэтон, но тотчас грохнула новая бомба и его опять заволокло дымом. «Упал! Убит Бачуа! – подумал Камо. – Но мешок! Где мешок!..» И в ту же секунду он увидел, что к Вельяминовской, там, где дыма было меньше, с мешком в руке бежит, с необычайной, неестественной, нечеловеческой быстротой, Чиabriшвили. Это было уж полным нарушением приказа. Камо быстро повернул пролетку и помчался за ним. Успел, однако, подумать, что Бачуа, быть может, только ранен. Вернуться в пролетке было невозможно. «Другие подберут!»

Через несколько минут он, отобрав у Чиabriшвили мешок, вошел в конспиративную квартиру. Там уже было несколько других экспроприаторов. Он окинул их взглядом, бросил мешок на пол и яростно закричал:

– Где Бачуа?

⁵⁶ В свидетельских показаниях есть, впрочем, разногласия. Раненный, чудом уцелевший Курдюмов показал, что нанял только два фаэтона: «Лошади были серые, сиденье было покрыто синим сукном, без чехла, внизу красный ковер, физиономии фаэтонщиков не помню». – *Автор*.

– Убит!.. Сейчас придет!.. Ранен!.. Не знаю!.. – отвечали задыхающиеся голоса. Диспозиция не предусматривала вопроса, что важнее: мешок или товарищ? Но достаточно было ясно, что мешок гораздо важнее. Однако лицо у Камо налилось кровью. Он осыпал товарищей исступленной бранью. Вдруг дверь отворилась и на пороге, держась окровавленной рукой за голову, появился Бачуа. Камо, против всякой конспирации, что-то закричал диким голосом – и вдруг пустился в пляс.

Купрашвили, еле справляясь с дыханием, объяснял, что на мостовой потерял сознание лишь на полминуты, затем вскочил и прибежал сюда. Его слушали очень плохо. Все говорили одновременно, о том, что делали, что пережили. Все кричали, что надо говорить потише: люди на улице могут услышать. Камо что-то орал, продолжая плясать. Кто-то поднял мешок, положил на стол и начал растягивать кольцо. Мгновенно сорвавшись с пола, Камо, как кошка, прыгнул к столу. Он верил товарищам, знал, что ни одного вора между ними нет, но Коба велел принести пакеты не распечатанными: Джугашвили верил товарищам меньше.

Впрочем, на конвертах были написаны цифры: «180.000», «70.000». Не выпуская пакетов из рук, Камо прочел надписи. Попытался сложить в уме, другие помогли: «250.000». Восторг был общий, хотя некоторые ждали, что будет миллион. Камо опять пошел плясать, держа над головой по пакету в каждой руке.

– Сделано!.. Революция!.. Теперь освободимся!.. – говорили люди. Один из экспроприаторов сказал, что все разыграно как по нотам. Так в этот день говорили все в Тифлисе, кто с восхищением, кто с яростью. А на следующий день то же самое писали газеты во всей России.

Джамбул не все помнил из подробностей дела на Эриванской площади, самого страшного в его жизни. Такие пробелы в памяти у него изредка бывали, когда он выпивал за ужином две или три бутылки вина. В *делах* же этого с ним до сих пор не было ни разу.

По плану он должен был застрелить городского, стоящего у дверей Коммерческого банка; сам это выбрал, – не хотел стрелять в кассира или счетовода, чего, впрочем, товарищам не сказал. И действительно, как только он увидел бегущего с развернутой газетой Купрашвили, он, не торопясь, вынув из кармана револьвер, направился к банку. Городовой, еще молодой, безбородый блондин, по-видимому, великоросс-северянин, стоял к нему вполборота, с любопытством глядя на приближавшийся конвой. Джамбул помнил, что выстрелил тотчас после взрыва первой бомбы, еще до того, как фаэтон заволочло дымом, – и не понимал, что случилось. Не попасть в человека с шести или семи шагов он не мог, просто *не мог*. Помнил, что целился в голову: пуля маузера должна была тогда убить наповал. Вместо этого городской, совершенно невредимый, что-то отчаянно закричал, повернулся и выхватил свой револьвер. В ту же секунду на площади начался хаос. И сам не помня как, он оказался шагах в тридцати от дверей банка, за газетным киоском.

Помнил, что еще два раза выстрелил в облако около фаэтона и тоже, наверное, никого не убил. Помнил позднее, что и не хотел попасть. Помнил, что несколько секунд бессмысленно смотрел на висевшие на стенке газеты: «Голос Кавказа»... «Тифлисский Листок»... Вдруг он увидел, что на него несется с поднятой нагайкой казак на гнедой лошади. Самообладание мгновенно вернулось к Джамбулу. Он сделал несколько шагов вперед и выстрелил. Лошадь поднялась на дыбы, пуля попала ей в шею. Он остановился. Как раз грохнула и оглушила его другая бомба. Кто-то, держась за бок, что-то крича, с искаженным лицом, пробежал мимо него. Казак не вставал. «Фаэтон должен повернуть на Сололакскую, – вспомнил Джамбул и побежал в ту сторону. – Нет, разбит, конечно, фаэтон!.. Что сейчас делать?» С минуту он стоял неподвижно, все еще полуоглушенный. Затем сорвался с места, побежал к киоску. Казака больше не было. «Его счастье!» Издыхавшая гнедая лошадь судорожно билась на боку в луже крови. Ему на всю жизнь запомнились ее карие глаза с расширившимися белками. И дальше следовал в памяти провал: он старался и не мог вспомнить, сколько времени еще оставался на площади и что именно там делал.

Пришел он в себя на боковой широкой улице. По мостовой бежали люди, что-то страшно крича и толкая друг друга. Он подумал, что бежать не следует, и пошел по тротуару обычным, разве только чуть ускоренным шагом. Подумал, что дальше надо свернуть направо и что до конспиративной квартиры очень близко. «Я не хотел ее убивать... Зачем поднялась на дыбы?... Убил для ленинских журнальчиков... Кажется, убиты десятки людей... Но не мною... Как я мог промахнуться в городского!..» Вдруг все рванулись с мостовой на тротуары и в подворотни: навстречу по направлению к площади неся эскадрон драгунского полка. «Эх, хороши кони!.. Зачем она поднялась на дыбы?..»

Выстрелов больше не было слышно, но со стороны площади еще доносился неясный гул. Улица была почти пуста. Джамбул свернул вправо и дошел до конспиративной квартиры. Хотя окна были затворены, слышались крики, шум, смех. Что это с ними? Взбесились?..» В другое время ему, быть может, понравилось бы кавказское молодечество и презрение к опасности. Теперь он с минуту послушал и пошел дальше.

Неподалеку был бедного вида духан. Хозяин на пороге очень бледный и возбужденный уже, видимо, собирался затворить дверь. Подозрительно оглянул Джамбула, хотел было не впустить его и впустил. Быстро и сбивчиво что-то говорил. «Пятьдесят? Не может быть, чтоб было пятьдесят жертв!..»

Не вступая в разговор, он потребовал водки и выпил у стойки одну за другой несколько рюмок. Еще подумал вяло, что это может вызвать подозрение: «Утром никто так водку не хлещет...»

– Коньяк есть? – спросил Джамбул и, узнав, что есть только русский, но хороший, Шустовский, велел налить – не в рюмку, а в чайный стакан. Выпил залпом. Хозяин смотрел на него с тревогой. Он заплатил и, пошатываясь еще больше прежнего, вышел. «Да, да... Ничего красивого... Не кавалерийская атака в раззолоченных мундирах... Пойдет на ленинские журнальчики... Не чистая кровь, а смешанная с грязью... Гораздо больше, чем война... Может быть, вся жизнь была ошибкой... Может быть, очень может быть», – бормотал он на улице.

V

От отца из Турции, по условленному адресу, пришли деньги и новое письмо. Старик настойчивей, чем обычно, просил сына приехать, жаловался на здоровье тоже больше, чем обычно, говорил, что непременно хочет еще раз его увидеть, ссылаясь на необходимость привести наследство в порядок. Джамбул и прежде получал такие приглашения и все откладывал. «Любит жаловаться, как все старики. Может, что-то слышал и беспокоится». Они переписывались не часто. Едва ли старик толком знал, чем собственно занимается сын. Джамбул неопределенно говорил, что участвует в борьбе за независимость Кавказа. Это отец мог понять и даже должен был этому сочувствовать.

В первые дни после экспроприации Джамбул никого не видел из террористов. Читал газеты и очень много пил, хотя был уже спокоен. Никакой слезки он за собой не замечал и еще убежденнее, чем прежде, думал, что русская полиция плоха и вдобавок насмерть запугана, особенно на Кавказе.

Обедал он в ресторанах в центре города и каждый раз выходил на Эриванскую площадь. Окровавленная гнедая лошадь, ее глаза с расширившимися белками не выходили у него из головы. Возвращаясь домой, он читал до поздней ночи; проходя по Головинскому проспекту, купил наудачу книги: петербургский толстый журнал, Шекспира в русском переводе, «Воскресение» Толстого. Думал, что надо, непременно надо съездить к отцу. Уехать можно было легально, паспорт был вполне надежный. Он любил отца, но всегда говорил себе, что «покоить старость» совершенно не умеет. «Все-таки он прежде так тревожно о себе не писал. Неужто помрет! Останусь на свете один, как перст...»

В этот вечер он рано лег и положил на широкую кровать все три купленные книги. Сначала не читал. Думал об отце. Думал о деле на Эриванской площади. Думал о Ленине: «То-то обрадуется, с неба свалились большие «деньжата!» – сказал он себе и поморщился еще сильнее: уж очень не подходили тут слова «с неба». Спать не мог, несмотря на большое количество выпитого вина; снотворных он никогда не принимал и почему-то боялся. Наудачу открыл книгу Шекспира. Выпала скучная пьеса «Цимбелин». Он взял журнал. С досадой заметил, что приказчик ему подсунул старый, залежавшийся номер.

Из хроники он узнал, что в России за год убито 733 человека, повешено 215, расстреляно по приговору военного суда 341, казнено по новому военно-полевому суду, только за полтора месяца, 221. «Может, скоро будет не 215, а 216 повешенных, – подумал он и опять мысленно повторил: – Одним Джамбулом меньше или больше, не все ли равно?» Часто так говорил себе, но сам понимал, что говорит неискренно: этот «один» имел для него некоторое значение. В хронике еще сообщались цифры убитых людей, названных «представителями власти»; они были никак не меньше. «Да, три дня тому назад ни одного «представителя власти» к этой статистике не прибавил и слава Богу!»

Он прочел в журнале также что-то длинное и скучное о «Партии демократических реформ», о профессоре Максиме Ковалевском, о недавно скончавшемся адвокате Спасовиче. «Нравы общественные страшно дичают, – недавно писал нам из Варшавы Владимир Данилович, – взрывы бомб, выстрелы, грабежи и убийства совершаются каждый Божий день и на улице...» Прежде такие слова вызвали бы у Джамбула просто насмешку: он не любил либералов, причислял их всех к «Деларю». «Благоденствовали всю жизнь, никогда, ни разу не рискнули своим драгоценным существованием». Теперь ничего такого не подумал. Отложил журнал и раскрыл «Воскресение».

Эту книгу читал до глубокой ночи. Любил Толстого как художника, к его мыслям относился еще более насмешливо, чем к мыслям либералов: «Просто старческое слабоумие». Сцена церковной службы в тюрьме его очень задела. «Нет, это все-таки чистое богохульство. Он не

имел права насмеяться над чужой верой, и сам никакой веры не имел: верующий не мог бы так писать и о церковных обрядах. Но какие тяжелые, страшные слова!» – думал он, засыпая.

И тотчас разные фигуры, проходившие в его уме в последние дни и часы, смешались, завертелись, зажили самой нелепой, бессмысленной жизнью. Ленин писал статейки на окровавленных ассигнациях. Отец, с большим, осунувшимся лицом, лежал на кровати и ждал не приходившего врача. Окровавленная гнедая лошадь въезжала в сад его дяди, весь залитый солнцем, и хрипя, объясняла, что служить не может, так как ее убил Джамбул пулей в шею. Дмитрий Нехлюдов ей объяснял, что тут судебная ошибка: Джамбул никогда лошади не убивал и не убьет. Спасович в «Тифлисском Листке» предлагал, что будет защищать Катеньку Маслову за тысячу рублей: «Это всего десять катенок, а у Курдюмова взято гораздо больше». Ленин отрывался от статей и насмешливо говорил, что ни одной катеньки не даст, и на восстание не даст ни гроша, все нужно на журнальчики, фига вам, товарищи, под нос...

Он проснулся от стука в дверь. Не сразу пришел в себя. В его комнату вошла молодая горничная, всегда на него с улыбкой поглядывавшая, и почтительно доложила, что его к телефону требует светлейший князь Дадиани. Джамбул, оторвавшись от жаркой подушки, с минуту смотрел на нее выпученными глазами. Затем вспомнил, что под этим именем в Тифлисе жил Камо.

– Скажите, пожалуйста, что сейчас спущусь, – сказал он. Горничная приятно улыбнулась и вышла. Он надел великолепный шелковый халат, купленный еще в Париже, на Вандомской площади, вспомнил о Люде, которой этот халат очень нравился. «Удобно ли спускаться в халате вниз? Ничего, сойдет. Еще рано, внизу никого нет». В самом деле не было восьми часов. «Мог бы, дурак, позвонить позднее».

– Здравствуй, светлейший, – сказал он. – Что случилось? Рановато звонишь.

Камо ответил, что его хочет в десять часов видеть один человек. «Конечно, Коба», – догадался Джамбул.

– К «камо» приехать? К «немо»?

– К немо, – подтвердил Камо и повесил трубку, не дожидаясь ответа, точно в согласии Джамбула не могло быть ни малейшего сомнения. Джамбул пожал плечами. «Назло приеду с опозданием!»

Однако опаздывать в их работе не полагалось, и он приехал ровно в десять, оставив извозчика далеко от дома, в котором жил Джугашвили. Хозяин, совершенно спокойный, встретил его со своей обычной усмешкой. «Ох, не могу его видеть!» – подумал Джамбул.

Он давно знал этого человека, совершенно не выносил его и всегда при встречах с ним испытывал смутное чувство, будто находится в обществе настоящего злодея. Никогда *этого* Кобе никому не говорил и даже сам себя упрекал за необоснованное и потому несправедливое суждение: многое знал о Джугашвили, все же не такое, что давало бы основание считать его злодеем: «Самое большее, негодяем». Ему иногда казалось, что такое же чувство испытывают и другие хорошо знающие Кобу люди и тоже этого не говорят: что-то в самой его внешности внушало людям осторожность. «Ну, уж я-то его не боюсь!» – подумал Джамбул, и тотчас в нем еще усилилась злорадность и раздражение.

В комнате были Камо, в том же наряде, при том же темно-красном с золотом орденом, и женщина в белом, грязноватом, дешевеньком платье. Джамбул помнил, что ее зовут Маро Бочаридзе и что она в дружине работает на ролях тифлисской мещанки. Он учтиво с ней поздоровался. Коба посмотрел на него с усмешкой и небрежно подал ему руку.

– Здравствуй, бичо, – сказал он. Это слово, означавшее «парень» или что-то в этом роде, и особенно усмешечка Кобы раздражили Джамбула еще больше: «Вы, мол, маленькие людишки, а вот я великан». Между тем, при всей своей хитрости и смелости, он очень серый человек довольно плюгавой наружности, вдобавок грубый и природной, и наигранной грубо-

стью: «Думает, что это действует на всех. Нет, на меня не действует. Впрочем, со мной он груб не будет: знает, что это небезопасно».

– Очень рад тебя видеть, бичо, – ответил он. Коба тотчас от него отвернулся и заговорил с Камо, который восторженно на него смотрел. Смотрела ему в глаза и Маро, она скорее со страхом, чем с восторгом. Коба говорил по-русски гораздо лучше, чем Камо, гораздо хуже, чем Джамбул.

– Так, разумеется, и сделаешь, – *приказал* он. Предположение Джамбула подтвердилось: Джугашвили поручал им *вместе* отвезти в обсерваторию деньги: они были зашиты в новый большой диванный тюфяк, лежавший на полу в комнате Кобы.

– Поедешь ты и Маро на одном извозчике, а *он* за вами на другом. Зачем ты сдуру нарядился офицером! Это тюфяк перевозить! Сейчас же переоденешься.

Камо робко-почтительно, частью по-русски, частью по-грузински, объяснил, что он о предстоявшей перевозке тюфяка не знал. Выразил также мнение, что лучше было бы перевезти тюфяк вечером, когда стемнеет.

– Я твоего мнения не спрашиваю. Сделаешь, как я говорю! – прикрикнул Коба. Камо тотчас закивал головой. Испуганно кивала головой и Маро. Джамбул вмешался в разговор:

– Тюфяк мог бы перевезти любой кинто, – ласково сказал он, – как будто ни к кому не обращаясь. – Постороннему человеку не грозила бы опасность: в случае ареста он объяснил бы, что его наняли, и доказал бы свое алиби. Тогда как Камо, если схватят, то повесят. Правда, кинто мог бы указать адрес квартиры, где получил тюфяк, – как бы наивно добавил он. В глазах Кобы скользнула злоба. Он занес в память слова Джамбула, но сдержался и, очень непохоже изобразив на лице добродушную улыбку, сказал:

– Тебя я прошу поехать за ними на другом извозчике. У тебя револьвер с собой?

– С собой, бичо. Хорошо, я поеду за ними. Разумеется, на небольшом расстоянии, а то они могут стащить деньги и удрать, – невозмутимо сказал Джамбул. Лицо Камо вдруг стало зверским.

– Слюши! – сказал он. Коба тотчас прервал его и столь же добродушно засмеялся.

– Он, конечно, шутит. Вот что, понять мое распоряжение нетрудно. Ты и она отнесете заведующему тюфяк. Затем спуститесь в залу. Там в одиннадцать часов астроном показывает дурачью всякую ерунду. Послушайте в толпе, вместе с толпой и выйдете. Вас не заметят. Если по дороге в обсерваторию на вас набросится полиция, стреляйте, разумеется, до последнего патрона и бегите в квартиру на Михайловскую. Разумеется, с тюфяком! – внушительно сказал он. – А на обратном пути ты, дурочка, пойдешь пешком одна. У тебя револьвера нет, отделаешься тюрьмой. А вы оба как хотите, стреляйте или не стреляйте. Тебе, Камо, все равно виселицы не миновать. За старые грешки. А против тебя улик нет, – обратился он к Джамбулу. – За ношение револьвера много если сошлют на каторгу. Ничего, папенька в Турции подождет, – сказал Коба, и на его лице снова выступила усмешечка. Джамбул вспыхнул. «И об отце знает! Следит за товарищами!»

– А тебе откуда известно, против кого есть улики и против кого нет?

– «Сорока на хвосте принесла», говорил в Таммерфорсе Ленин, – сказал Джугашвили. Он очень гордился тем, что говорил с Лениным и, как ему казалось, произвел на него сильное впечатление. – По делу на Эриванской ни против кого улик быть не может, значит, и против тебя нет.

– В обсерваторию я поеду, а в Финляндию отвозить деньги не поеду.

– Я тебе и не велю, – сказал Коба. Он давно решил, что деньги отвезет Камо: ему верил.

– Ты ничего мне *велеть* и не можешь!

Коба, не отвечая, опять обратился к Камо. Кратко и ясно повторил свою инструкцию; знал, что Камо с одного раза не понимает. «Да, свое дело он знает, это правда. Но отроду не

видел человека, который был бы мне так противен», – думал Джамбул, внимательно слушая. Закончив объяснение, Коба встал. «Аудиенция кончена!» Тотчас встали Камо и Маро.

VI

Седобородый астроном в чесучовом пиджаке показывал обсерваторию небольшой группе посетителей и устало давал привычные объяснения:

– Человек, портрет которого вы видите на этой стене, великий астроном Николай Коперник. Он родился в тысяча четыреста семьдесят третьем году, умер в тысяча пятьсот сорок третьем. Его долго считали немцем, но это неверно: Коперник был поляк. Он открыл, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Работал он при помощи параллактического инструмента, состоявшего из трех деревяшек с делениями. Эти деревянные впоследствии перешли в собственность другого знаменитого астронома Тихо де Браге, который хранил их, как священнойшую реликвию в истории науки, и написал о них стихи. Говорил в стихах, что Земля производит такого человека раз в тысячелетие: он остановил Солнце и бросил в движение Землю. Сам же Коперник долго не решался опубликовать свое открытие: боялся преследований католической церкви и еще больше того, что все над ним будут насмехаться. Опубликовал он свою бессмертную работу только незадолго до смерти. Он посвятил ее папе Павлу III, но, как еретическая, она была включена Конгрегацией в пресловутый «Индекс». Хотя этот великий человек был верующим, все же, быть может, только чудо спасло его от костра, – говорил астроном, по-видимому, недолюбливавший католическую церковь. – Его гениальное произведение называется: «*De revolutionibus orbium coelestium*»⁵⁷. Копернику поставлен в Варшаве памятник работы Торвальдсена...

Слово «*revolutionibus*» остановило внимание Джамбула. «И тут какая-то революция, – да не та». Он взгляделся в худое измученное лицо с падающей по обе стороны головы густой копной волос. «Да, лицо не как у Кобы... Кто его знает, какой он был человек и что он о жизни думал?.. Так он был верующий? Неужели во все верил? И в загробную жизнь верил? А надо думать, был человек поумнее меня, с Камо и Сосо и даже с Лениным в придачу! Если б у меня была настоящая вера, выбрал бы себе не такую жизнь. Что же я тогда делал бы? Деревяшки с делениями не для меня, никаких талантов у меня нет. Но когда же, почему, зачем я выбрал такое нечеловеческое существование? Независимость Кавказа? Да ведь править им скорее всего будут разные Кобы, и что же я буду от себя скрывать, они в сто раз хуже, чем Воронцовы-Дашковы. А такие люди, как Цинцадзе или Рамишвили, они в сущности те же либералы, не столь уж отличающиеся от Спасовичей и Ковалевских. Едва ли они придут к власти, если и будет революция, как не придут к власти в России Ковалевские. И потому именно не придут, что они культурные, а не звери!» – подумал он, сам удивляясь тому, что так быстро изменилось его отношение к революции. «Все-таки не из-за гневной же лошади!»

Астроном сказал, что осмотр кончен. Посетители направились к выходу. Джамбул опять при выходе осмотрелся и пошел на Эриванскую площадь, все тем же старательно-неторопливым шагом, которым теперь ходил по городу. Тело его было собрано и напряжено на случай внезапного нападения. С револьвером он после экспроприации не расставался, хотя это было нецелесообразно: улик против него действительно не было, и в случае ареста он, вероятно, повешен не был бы.

На мостовой на том месте, где упала первая бомба, стояло несколько человек. Один что-то объяснял, показывая на вывороченные камни. Джамбул послушал. «Да, это, вероятно, пятно от крови. Здесь упал тот казак, что скакал около фаэтона... Но не я убил его. Кроме нее, я никого не убил...» Он прошел к газетному киоску, остановился там, где стоял тогда, опять увидел «Тифлисский Листок». Сделал несколько шагов, взглянул на *то* место – и вдруг почувствовал себя нехорошо.

⁵⁷ «Об обращениях небесных сфер» (лат.).

В ресторане «Аннона», где всегда бывало множество людей и где не было ни одного случая ареста, он отдышался. Есть почти не мог, но пил вино, слушал струнный оркестр. За соседними столиками люди говорили о своих делах. «Об этом надо очень и очень подумать», – сказал один из них. «Да, и мне надо очень, очень подумать. Быть может, вообще мало думал о жизни, о самом главном. Теперь поздно. Хотя почему же поздно? Поговорить не с кем. Каба животное. Камо герой. Все уверяют, будто он добр, а он собирался сажать людей на кол. Как странно, что он был религиозен! Теперь, конечно, издевается над верой: Каба научил... Да, я состарился и не заметил этого... Надо возможно скорее поехать к отцу», – мелькали у него бессвязные мысли.

По дороге домой он зашел к тому человеку, по адресу которого приходили письма. Была только телеграмма из Турции. Он поспешно ее распечатал, разорвав края на складке. Старый друг извещал, что отец скончался ночью во сне без страданий.

Очевидно, заведующий обсерваторией сочувствовал экспроприаторам. Впрочем, мог, хотя это маловероятно, и не знать, что находится в новом тюфяке его дивана. Через некоторое время Джугашвили все из тюфяка извлек, а Камо отвез Ленину в Куоккалу. Теперь он путешествовал уже не в первом, а во втором классе и был не флигель-адъютантом, а только прапорщиком.

Крупская и Богданова зашили деньги в стеганный жилет своего товарища Лядова. «Он очень ловко сидел на мне, – писал Лядов, – без всяких осложнений деньги были перевезены нелегально через границу».

У Государственного банка, однако, оказались номера похищенных пятисотрублевых, и они тотчас были сообщены по телеграфу всем полициям Европы. Менялись пятисотрублевки по частям в разных западных банках. При попытках размена были арестованы Литвинов, Семашко, Равич и некоторые другие большевики. Таким образом, маленький центральный комитет, то есть Ленин, Красин и Богданов, лишился немалой части денег.

Кроме того вышли неприятности с меньшевиками, которые подняли «агитацию, что не следует иметь ничего общего с мошенниками». Они ругали Ленина и Камо самыми ужасными словами. Но Ленин был не слишком огорчен неприятностями. Под его диктовку Крупская приписала к его частному письму об этом деле: «Меньшевики уже подняли тут гнусную склоку. Устраивают тут такие гнусности, что трудно даже верится... Сволочь?»

Часть пятая

I

В восемнадцати километрах от Парижа, в красивой долине у реки Иветт, лежит местечко Лонжюмо. В нем, как в любом городке Франции, есть очень старая готическая церковь; местечко уходит в глубокую древность. Когда-то тут шли какие-то битвы и был заключен какой-то мир между католиками и гугенотами. Больше, чем они, прославила городок оперетка Адана. Но о мире и войнах давно забыли жители городка. Теперь занимались в малых размерах промышленностью, торговали хлебом, медом, овощами, разводили скот, по вечерам собирались в кабачках, пили, играли в карты и в домино, а в десятом часу ложились спать.

Весной 1911 года Центральный комитет Российской социал-демократической партии снял в Лонжюмо старенький ветхий домик с сараем и основал там партийный университет, с учащимися и вольнослушателями. Всего училось в нем восемнадцать человек; преимущественно это были рабочие, приехавшие из России и обязавшиеся тотчас после окончания курса вернуться на родину для подпольной пропаганды. Партия их содержала, правда, очень скромно, и оплачивала переезд. Секретных агентов Департамента полиции, как оказалось после революции, было среди слушателей всего трое.

Меньшевики – Мартов и Дан, – к большому удовлетворению Ленина, отказались преподавать в университете и даже его бойкотировали. Он стал чисто большевистским учреждением. Для чтения лекций в Лонжюмо переселились Ленин с женой и тещей и Зиновьев; приезжали из Парижа и другие партийные светочи. Ленин читал три курса: «Карл Маркс и буржуазные теории политической экономии», «К аграрному вопросу в России», «Теория и практика социализма»; Зиновьев читал историю партии, Луначарский – историю искусства, Каменев – историю буржуазных партий в России, и что-то еще читали Стеклов, Шарль Рапопорт, Станислав Вольский. Среди преподавателей были очень ученые люди, вроде Рязанова; все старались читать общедоступно, но вряд ли слушатели много понимали. По требованию Ленина, они записывали лекции, он задавал вопросы, правил ответы. Увлекался делом и был вообще так весел, как никогда прежде.

Переселилась в Лонжюмо и новая партийная работница Инесса Арманд. О ней в партии много сплетничали. Она была человеком другого мира. Отец ее был англичанин, мать француженка. Выросла она в семье богатых фабрикантов. В нее влюбился и женился на ней молодой Арманд, сын главы фирмы. В его имении она устроила школу для детей. Интересовалась общественными вопросами, работала в Московском обществе улучшения участи женщин, примкнула к большевикам и в 1909 году, расставшись с мужем, взяв с собой ребенка, эмигрировала. Одни в Париже и в Лонжюмо считали ее красивой, другие только «еле хорошенькой», указывая, что лицо у нее асимметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем ее любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции: неожиданно в нее влюбился Ильич! Главный спор в сплетнях шел преимущественно о том, «живет» ли он с ней или же роман платонический?

Она старалась сблизиться с товарищами, понять и усвоить их политический жаргон, но боялась их и чувствовала, что они ей чужие. Только Каменев, когда не говорил о меньшевиках и Троцком, и Луначарский, когда не говорил о Ницше или Ибсене, немного походили на людей ее прежнего общества. Еще больше боялась она учеников школы в Лонжюмо: рабочих прежде видела только на фабриках своего мужа, – там бывала очень редко: так ей было их жалко. С рабочими она в школе разговаривала особенно ласково и пыталась от них не отличаться по языку и по манерам. Это не очень ей удавалось.

Школа находилась на главной улице городка. В ветхом домике было тесно. Инесса, с сыном Андрюшей, поселилась в комнатухе под крышей; рядом с ней жили три вольнослушателя. Другие учащиеся разместились в местечке где могли. Ленин с Крупской и тещей жили у сдававшего комнаты французского рабочего. Обедали же все вместе в столовке, устроенной Катей Бароновой в кухне дома и в коридоре. Лекции читались в сарае, в котором прежде была столярная мастерская. Своими силами сколотили длинный стол, достали табуреты и несколько стульев. По требованию Ленина, мусор вынесли, сарай кое-как привели в порядок.

Инесса Арманд в самом деле очень быстро повысилась в чине: стала «членом президиума парижской группы содействия партии». Она была очень полезна, преимущественно трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков. В Лонжюмо читала «историю социалистического движения в Бельгии»; но оттого ли, что эта история уж совершенно не интересовала рабочих, или по другой причине, прочла всего три лекции. Правда, Крупская не прочла ни одной.

Ленин был на всех лекциях Инессы; это была редкая честь, тотчас оцененная в доме: на лекции других преподавателей он ходил редко, а когда читали Луначарский или Рапопорт, обходил сарай за версту. Объясняли это тем, что историей искусства Ильич не очень интересуется, к Луначарскому относится благодушно-иронически, а «Хаима» недолюбливает. Слушатели, даже шпионы, напротив, очень любили веселого, жизнерадостного, вечно острившего Рапопорта, – он забавлял малограмотных людей не меньше, чем забавлял Анатоля Франса. Но его русскую речь они понимали плохо и часто называли его «Хаимом», – им кто-то сообщил, что его так звали в России. Луначарский, многозначительно поднимая палец, объяснял им, что Рапопорт – голова, что он в самых дружественных отношениях с Франсом, – это такой знаменитый писатель, – и с Жоресом, тем самым, – «ах, какой оратор, мне за ним не угнаться». Ленин не говорил ни о Рапопорте, ни об его друзьях, – друзья были скверные: Жорес – «Дрекеноссе» не лучше Эдуарда Бернштейна; книги же Франса, во-первых, какие-то романы, а главное, буржуазная скептическая ерунда, просто человеку нечего сказать.

Когда Инесса Арманд кончила свои лекции, Ленин поручил ей семинарий по политической экономии. В доме шутили, предполагая – быть может, не без основания, – что Инесса о политической экономии не имеет никакого понятия. Однако она и с этой задачей справилась добросовестно, как добросовестно делала все: по вечерам, когда Андрюша засыпал, до поздней ночи при свече читала учебники и даже что-то выписывала из «Капитала». Ильич бывал и на семинарских занятиях. Хотя кое-чем оставался как будто не очень доволен и «дополнял», но хвалил Инессу, сомневавшуюся в своих силах. Крупская на ее лекциях и практических занятиях не бывала.

Сплетники на этот раз не ошибались: Ленин по-настоящему влюбился, – вероятно, в первый и в последний раз в жизни.

Тремя годами позднее он – не очень ясно – писал Инессе Арманд:

«Даже мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логичное ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов *грязны*. Согласен. Им надо противопоставить... что? Казалось бы: поцелуи с *любовью*? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) – выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский (кажись п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви – пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, *если уж непременно хотите*, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых *типов*, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в

браке и чистых в мимолетной связи, – эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь *гвоздь в индивидуальной* обстановке, в анализе *характеров* и психики *данных* типов). А в брошюре?»

В этом странном письме о любви, с какой-то брошюрой и с пунктами пятым и шестым, говорится также о пролетариате, о смущении рабочих, об объективной и классовой точке зрения. Он писал ей то на «вы», то на «ты». Во всяком случае это *единственное* письмо Ленина, где тему составляют любовь и поцелуи.

Крупская столь неожиданную для нее историю приняла с достоинством. Относилась к Инессе Арманд корректно; позднее предложила, что уйдет от мужа и предоставит ему свободу. После некоторого колебания он этого предложения не принял.

Почти «тургеневская» любовь к Инессе едва ли не самое странное в жизни этого человека. Любовь эта никак не была «мимолетной». Он любил Инессу весь остаток своей жизни. Она умерла в России от сыпного тифа в 1920 году. За ее гробом он шел, «шатаясь». Больших должностей она не заняла и после революции. Если бы не Ленин, окольные, вероятно, не явились бы и на похороны. Из-за него они провожали ее к могиле и испуганно на него смотрели: сейчас упадет в обморок.

II

Любовь не мешала делам, или мешала им очень мало. Дела были в большинстве прежние. Были и некоторые новые. Сотрудников, помощников, окольных стало больше; больше стало и врагов. Но состав и тех и других, как всегда, был текучий, беспрестанно меняющийся. Теперь он особенно поносил именно тех, к кому прежде относился мягче или даже совсем хорошо. Так, Потресова называл подлецом, болваном и жуликом. Врагом стал и Богданов, еще недавно очень близкий. Его он возненавидел не столько по политическим, сколько по философским причинам.

Прежде Ленин охотно признавал свое философское невежество. В два года, проведенные им в России и в Финляндии, ему было не до философии. Но когда осенью 1907 года он вернулся с женой за границу, он принялся за изучение философских трудов и стал писать книгу против «распроклятых махистов» и против «философской сволочи» вообще. Поклонники недоумевали: вздумал старик писать об ерунде, да еще в такое время, когда меньшевики делают всякие гнусности! Ленин говорил о своем «философском запое», но это слово не следует понимать в обычном русском смысле: работал он очень регулярно, читал, делал выписки. Все философы, кроме материалистов, внушали ему отвращение. Философией стали заниматься и некоторые его соратники во главе с Богдановым. И тотчас он их возненавидел, рассорился с ними и всех их признал «богоискателями» и «богостроителями». У него образовалось нечто вроде личной вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого подозревал в «поповщине». Выражал надежду, что Горький исправится под влиянием своей жены: «Она, чай, не за Бога, а?»

«Философский запой» никак не мешал ему заниматься и практической политикой. «Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием «Буря в стакане воды» и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из (падких на сенсацию) групп эмигрантской колонии. Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это – тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем было до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны. Но склока отпадет; склока остается на $\frac{9}{10}$ за границей; склока, это – аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения», – писал он из Парижа за год до школы в Лонжюмо.

Едва ли писал вполне искренно. Вопреки распространенному мнению, склока в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли Ленину было тошно от нее, от маеты и накипи: он все это любил, это было издавна частью его жизни. И не так уж быстро шло тогда вперед развитие партии и социал-демократического движения. Скорее было верно обратное, и он не мог этого не видеть. «Интеллигенция бежит из партии. Туда и дорога этой сволочи», – писал он.

Работе опять мешало безденежье. Он писал, что денег нет ни у него лично, ни (что было для него всегда гораздо важнее) у Центрального комитета. Савва Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только не находил денег, но и не искал их. «Это мастер посулы давать и очки втирать», – говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце.

В этом безденежье есть все же нечто не совсем понятное. Несмотря на частичные провалы при размене денег в европейских банках, от большой суммы, похищенной при тифлисской экспроприации, немало осталось в кассе Центрального Комитета. По-видимому, тысяч 80 или 85 попало к богдановской группе «Вперед». Ленин называл людей этой группы «жуликами» и бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч – «от эксов».

Были и еще другие поступления в кассу. Какой-то англичанин сдуру, под обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую сумму займа с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования «ростовщичеством». Долг был возвращен после октябрьской революции, да и то не сразу после нее, а в 1922 году.

Появились и «матримониальные деньги». Таратута и Андриканис с полной готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеализировал. Называл лучшего из двух «сутенером». Но, по-видимому, надеялся, что они хоть часть приданого отдадут партии. Действительно «сутенер» отдал больше двухсот тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень щедро: получил какую-то незначительную должность, работал при французских коммунистах в России – официально переводчиком, а по уверению одного из них, наблюдателем из ЧК. С другим женихом вышло гораздо хуже. Он уехал с молодой женой в Париж, там «буржуазно переродился» и убедил жену, что передавать партии наследство ее брата незачем. Ему грозили убийством, говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на «суд чести», с тем, чтобы судьями были люди из других партий или же беспартийные. Этот «суд чести» состоялся; львиная доля приданого осталась за молодоженом, но все же и от него кое-что перепало в партийную кассу.

Таким образом деньги должны были в кассе быть. На восстания они не отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные журнальчики стали платить гонорары. Однако требования с разных сторон шли немалые. Они иногда раздражали Ленина. Троцкий «хочет устроить на наш счет, негодяй, всю теплую компанийку «Правды!» – сердито писал он в редакцию газеты «Социал-демократ».

Были впрочем и хорошие признаки будущего. Где-то произошли студенческие волнения. «Что студентов начали бить, это, по-моему, утешительно», – говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Плеханов, тактику которого он теперь считал «верхом пошлости и низости», был тоже раздражен чрезмерным восхвалением Толстого (хотя оба были поклонниками). Появилась и надежда на новый союз с Плехановым. «Будем мы *сильны* – все придут к нам».

Он думал об Инессе – и неприятности как рукой снимало. Все заливалось светом. Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел.

Сообщение с Парижем поддерживалось трамваем к Одеону, ходившим редко и медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в Национальную библиотеку или по другим делам, на велосипеде. В Лонжюмо был и дамский велосипед, но Инессе Арманд было совестно им пользоваться: он принадлежал Крупской. Два раза в неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников. Летом, вдвоем, сидя на траве, они обсуждали подготавливаемую Каменевым грозную брошюру против меньшевиков: «Две партии». Ленин хохотал при удачных полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупская участия в этой работе не принимала. Не приходила и Инесса: это было бы тоже неловко, да она все-таки еще недостаточно разбиралась в такой работе; привыкла с ранней юности к другим книгам. Ленин все ей рассказывал, когда, после скудного обеда в столовке Кати Бароновой, Крупская с матерью возвращались к себе. За столом строго-печальное выражение на лице тещи, взгляды, бросавшиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у французского рабочего обе женщины, верно, плакали: кто мог бы такое предвидеть? Иногда по вечерам устраивались импровизированные концерты. Один из рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент Малиновский, шпион Департамента полиции, пел «Дубинушку». Ленин и все другие подтягивали. За забором не без удовольствия слушали соседи-французы. Немногочис-

ленные музыканты местечка имели, конечно, партитуру «Le Postillon de Longjumeau»⁵⁸. Рабочий разучил знаменитые куплеты. Инесса Арманд смущенно пела: «Depuis ce temps dans le village – On n’entend plus parler de lui...»⁵⁹ Слова понимали только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала печальные взгляды.

На окраине местечка, на возвышении с довольно крутым подъемом, был ресторан, посещавшийся преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида он был несколько дороже кофейен на главной улице, и русские эмигранты заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал, что-то писал на бумажке или на полях какой-либо брошюры. Столик занимал долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемый, и таким образом был средний клиент, не очень хороший и не плохой.

Случалось, с ним приходила Инесса Арманд, пугливо оглядывавшаяся по сторонам. Ему очень хотелось как-нибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз заглянул в карту и вздохнул: меньше семи, а то и восьми франков истратить нельзя, – баловство.

Он ей заказывал лимонад, а себе «бок», а то и целый «деми». Становился весел, шутил, писал ей стишки, с рифмами: «ножка», «немножко», «розы», «морозы». Она изумлялась: Ильич и чуть ли не по-старинному – мадригалы! Часто уславливался с ней наперед: сегодня о партийных делах не разговаривать. Тем не менее говорил, – без них долго обойтись не мог. Говорил и о Карле Марксе, книги которого читал чуть ли не каждый день, находя в них все новые глубины. Инесса тотчас скисала, но старалась поддерживать разговор:

– ...Одно только... Мне всегда было странно, что в нем так мало морального элемента. – Она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь такие ученые слова.

Ленин взглянул на нее изумленно: «Ох, все-таки многому еще надо ее подучить».

– Даже ни одного золотничка нет. Этим не торгуем, почтеннейшая.

– Но как же без этого? Ведь мы, Ильич, служим известному нравственному идеалу. Разве вы этого не думаете? – Все еще не решалась называть его на «ты».

– «Известному нравственному идеалу», – сердито повторил он. – Очень у тебя буржуазная манерочка выражаться.

– Я за свои выражения не стою. Но у лучших элементов буржуазии можно кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые...

– Об этом ты лучше поговори с балдой Луначарским! Он тебе и системы изложит, стишок приведет, и цитатку запустит, хоть не поручусь, что не им самим изобретенную.

– Но почему нельзя об этом поговорить с вами, Ильич? Мне давно хочется знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит, и я...

– «Глубинное этическое начало»... «Лучшие элементы буржуазии»!.. Провались они в тартарары, лучшие элементы буржуазии вкупе с худшими! – перебил он ее еще сердитее. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянул вперед руку и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него изменилось и побледнело. Инесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших партийных собраниях и все не могла понять, какой он оратор. Троцкий, например, был признанным «оратором Божьей милостью», – в Петербурге его все так называли; это было как бы даже официальное его наименование. Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не обозначал. Ей казалось, что он обычно десять раз говорит одно и то же, как молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и непонятливых. Но иногда, если его прерывали «возгласами с мест», он вдруг обрушивался на своих противников и тогда гово-

⁵⁸ «Кучер из Лонжюмо» (франц.).

⁵⁹ «И с тех пор о нем в деревне не слышали ничего...» (франц.).

рил так, как Троцкий и Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным, – страшным особенно силой ненависти. В этих случаях у него появлялся и «жест», несколько не актерский, как у большинства ораторов, а самый естественный, почти, как ей казалось, величественный. Однако наедине с ней он никогда так не говорил.

Теперь Ленин говорил о буржуазии, об ее тупости и гнусности, об ее преступлениях, об ее обреченности, о расплате. Как бы мимоходом, впервые при Инессе, он упомянул о казни своего брата, – «где тогда были твои лучшие элементы?». Она еще в семье Армандов слышала, что его брат был повешен. «Но что же можно было сделать для помощи человеку, покушавшемуся на жизнь царя?» – невольно мыслью прежней, давней Инессы подумала она. Ленин говорил, как узнал о казни брата, что тогда пережил. Ей кто-то сказал, будто он был по взглядам чужой брату человек и даже не очень его любил. Она слушала с все росшим волнением, именно как зачарованная. И ей впервые показалось, что она понимает его, чувствует его душу, что он большой человек и во всяком случае большая сила.

Вдруг он на полуслове оборвал свой монолог и злобно на нее уставился, точно по инерции перенося на нее свою ненависть к старому миру.

– Как вы говорите, Ильич!.. Как ты говоришь! – прошептала она.

Он опомнился, вытер лоб чистым платком, откинулся на спинку стула и выпил остаток лимонада из ее стакана (пива у него больше не оставалось).

– Уж будто? – спросил он и положил палец в жилетный карман.

III

До войны жизнь Ласточкина была сплошной цепью успехов.

Его состояние все росло и уже определялось в полтора миллиона рублей осведомленными людьми, у которых были время и охота считать деньги в чужих карманах. Обогащение почти не доставляло ему удовольствия. Он почти ничего для этого не делал. Просто очень росли в цене принадлежавшие ему акции, – теперь уж все говорили в Москве, что Россия стала «второй Калифорнией». Увеличилось и число его должностей в разных торгово-промышленных предприятиях. Дмитрий Анатольевич этих должностей и не искал, ему их навязывали. От sinecur он отказывался, и всякий раз, как соглашался принять звание члена совета в каком-либо учреждении, начинал в нем работать и несомненно бывал полезен. Другие видные люди просто коллекционировали такие места, только приезжали на заседания и высказывали свои суждения. Все ценили бескорыстие, компетентность, энергию Ласточкина. Он давно стал одним из самых уважаемых и популярных людей в деловой Москве.

Развивалась и его общественная деятельность. Собственно, оба эти вида работы не были по существу между собой связаны, но они развивались как бы параллельно. Для общественной деятельности Дмитрия Анатольевича теоретически не имело никакого значения, богат ли он или нет. И тем не менее он ясно, с неприятным чувством, видел, что его общественный вес был бы меньше, если б он не состоял в многочисленных предприятиях, не принимал у себя всю Москву и не жертвовал немалых денег на благотворительность. Никто из людей, приезжавших с подписными листами или с какими-либо билетами, не встречал у него отказа. Так же поступала и Татьяна Михайловна. И всегда просители, выходя от них, говорили друг другу: «Помимо того, что они дали много больше других, которые их побогаче, – как *мил*, по-джентльменски дали!»

Имя Дмитрия Анатольевича теперь часто упоминалось в либеральных газетах. Сам он был к этому довольно равнодушен, но Татьяна Михайловна все больше радовалась его успехам и популярности, помещала в альбом заметки о нем. Иногда не без смущения вырезывала простые упоминания имени мужа в числе участников важного заседания и наклеивала, надписывая название газеты и число.

– Что ж, если вырезать, то все, – говорила она Люде, иногда рассматривавшей альбом, который от наклеек разбух и стал менее красив: как ни аккуратно Татьяна Михайловна их наклеивала, сложенные газетные страницы торчали кое-где из-под кожаного переплета и позолоченного обреза толстых листов. – Может быть, Мите как-нибудь и пригодится: например, понадобится дата заседания?

– А все-таки ты мужняя жена, – ответила Люда, впрочем без малейшей злобы или зависти. Искренно говорила Мите, что «аб-бажает» Таню. Они недавно перешли на «ты».

– Кем же мне быть, как не мужней женой? И что это, собственно, означает? – с недоумением спрашивала Татьяна Михайловна.

И о ней самой изредка попадались упоминания в газетах. В Москве было немало дам, имена которых упоминались еще чаще, чем имена знаменитых адвокатов и профессоров, хотя их заслуги были не очень ясны, да и жертвовали они не так много денег; зато, правда, часто принимали в своих роскошных домах, кто писателей и артистов, кто политических и общественных деятелей. Татьяна Михайловна заметок с упоминанием своего имени никогда не вырезывала. Люда не могла этого не ценить, по контрасту.

– Если б эта перезревшая дура не была так богата, то никто и не знал бы об ее существовании, – говорила она о той или другой из общественных дам. – Ненавижу этот культ богатства!

Ее фамилия в газетах не появлялась, но она тоже была общественной деятельницей, получала уже недурное жалованье, обзавелась собственной квартирой. Жила не так замкнуто, как

прежде, приглашала людей к себе. Никаких увлечений у нее не было. Ласточкины про себя этому удивлялись, и теперь уже скорее грустно.

Порою Дмитрий Анатольевич писал статьи в «Русских Ведомостях». Это само по себе было немалым общественным чином. Из одного его «подвала» по экономическим вопросам были даже перепечатки в петербургских и провинциальных газетах с очень лестными комментариями. Травников сказал Татьяне Михайловне, что ее муж теперь имел бы немалые шансы пройти в Государственную Думу или, по выборам, в Государственный Совет:

– А то, право, барынька, подчас досадно, что ваш богдыхан делает дельные предложения, а tulit alter honores⁶⁰, – сказал профессор. Татьяна Михайловна потребовала перевода цитаты и вечером сообщила мужу мнение «одного нашего приятеля». Имени не сообщила, но по латинской цитате Дмитрий Анатольевич догадался.

– Ты хотела бы?

– Только если б ты сам этого хотел. Жаль, правда, что тогда пришлось бы переехать в Петербург. Нет, уже поэтому я не очень хотела бы. А как *ты* думаешь?

– О Государственном Совете и речи быть не может. Что я там делал бы с сановными старичками! А в Думу, – право, не знаю. Уж скорее пусть наш Алеша баллотируется. Ниночка очень этого хочет. Два члена Государственной Думы от одной семьи – этого уж слишком много, – смеясь, сказал Ласточкин. – Да и оба мы, верно, не прошли бы, если достаточно более заслуженных кандидатов. И от какой партии?

– Кадеты очень тебя зовут, но, я знаю, ты левее кадет.

При очередном письме к Нине она переслала «подвал» Дмитрия Анатольевича, упомянула о перепечатках, привела мнение профессора и даже его цитату. Статьи мужа она всегда пересылала его сестре, обычно добавляя шутливо что-либо вроде: «Препровождаю при сем новый шедевр богдыхана». Нина в ответном письме неизменно говорила: «Статья Мити превосходна», или «И Алеше, и мне чрезвычайно понравилось», или «Алеша читал с еще большим интересом, чем я, и думает, к статье Мити очень прислушаются...». Татьяна Михайловна старалась не замечать невинной и полезной неправды. На этот же раз ответ был восторженный и уж вполне искренний:

«Мысль о Государственной Думе кажется мне прекрасной! – писала Нина Анатольевна. – И, знаешь, потом мы проведем туда и Алешу! Он, правда, слышать не хочет, но я его уговорю, мне уже осточертела жизнь за границей. В его губернии у него есть друзья, сторонники и даже «почитатели». Как было бы хорошо! И прав этот ваш милый чудак. Наши два Аякса пусть, по разу в месяц каждый, показывают с трибуны фигу правительству, а мы с тобой опять будем неразлучны. Жаль, что выборы не скоро и что Государственная Дума в Петербурге, а не в нашей Москве!..»

Ласточкины благодушно читали это письмо, и некоторое время в семье держалась кличка «два Аякса». Рейхелю Татьяна Михайловна статей мужа не посылала. Знала, что он будет только ругаться. Он ненавидел все и всех: социалистов, либералов, консерваторов. Аркадий Васильевич уже был экстраординарным профессором. До Ласточкиных доходили слухи, что товарищи очень его не любят: над всеми издевается и всех критикует, не имея по своим скромным заслугам никаких на это прав.

Все было бы хорошо, если б только было лучше здоровье. Сам Дмитрий Анатольевич ни на что, кроме одышки, особенно не жаловался, но Татьяна Михайловна чувствовала себя нехорошо и старалась скрывать это от мужа. Он что-то замечал и поглядывал на нее с тревогой.

Очень его беспокоили слухи о возможности европейской войны, все более упорно ходившие по России. Думал, что хоть в этом отношении было бы хорошо, если б вернулся к власти граф Витте; разочаровался в нем в пору декабрьского восстания, но имел к нему, как сам

⁶⁰ Почести получает другой (лат.).

с улыбкой говорил, «влеченье, род недуга»: любил очень умных людей, вышедших на верхи собственным трудом и дарованиями.

IV

Тонышев занимал большую должность в венском посольстве. Посол очень хорошо к нему относился, оценил его способности, познания, добросовестность и выдвигал его в докладах министру. В пору отлучек посла доклады «Певческому мосту» составлял он сам, и министр читал их с особенным интересом. В молодом дипломатическом поколении Алексей Алексеевич выделялся и превосходным знанием иностранных языков. Внутренняя переписка в министерстве иностранных дел теперь велась почти исключительно по-русски; это всем было удобнее, хотя некоторые старые дипломаты еще говорили, что по-французски им писать легче. Но в сношениях с иностранными дипломатами Тонышеву нередко случалось писать бумаги по-французски, по-английски, даже по-немецки, и он это делал прекрасно, часто с цитатами, со ссылками на забытые прецеденты. Он нередко посещал «Балльплатц», разговаривал в историческом кабинете Меттерниха с самим Эренталем, который тоже его хвалил.

Поселились Тонышевы в лучшей части города. Сняли большую квартиру и прекрасно ее обставили. Алексей Алексеевич выписал свою обстановку из Парижа. Много мебели они купили. Покупали с толком и с радостью. Имение Тонышева очень повысилось в цене: около него прошла новая железная дорога. Он выгодно продал лес. Продал и почти всю землю: часть – дорого – соседнему сахарному заводу, часть – дешево – крестьянам. Остался только дом с огромным парком. Вырученные деньги он вложил, по совету Ласточкина, в разные акции, которые приносили большой доход и быстро повышались в цене. Средства у Тонышевых теперь были очень хорошие. На деньги, полученные от брата в подарок к свадьбе, Нина Анатольевна, посоветовавшись с мужем, купила несколько рисунков Сезанна.

Оба они хорошо одевались, имели отличного повара, устраивали обеды – и понемногу вошли в высшее общество Вены. Не бывали у них лишь лица из высшей знати, князя Виндишгретцы, Ауерсперги, Шварценберги, – эти ездили в гости только друг к другу, к членам императорской семьи и далеко не ко всем послам. Но однажды Тонышевых посетил один из эрцгерцогов, выразивший желание посмотреть на их Сезаннов. Несмотря на либерализм этого гостя, принимать его надо было по особому порядку. Никакой из разновидностей заметного снобизма ни у Нины Анатольевны, ни у Алексея Алексеевича не было, все же этот визит был приятен, тем более что посол их с ним поздравил, как поздравил бы с орденом или с повышением по службе. Разумеется, бывали у них не только аристократы и сановники, но также писатели, музыканты, банкиры, журналисты. Осведомленные люди сообщили Тонышевым, что еще совсем недавно венское общество строго делилось на три разряда: «Erste Gesellschaft», «Zweite Gesellschaft», «Dritte Gesellschaft»⁶¹, которые почти никогда друг с другом не встречались; но теперь это уже меняется, хотя медленнее, чем в других странах. Алексей Алексеевич тотчас стал звать к себе людей из «третьего общества»; не очень знал, к какому обществу принадлежат они сами.

– Ты к первому, а я ко второму, и то в самом лучшем случае, – скромно говорила Нина.

– По-моему, и я ко второму: у меня нет не только шестнадцати, но и восьми поколений дворянства, – весело отвечал он.

– А у меня и ни одного нет, такой уж ты сделал мезальянс. Так не лучше ли послать все это к черту? Будем общаться с кем нам угодно.

Почти все в австрийской столице больше интересовались театром, обедами, игрой, балами, скачками, маскарадами, чем политикой. От тех же, кто занимался политическими делами и даже ими ведал, Тонышев слышал удивительные суждения. Еще в первое время своего пребывания в Вене он узнал, что у Эренталя есть свой замечательный проект: замена

⁶¹ «Первое общество», «Второе общество», «Третье общество» (нем.).

Тройственного Союза Союзом четырех великих держав: Австро-Венгрии, России, Германии и Франции, с фактическим преобладанием двух первых. Этот союз оказался бы столь могущественным, что мог бы распоряжаться полновластно судьбами мира; вдобавок, он положил бы конец англо-французскому соглашению, сближению между Англией и Россией и какой бы то ни было международной роли Италии. На вопросы Тоньшева, что будет делать такой всеильный союз, зачем он нужен, отчего не привлечь к нему Англию и Италию, почему Франция и Германия согласятся на русско-австрийское преобладание, как и в чем это преобладание будет выражаться, осведомленные люди отвечали соображениями, казавшимися ему уж совершенной чушью: необходимо положить конец интригам Англии на Балканах; надо построить железную дорогу через Ново-Базарский санджак; можно считать обеспеченной поддержку Ватикана, он ненавидит Квиринал, а папа преклоняется перед Вильгельмом II и называет его «*quel Santo Imperatore!*»; без Союза Четырех нельзя разрешить македонский вопрос; в Союзе же Четырех, разумеется, номинально все будут равны, Франция и Германия согласятся, да, может быть, при искустве Эренталя, и не заметят, – объясняли ему осведомленные люди.

Он недоумевал. Было совершенно ясно, что все эти доводы – чистый вздор, но говорили люди неглупые, образованные и, главное, профессиональные дипломаты! И еще более удивительно было то, что бессмысленный план предлагал сам Эренталь, новый Меттерних. Алексею Алексевичу только изредка и то лишь ненадолго приходила мысль: вдруг все эти господа думают преимущественно или даже исключительно о себе, о своей славе, о причинении неприятностей соперникам и – в лучшем случае бессознательно – из кожи лезут, чтобы придумать что-либо *свое*, связанное с их именем и якобы очень полезное их странам? Почти невольно Тоньшев иногда сам старался придумать свой план: этот, разумеется, полезный России без малейшего сомнения.

Впрочем, о плане Союза Четырех очень скоро совершенно перестали говорить, точно такого плана никогда и не было. Заговорили о других столь же странных проектах. Тоньшев видел только, что в Европе с каждым днем становится все беспокойнее: еще года четыре тому назад ни о каких больших войнах и речи не было.

Однако тон влиятельного венского общества нравился Алексею Алексевичу. Еще больше нравился ему древний ритуал Габсбургского двора. Он был представлен императору, который ему, как иностранному дипломату, подал руку. Франц-Иосиф его очаровал. Тоньшев любил старину, – Бург, как все говорили, был последним в Европе, совершенно не изменившимся ее очагом. И главное, австрийский император был настоящей опорой европейского мира.

О возможности войны Алексей Алексевич думал с резким осуждением, хотя, конечно, и он не представлял себе, *какой* может оказаться новая война. Его нелюбовь к «швабам» с годами ослабела. Он находил, что территориальные приобретения никому особенно не нужны, а менее всего России. Его чрезвычайно удовлетворяло, что так же, по общему мнению, думал престарелый Франц-Иосиф. «Да, он никак не гений, и даже не выдающийся человек, но очень многим более ученым и блестящим людям, чем он, не мешало бы у него кое-чему поучиться. И далеко не все так было плохо в старину», – думал Алексей Алексеевич. Как всегда, он много читал, тратил немало денег на книги и переплеты.

В Москве он очень сошелся с Ласточкиными, они теперь стали для него самыми близкими людьми. У них Тоньшевы всегда останавливались при наездах в Россию. В Дмитрие Анатольевиче ему были приятны оптимизм, широкое экономическое образование, деловитость. Сам он ничего в экономике не понимал, не любил романов, где описывались дела, даже не мог дочитать «Деньги» Золя. «А Митя по-настоящему делами увлекается и так рад, что они идут прекрасно и в мире, и у него самого. Тут ничего худого нет. Все мы принимаем как должное те блага, которые нам посылает либо рождение, либо удача, никому не приходит в голову их стыдиться, а он вдобавок все создал своим трудом...» Не меньше ему нравилась и Татьяна

Михайловна. С ней он тоже вел долгие разговоры, преимущественно о музыке, о литературе. Свои взгляды она высказывала мало и даже неохотно, никак не старалась «блистать», но слушала внимательно и с интересом; ее собственные суждения обычно казались ему меткими и бесхитростно-остроумными. При его последнем приезде, в разговоре о политических событиях, она с улыбкой ему сказала:

– Вы, Алеша, всегда говорите еще либеральнее, чем мой богдыхан, но не сердитесь, мне кажется, что в душе вы в отличие от него самый настоящий консерватор и любите только прошлое.

– Дорогая Таня, вы, значит, упрекаете меня в неискренности! Вот не ожидал! Много знаю за собой худого, но не это.

– Совсем не так. Искренность тут ни при чем, это как-то проходит вне искренности или неискренности... Вы помните о министре Уварове?

– О том, что при Николае Первом провозгласил формулу: «Православие, самодержавие, народность»?

– Да, о нем. Я как раз недавно читала в журнале воспоминания знаменитого историка Соловьева. Он описывает то, что называл «оттепелью», то есть время, следовавшее за смертью Николая. И вот он об этой самой уваровской формуле говорит: «Православие? Но Уваров был самый настоящий атеист. Самодержавие? Но в душе он без всякого сомнения был либералом. Народность? Но он за всю жизнь ни одной русской книги не прочел, а писал только по-французски или по-немецки...»

– Вот уж удружили, дорогая, сравнением!

– Не гневайтесь, Алеша. Прежде всего, у вас ведь совершенно обратное. Да и не так, по моему, плохо, если у вас и нет «законченного политического мировоззрения»: оно, слава Богу, у всех теперь есть, даже у людей, которым до вас очень далеко.

– А вот я, назло вам, напишу книгу именно с «законченным политическим мировоззрением».

– О чем?

– О князе Каунице.

– Жаль, я о нем ровно ничего не знаю. Я ведь невежественна.

Тонышев в самом деле давно думал об историческом труде «Князь Кауниц и его русская политика». Сначала добавил было подзаголовок: «Апогей «Кучера Европы», но потом зачеркнул: ему не очень нравилось прозвище Кауница, да и неудобно было помещать кавычки на обложке. Алексей Алексеевич собрал немало материалов, увлекался этой работой, делился мыслями с женой. Она слушала с большим вниманием, одобряла и старалась все запомнить.

Алексей Алексеевич вел и дневник для будущих воспоминаний, и сам говорил об этом с улыбкой, – все дипломаты имеют дневники и готовят воспоминания. Он не был расположен к сплетням и записывал только те, которые имели хоть какое-либо отношение к политике. В международном дипломатическом мире прочно господствовало правило: «Vienne est un poste d'observation de tout premier ordre»⁶². Но в сведениях этого наблюдательного пункта сплетни играли немалую роль.

Больше всего в Вене сплетничали о наследнике Франце-Фердинанде и особенно об его морганатической жене. Тонышевы не менее десяти раз слышали, что «эрцгерцогиня Фридрих» очень хотела выдать за наследника свою дочь и даже считала это решенным делом, так как Франц-Фердинанд стал часто бывать у нее в доме; но внезапно и совершенно случайно выяснилось, что приезжал он вовсе не ради ее дочери, а ради ее фрейлины, чешской графини Хотек; после бурной сцены фрейлина была уволена, – и на ней-то морганатическим браком женился эрцгерцог, к крайнему негодованию императора. Это Тонышев записал не без сочув-

⁶² «Вена – лучший наблюдательный пункт» (франц.).

ствия обеим сторонам: эрцгерцог женился по любви на небогатой и не очень знатной женщине, это было хорошо. Но и в гневе Франца-Иосифа был его древний стиль. Был такой стиль, пожалуй, даже в том, что некоторые австрийские князья ездили в гости только друг к другу. «Глупо, забавно, что же, это старая Австрия».

Вывод из дневника был следующий. Императора все венцы обожают. Наследника, напротив, не любят, – отчасти из-за его брака. Недолюбливают и иезуитов, приписывая им почти суеверно огромную закулисную силу. Старый австрийский дипломат за обедом с ним в клубе, вскользь осведомившись об его религии, весело рассказал ему анекдот: когда-то германский канцлер, принц Гогенлое, в благодушную минуту дал ему совет: «Друг мой, если вы думаете о своем будущем, всячески старайтесь поддерживать добрые отношения с иезуитами и с евреями». – «Я этому мудрому совету всю жизнь и следовал, – смеясь, добавил от себя дипломат, – однако, не скрываю, это было трудно, так как обе силы ненавидят одна другую». Тонышев и это записал и даже при случае вставил в доклад. Впрочем, считал мнение канцлера преувеличенным: иезуитов он встречал мало, но еврейские богачи или артисты у него бывали и, по его впечатлению, так же мало понимали в политике, как их христианские собратья.

Разговорившись с этим остроумным и откровенным дипломатом, Алексей Алексеевич осторожно коснулся общего положения в Европе.

– Войны до тысяча девятьсот тринадцатого года не будет ни в каком случае, – решительно сказал дипломат, – но потом она, по всей вероятности, произойдет.

– Почему вы так думаете? Вы говорите с такой уверенностью! На чем же она у вас основана?

– На предсказании майнцской колдуньи.

– Ах, колдунья, – разочарованно сказал Тонышев. – Я думал, вы говорите серьезно.

– Я говорю очень серьезно... Вы согласны с тем, что войны не будет, если ее не захочет Вильгельм Второй?

– Совершенно согласен.

– Так видите ли, его боготворимый им дед, тогда еще только прусский принц, в тысяча восемьсот сорок девятом году, бежав после революции из Пруссии, зашел в Майнце к знаменитой колдунье. Она сразу назвала его «ваше императорское величество» и предсказала ему, что он в тысяча восемьсот семьдесят первом году станет германским императором. «Почему вы так думаете?» – изумленно спросил принц. Колдунья взяла листок бумаги и сложила число тысяча восемьсот сорок девять с составляющими его цифрами: один, восемь, четыре, девять. Вышло тысяча восемьсот семьдесят один.

– Доказательство совершенно бесспорное. Умная была колдунья, – сказал, смеясь, Тонышев. – Но при чем же тут будущая война?

– Сейчас увидите. Принц, естественно, тогда ее спросил, долго ли он останется германским императором. Она опять сложила тысяча восемьсот семьдесят один, один, восемь, семь, один. Вышло тысяча восемьсот восемьдесят восемь. Как вы помните, Вильгельм Первый умер в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. Он задал колдунье третий вопрос: «Долго ли будет существовать германская империя?» Она произвела такой же подсчет с числом тысяча восемьсот восемьдесят восемь – и вышло тысяча девятьсот тринадцать. Вильгельм Второй знает об этом предсказании и, разумеется, очень боится...

– Даже «разумеется»! Значит, и вы этому верите?

– Не полностью, но верю, – подтвердил серьезно дипломат. – И Вильгельм Второй тоже верит, но не полностью. Он подождет конца тысяча девятьсот тринадцатого года: если германская империя к тому времени не падет, то, значит, колдунья ошиблась, и можно начинать войну с Европой, не рискуя гибелью империи.

Хоть ему было и немного совестно, Алексей Алексеевич и этот рассказ о колдунье вставил в доклад, – правда, в полушутливой форме. Думал, что в Петербурге могут и всерьез заинтересоваться предсказанием.

Особая глава в его дневнике касалась отношения австрийского общества к разным державам. Он находил, что к России, да и к Германии отношение в Вене очень настороженное; союзную Италию и ее союзное правительство почти ненавидят; Англию любят и уважают. Еще больше любят Францию, хотя сожалеют, что ею правят атеисты вроде Комба или Клемансо. О возможности войны говорят легкомысленно, о войне с Россией в его доме, естественно, не говорили, но случалось, влиятельные и осведомленные венцы болтали о войне с Сербией, которую терпеть не могли; Пашича, не стесняясь, называли «старым разбойником». О черногорском князе позднее говорили, будто он перед началом войны очень удачно сыграл на понижение на бирже, для этого и затеял войну.

Служба, книга, дневник заполняли умственную жизнь Алексея Алексеевича. Жену он любил и был счастлив. Тоньшеву казалось, что он живет именно так, как всегда хотел, как полагается жить порядочному и культурному человеку. «Служа России, служу делу мира, и если уж говорить высоким стилем, то в меру сил служу добру», – думал он.

Нина Анатольевна очень хотела быть в жизни верной помощницей своему мужу. Она отлично вела дом, иногда переписывала рукописи Алексея Алексеевича или переводила для него цитаты. Честолюбива она не была, не мечтала о том, чтобы муж стал послом, и даже предпочла бы, чтобы у него была другая, не бродячая, карьера, которая дала бы им возможность жить в России. «Но Алеша честолюбив, он не согласится выйти в отставку и стать просто обывателем или помещиком. И поместья больше нет, да я и сама не хочу жить в деревне. Хорошо было бы, если б его выбрали в Государственную Думу, это в самом деле все устроило бы», – думала она.

Русских знакомых у них было в Вене немного, только дипломаты. Она часто их приглашала, поддерживала с ними хорошие отношения, говорила то, что нужно было говорить, но ей с ними было скучновато. «Не нашего московского круга люди, и даже, собственно, не интеллигенция, Алеша среди них белый ворон», – думала она. Мужа Нина Анатольевна любила не меньше, чем прежде. «Конечно, нельзя сравнивать с Таней и Митей, но ведь они в этом отношении для кунсткамеры». Ее отношение к жизни осталось прежнее, *простое*. Но иногда ей казалось, что этого *простого* отношения как будто стало недостаточно. Детей у них не было, но для них это было далеко не таким горем, как для Ласточкиных. «Да и будут, конечно. Спешить некуда». Все же она теперь испытывала легкую радость, когда узнавала о других бездетных семьях.

По-прежнему она очень интересовалась искусством, в частности архитектурой, знала все дворцы Вены и собиралась со временем написать статью о строениях Хансена. Не без грусти думала, что теперь уж никогда архитектором не будет: только даром училась. Все же в общем и она была довольна своей жизнью.

V

Одноэтажный с плоской крышей дом был расположен не очень далеко от кавказской границы. Снаружи он был неказист, но все его шесть комнат были убраны по-восточному хорошо. Везде были дорогие ковры, низкие диваны, мягкие кресла. На стенах главной комнаты висели фитильные ружья с раскрашенными прикладами, пистолеты, кинжалы, кривые сабли в бархатных ножнах, туры рога в серебре, куски зеленого шелка с вышитыми на них золотом стихами из Корана. Большого комфорта впрочем не было. Освещался дом свечами, правда, не салными, а восковыми, отапливался месяцев десять в году преимущественно солнцем, в холодное же время жаровнями с раскаленным углем. Кухня была в отдельном строении, в большом дворе, в середине которого находился фонтан. Были еще во дворе конюшня, сараи, амбары. Под навесом всегда что-нибудь жарилось или варилось: лепешки, плов, варенье. Впереди дома начинался сад, тянувшийся довольно далеко.

В 1859 году, после падения Ведена и Гуниба, отец Джамбула, подобно многим последним защитникам Кавказа от русских, бежал с женой в Турцию. Сын был тогда ребенком, и взять его с собой было невозможно: это означало бы для него верную смерть. Он был оставлен у дяди в Дагестане.

Отец завел в Константинополе торговлю. При его трудолюбии, честности и практической сметке, она пошла успешно; он нажил немалое состояние. Хотя препятствий не было, на Кавказ больше не возвращался: и делать ему там больше было нечего, и нельзя было бросить торговлю, и не хотелось возвращаться в страну с немусульманским правительством. Прожил он до семидесяти пяти лет, потерял жену и окончил свои дни в собственном имении. На старости лет стал очень богомолен и, когда не работал в саду, читал священные книги. Он получил образование, читал по-арабски, знал и французский язык: был некоторое время переводчиком при Шамиле и оставил эту должность лишь для того, чтобы принять участие в последних боях за независимость.

Вскоре после тифлисской экспроприации Джамбул благополучно перебрался через границу и приехал в отцовскую усадьбу.

Наследство оказалось значительно большим, чем он ожидал. Сначала он предполагал продать имение, взять из Константинопольского банка деньги и уехать. Но увидел, что лучше не спешить: при спешке продажа, наверное, окажется невыгодной. И, главное, ехать ему было собственно некуда. Товарищи по тифлисской работе затевали какие-то новые страшные дела и, разумеется, звали и его. Но он почувствовал, что больше в таких делах участвовать *не может*, не из-за того, что они страшны, – «хотя отчасти и из-за этого, зачем себя обманывать? – но оттого, что они отвратительны!».

Все же, уезжая из России, он еще думал, что, быть может, вернется. И только перейдя границу, с совершенной ясностью почувствовал, как он устал, как переменялся, как измучен и физически и морально.

Уехать немедленно было невозможно, хотя бы из-за оставшихся формальностей по утверждению в правах наследства. Их взял на себя старый друг отца, хорошо знавший законы и обычаи; от платы решительно отказался. «Очень хорошие и честные люди наши мусульмане», – думал Джамбул. Сам он приходил в уныние, когда дело доходило до законов, формальностей, составления бумаг.

Он решил временно остаться в усадьбе. Знакомился со своим имением. В земледелии смыслил тоже очень немного, но все в имении ему понравилось: усадьба, сад, лес, скот. Только лошади – две косматые туркестанской породы – были плохие: отец давно верхом не ездил, катался в коляске на этих лошадях. Джамбул первым делом купил себе кровного арабского жеребца; на арабских лошадях никогда до того не ездил. Купил английское охотничье седло

и два английских ружья, хотя охота в этих краях была не очень интересная. В свой сад влюбился наследственной любовью. При имении был небольшой виноградник, но весь виноград шел на изюм для продажи. Производить вино было бы невозможно: от него тотчас отшатнулось бы духовенство, во главе с старым муллой, носившим зеленую чалму, то есть побывавшим в Мекке. Выписал много вина из Константинополя: и обыкновенного столового, и дорогого, знаменитых французских марок. Сам удивлялся, что устраивается как будто надолго. «Что ж, приезжать сюда буду наверное».

Он перезнакомился с соседями. Они много о нем слышали от отца и были ему рады, особенно более молодые (стариков он всегда в меру возможного избегал). Все были мусульмане, но разных национальностей: преобладали татары и другие выходцы с Кавказа, были и коренные турки и сербы мусульманской веры. Национальные различия чувствовались, однако общая религия всех сближала. Менее ветхозаветные ездили к нему в гости, обедали, не без смущения пили вино. Смеялись, когда он, угощая их свининой, невозмутимо называл ее телятиной. Один сосед вина не пил, но пил коньяк и, тоже невозмутимо, ссылался на то, что о коньяке в Коране ничего не говорится. К его приятному удивлению, он был кое-где представлен дамам, выходившим к нему без чадры. «Да, идет вперед Восток!»

Соседи, в большинстве малообразованные и приятные люди, политикой не очень интересовались и взгляды высказывали странные. Им, например, нравилось, или, во всяком случае, внушало почтение то, что у султана во дворцах есть шесть тысяч слуг, в том числе восемьсот поваров, и что он берет себе одну десятую часть государственного дохода. «Во всем мире пропорционально еще больше берет в свой карман только князь черногорский, но у того какая уж казна! Гроши!» – «Да что же тут хорошего? – с недоумением спрашивал Джамбул, – ведь вам же приходится платить?» Оказалось, однако, что все помещики устроили у себя вакуфы, – никаких налогов не платили; говорили, что и он никаких налогов платить не будет, разве только придется еще кому-нибудь дать взятку. Джамбул перестал интересоваться турецкой политикой.

Скучные формальности были, наконец, закончены. Теперь денег было сколько угодно. Он решил, что надо съездить в Париж и там «все решить», – не углублял вопроса, что именно. Кроме того, надо было как следует одеться. Из России он уехал с одним тощим чемоданом. В соседнем со своим именем городке еле нашел сносное белье; одежду же приобрел восточную, очень живописную; обладал от природы вкусом. Все же необходимо было и европейское платье; да и восточное в Париже, наверное, можно было достать лучше, чем в турецкой глуши.

Джамбул с первых дней выписал себе газеты: тифлискую, петербургскую и парижскую. Нельзя было целый день ездить верхом, охотиться, посещать и принимать соседей, наблюдать над работой в саду и в полях. У него был оставшийся от отца управляющий, а сам он пока только присматривался. По вечерам и в дождливые дни он читал. Тифлисская и петербургская газеты ему удовольствия не доставляли.

В списках арестованных и казненных ему попадались знакомые имена. Он ясно видел, что правительство победило, что революция кончается и вдобавок выродилась. «Конечно, многие революционеры стали просто уголовными преступниками! Не все, конечно, но многие не отдают в партийные кассы денег от экспроприации! Не все отдавал и этот Соколов. Дело и не только в этом: их дела изменились, но еще больше изменился я сам». Напротив, читать парижскую газету всегда было приятно. «Цивилизованная, радостная жизнь... Куплю много книг, там найду и русские. Заочно книги выписывать нельзя».

В Париже он сначала был очень оживлен и весел: всегда любил этот город. В первый же день заказал у хорошего английского портного несколько костюмов. Заказал даже фрак, второй в его жизни; первый, которого он, впрочем, почти никогда не надевал, остался в России. Портной работал медленно, и на первое время пришлось купить готовый костюм, – старый был совершенно изношен. К его фигуре все шло, но к людям, носящим готовое платье, он

относился благодушно-пренебрежительно. Когда фрак был готов, Джембул купил цилиндр и в первую пятницу побывал в Опере. Из театра отправился в монмартрский ночной ресторан, там свел знакомство с дамами. Стало еще приятнее и легче. Думал, что ни одна из этих дам, несмотря на его богатство, с ним в Турцию не поехала бы: «И приехать туда с этакой французской женой было бы невозможно! Да и не поселюсь же я там совсем!»

Тем не менее он скоро стал в Париже скучать и решил, что *так* жить без всякого дела нельзя. Знакомых у него почти не оказалось. Кавказских революционеров не было, к русским он не очень хотел ходить; ему и вспоминать о них было теперь тяжело. Встретился с теми французскими социалистами, которых прежде немного знал. Увидел, что с ними у него уж совсем нет ничего общего: даже разговаривать не о чем. О кавказских делах они ровно ничего не знали. Когда он говорил о грузинах, осетинах, татарах, спрашивали, где живут эти народы: не в Сибири ли? Западные дела, кроме французских, знали лишь не намного лучше и международной политикой интересовались мало. Как-то зашел разговор о возможности европейской войны. Все единодушно высказали уверенность, что ее не может быть и не будет: пролетариат никогда не допустит. Так привыкли это говорить, что действительно в это поверили.

Французские социалисты представили его Жоресу. Тот был с ним очень ласков, расспрашивал и о событиях на Кавказе, знал о них много больше, чем его товарищи. Но, услышав, что Джембул принимал участие в тифлисской экспроприации, он видимо смутился, пробормотал что-то малопонятное и перевел разговор на французские дела. Жорес ему понравился. «А на революционера, даже кабинетного, он совершенно не похож! И, конечно, главное для него это его идейная борьба с Клемансо, осложняющаяся ораторским соперничеством: Восточная Европа, Россия, революция идут где-то на сто верст позади. Его окружение боготворит его».

Все же кто-то из этого окружения сокрушенно ему сказал, что жена Жореса – верующая католичка и что дети воспитываются в католической вере. Это и удивило Джембула, и было ему приятно. «Никогда я антиклерикалом не был, – думал он, – и просто этого не понимаю». Ему неясно казалось, что и происшедшая в нем перемена отдаленно связана и с религией. «Меня всегда раздражало, что все эти Ленины и Плехановы точно родились атеистами. Или, вернее, то, что, по их мнению, все не-атеисты просто дураки и невежды. Да, во мне разом шло несколько умственных и душевных процессов. Они никому не интересны, но неправда, что перемена во мне была внезапная», – точно кому-то возражал он. Ему было досадно, что он так быстро переменял взгляды, деятельность, род жизни.

Приближалась весна. В Париже было отлично, но в его усадьбе верно было еще лучше. Ему пришла мысль, что хорошо было бы устроить у себя конский завод. Эта мысль тотчас его увлекла. Он купил несколько книг о лошадях. Купил и много романов. Впервые в жизни подумал, что следует обзавестись и серьезными книгами, приобрел сочинения входившего в большую моду Бергсона, что-то еще. В русском магазине недалеко от Сорбонны купил собрания произведений классиков. Не любил разрезать книги и все отдал в переплет: дешевые в коленкорный, философские и о лошадях в полукожаный. «И библиофилом становлюсь! Совсем буржуа! Что, если в самом деле «бытие определяет сознание»! – спросил он себя. Но знал, что это неправда. «Я не был беден и тогда, когда занимался революцией».

Все же он сам не думал, какую подлинную радость доставит ему возвращение в усадьбу.

Его радостно встретили и управляющий, и работники, и приятели. Он устроил большой прием: пригласил неветхозаветных соседей; они, не без колебания, согласились приехать с женами; пригласил даже ветхозаветных, предупредив их, что будут дамы и будет вино: эти отказались, но отнеслись снисходительно и благодарили. Понимали, что к их новому соседу нельзя предъявлять таких требований, как к другим.

Обед вышел на славу. Целым бараном тут никого удивить было нельзя, но было и множество всяких других блюд, подавалось шампанское, которого некоторые из приглашенных отроду не видели. За обедом Джембул сам, с бокалами на подносе, вышел к работникам и

выпил с ними, – обед для них был приготовлен такой же, как для гостей; они не могли этого не оценить.

Соседи дивились и хвалили. Считали Джамбула образцом парижской культуры; слово «Париж», с его вековым престижем, производило и на них магическое действие. Все искренно радовались его намерению остаться в имении надолго, давали ему хозяйственные советы, многозначительно спрашивали, не собирается ли он расширить дом. Он отвечал, что не собирается: пусть все остается таким, как было при отце. (Теперь он об отце вспоминал с бо́льшей любовью, чем прежде.) Его ответ тоже понравился. Гости, особенно те, у которых были дочери, говорили, что всегда и во всем будут рады ему помочь. Много говорили о конском заводе, о том, где и когда надо покупать лошадей.

VI

В ожидании книг, отправленных из Парижа «малой скоростью», подготавливая для них полки, Джембул заглянул в книги отца. Они хранились в той комнате, в которой отец умер; Джембул в эту комнату заходил редко. Там стоял шкафчик на точеных ножках, очень хорошей работы, с дорогой инкрустацией, «восток Перы и Пьера Лоти», – думал Джембул. В шкафчике стояли толстые, в старых переплетах, книги на арабском языке. Он и заглавий не разобрал, но увидел, что это Коран и комментарии к нему. Бережно поставил их на прежние места и решил, что шкафчиком пользоваться не будет: «Нельзя же рядом с ними поместить романы Вилли!» Нашлась, однако, одна непереpletенная книга на французском языке: перевод Корана и примечания. Джембул вынул эту книгу из шкафчика и положил на письменный стол в главной комнате, бывшей кабинетом отца.

В тот же вечер, после обеда, он засветил восковые свечи в серебряных канделябрах. Работник принес приготовленное по-турецки кофе. Оно всегда было превосходное, такого не было ни в Петербурге, ни в Париже. Джембул пил его очень много, даже на ночь: оно нисколько не мешало ему спать. «Кажется, знаменитый французский писатель Вольтер выпивал пятьдесят чашек в день и дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Я пью не пятьдесят, но не менее десяти и надеюсь дожить до ста», – шутливо говорил он друзьям, почтительно его слушавшим и удивлявшимся его учености. «В первый раз в жизни мною восхищаются за это!» – весело думал он.

Когда-то дядя пытался его научить арабскому языку и Корану, но он ничему не научился: был слишком занят лошадьми, собаками, ружьями, саблями. Позднее в религиозные книги и не заглядывал. В его окружении на смену людям, благоговейно относившимся к Корану, пришли революционеры, которые о религии никогда не разговаривали или говорили о ней гораздо меньше, чем о погоде, о дороговизне жизни, о качестве пива в разных кофейнях.

С первых же суратов Джембула удивила красота и сила языка, ясно чувствовавшиеся и в переводе. Он с детства слышал, что Магомет говорил так, как никто не говорил и не писал до него. Это подтверждал и переводчик. По его словам, Магомет был «умми», то есть не умел ни читать, ни писать. Он только проповедовал в состоянии вдохновения, а его секретари благоговейно записывали его слова. Этому Джембул не мог поверить: знал, что самая лучшая речь самого лучшего оратора обычно плоха в стилистическом отношении и во всяком случае не идет в сравнение с писанным словом. «Как же мог человек так говорить, всегда, каждый день, каждый час?»

Но гораздо больше поразило Джембула содержание. Если русские революционеры произносили иногда слово «Коран», то лишь относя его с насмешкой к взглядам, не терпящим противоречия противников: так, например, меньшевики иронически говорили о «ленинском Коране». Между тем теперь Джембул, читая книгу, не находил в ней ничего фанатического. Его изумило, что, по словам Пророка, между людьми всегда были и будут разногласия и расхождения, такова воля Божья, и, несмотря на все усилия верующих, бо́льшая часть людей останется чужда вере. «Что бы сказал об этом Ленин, да и многие из его противников?» – спросил себя Джембул. Не было в Коране и нетерпимости. Переводчик-биограф говорил, что Ислам с величайшим уважением относился к Христу, к Моисею, называет Ветхий и Новый Заветы Божественным откровением, книгами, ниспосланными с неба. «И мусульмане, и евреи, и христиане, верящие в Господа и в суд Божий, делающие добро, получают награду из Его рук»... «Из евреев и христиан верующие в Бога и в Писание, которое было послано им, как и нам, творящие волю небес не продадут своего учения ради низменного интереса. Они найдут награду у Всевышнего, Он не ошибается в суде над человеческими делами»... «Спорьте же с ними только словами честными и умеренными. Опровергайте среди них лишь нечестивых. Говорите: «Мы верим в наше учение, но также и в ваше Писание»... «Приглашай же еврея и христианина

обратиться в Ислам и соблюдай справедливость, тебе предписанную. Не уступай их желаниям, но говори: «Я верю в Священную книгу. Небо же мне указало судить вас справедливо. Мы молимся одному Богу. У нас свое дело, а у вас ваше. Пусть мир царит между нами». «Но как же все эти жестокие войны с неверными, которые велись мусульманами прежде, а кое-где ведутся сейчас», – думал Джамбул. Французский переводчик объяснял: учение Пророка вначале подверглось жестоким гонениям, и на это он счел нужным ответить силой же. «Да, в этом он был, конечно, прав: живой человек не может поступать иначе, а если были крайности и зверства, то первые мусульмане были людьми своего времени, и все познается по сравнению. Он сам говорит, что не требует от человека ничего невозможного или превышающего его силы, и в этом именно его мудрость: Ислам единственная вера, которую человек может принять целиком, то есть во всем ей следовать не только в теории, но и в жизни...» Забегая вперед, Джамбул нетерпеливо перелистывал сураты: читать все подряд было все же утомительно. «Природа, везде природа, с нею связано чуть ли не все, и самый его рай это великолепный сад, с пальмами, с фонтанами, с необыкновенными плодами!»

«Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и со спокойствием. Не будет в их сердцах зависти. Они будут покоиться на ложах и будут чувствовать друг к другу братское благоволение... И будут у них, верных слугителей Господа, лучшие яства, плоды изумительного качества, и предложат им чаши, полные прозрачной, редкого вкуса воды, которая не затемняет разума и не пьянит. И будут рядом с ними девы скромного вида, с большими черными глазами, с кожей цвета страусового яйца... И скажут верующим: войдите в сады наслаждений, вы и жены ваши, откройте ваши сердца радости. И дадут вам пить из золотых чаш, и найдет ваше сердце все, чего может желать, а глаз ваш все, что может чаровать его, и будет вечным это наслаждение. Праведники увидят сады с фонтанами, и будут они одеты в шелковые одежды, и будут благодетельствовать друг другу. И будут с ними жены с большими черными глазами!» «Какой еще религиозный законодатель решился бы говорить о девах с большими черными глазами? – думал он. – Какой так хорошо понимал бы людей, так снисходил бы к их природе, даже к их слабостям! И как нелепо издеваться с улыбочкой над «гуриями»! Мусульманский закон допускает четырех жен, и средний человек *может* это принять, может этому следовать, тогда как безбрачие или моногамия и несвойственны ему, и не нужны. «И позволено вам тратить ваше богатство для приобретения целомудренных добродетельных жен. Люди же небогатые, вместо свободных правоверных женщин, могут брать правоверных рабынь с согласия их родителей. Женитесь на тех, кто вам понравится, на двух, на трех или на четырех. Живите хорошо с вашими женами, а если почувствуете от одной отдаление, то, быть может, это отдаление будет от того, во что Бог вложил огромное благо».

«Как все просто, как разумно, как *полезно* для каждого из нас следовать этому столь человеческому учению! Чему в нем я не мог бы следовать? Некоторым обрядам? Но ведь все-таки эти обряды были установлены почти полторы тысячи лет тому назад. Запрещение вина?» Он заглянул в предметный указатель, приложенный французом к книге, и узнал, что о вине в Коране говорится четыре раза, на таких-то страницах. Прочел все четыре страницы. На первых трех вино, собственно, не запрещалось, только было сказано, что, как от игры в кости, от сока фиников и фруктов больше вреда, чем пользы. «Может быть, из фиников тогда изготовлялся какой-нибудь дурманящий напиток, разрушающий тело и душу?» Только на четвертой сок фиников и фруктов запрещался безусловно. «Верно, по той же причине», – подумал Джамбул, с улыбкой вспомнив того своего гостя, который пил коньяк, так как о нем в Коране не сказано ничего.

«Но почему же я молился всю жизнь лжебогам? Или, вернее, даже не молился им, а просто, считая их богами, приносил им кровавые жертвы?» – Он вдруг вспомнил экспроприацию на Эриванской площади, глаза гнедой лошади, трупы убитых людей. Лицо у него искривилось, как от физической боли. «Странно то, что я впервые подумал о Боге именно тогда, в observa-

тории, в день смерти отца! Впрочем, что же странного в том, что человек, прожив большую часть жизни, возвращается к мудрости отцов, дабы войти *туда* «с миром и со спокойствием»?

На следующий день он в разговоре с управляющим сказал ему, что хочет очень расширить сад, посадить лимонные и апельсиновые деревья и устроить несколько фонтанов. Велел также давать милостыню не только всем проходящим в усадьбу, но и тем, что собирались у мечети. Он точно всасывал мусульманскую веру из воздуха этой древней мусульманской страны.

Джамбул стал чаще ездить к тем соседям, у которых были дочери. Они принимали его еще благосклоннее, чем прежде, и устраивались так, что он мог видеть дочерей. Поговорил он и с муллой, носившим зеленую чалму. Друзья советовали ему жениться и даже обсуждали разных невест и размер калыма (это было ему неприятно). Он сам понимал, что за него выдадут любую девушку: он мог считаться лучшим женихом в округе.

Через несколько месяцев он, почти одновременно, обзавелся двумя женами. Родители обеих охотно согласились. Согласились даже на то, чтобы он, вопреки ветхозаветному обычаю, поговорил с невестами. Он не был влюблен ни в одну, но обе ему нравились.

VII

По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкины уехали из Москвы на отдых зимой, – обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Москве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать, почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни», – говорил Дмитрий Анатольевич шутливо (думал же он это и не в шутку). У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах пониже колен какое-то неприятное ощущение, – «Точно хочется их отцепить». Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца. Слово «сердце» встревожило Татьяну Михайловну. Было решено, что они, после обычного летнего лечения в Мариенбаде, где Ласточкин каждый год, по его словам, «спускал благоприобретенные двадцать, а то и двадцать пять фунтиков», поедут еще в Наугейм.

Но в декабре одышка и усталость у Дмитрия Анатольевича усилились. Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники, не для лечения, а просто для отдыха. «А отчего бы тебе не поехать одному?» – нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду! Это было бы против всех наших правил и традиций. И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь...» – «Я совершенно здорова. Меня ни в какие Наугеймы не посылают, сердце у меня, как у молодой девушки». – «Слава Богу, но отдохнуть не мешает и тебе». – «Да я не ты! Я весь год ничего не делаю!» Кончился разговор тем, что они решили съездить на французскую Ривьеру. «Только не в Монте-Карло, он мне надоел, что ж все в одно место, поедем лучше в Канн», – предложил Ласточкин. – «В Канн так в Канн, мне совершенно все равно».

Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их к себе звали. «И пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице! Мы с Алешей об этом и слышать не хотим! – писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде. – За столько времени не удосужились у нас погостить, позор! Не видели даже наших «Сезаннов», двойной позор! У нас есть «комнаты для друзей», и это чистая фикция: кроме вас, никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в «Империале» я вам не найму, дудки. И нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. *Nous vous ferons les honneurs de Vienne*»⁶³.

Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным, они мысленно сравнивали ее со своей московской.

– У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн, и то, и другое имеет свою прелесть, – говорил Дмитрий Анатольевич.

За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг.

– Странно, как у нас все переменялось, – сказал Алексей Алексеевич. – Всего лет десять тому назад в наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов, а теперь...

– Да это иногда и в самом деле случалось.

– Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, не часто. А теперь все отдельные сильные и страстные личности, и у них единственное чувство – необыкновенная способность к необыкновенной любви. – Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь

⁶³ Мы радушно примем вас в Вене (*франц.*).

в самом деле не занимает очень большого места. – Я и тут стою за золотую середину. Есть и другие большие сюжеты.

– Например, политические, – сказала Нина. – Я вижу, что Мите и Алеше хочется поговорить о большой политике, мне она здесь осточертела. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах.

Татьяна Михайловна все очень хвалила.

– Как хороша эта ванна. Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет.

– Горячая вода круглые сутки, купайся, Танечка, хоть всю ночь. Впрочем, нет, никак не всю ночь, должно быть, тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда: на кране с кипятком они написали «kalt», а на другом «heiss»!⁶⁴ Я так рассердилась!

– Это действительно очень большая беда!

– Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно.

– Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже... Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям.

– Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками... Вещи, как видишь, горничная уже разложила и развешала в полном порядке.

– Она такая элегантная, ваша венка.

– И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая.

– Будем знать. Да, у вас очень благоустроенный дом, – сказала, устало садясь в кресло, Татьяна Михайловна. – Вообще мы с Митей так за вас рады... Ниночка, а можно тебя спросить? Когда же дети?

Нина Анатольевна вздохнула.

– Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если б всегда оставались маленькими.

– Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить.

– Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни нечего делать.

– Мы Вену отлично знаем. Чудный город, но Москва все-таки лучше.

– С Москвой и я ничего не сравниваю!.. Вечером завтра у нас ложа в «Бурге».

– Что идет?

– Шиллеровская «Смерть Валленштейна». Ты читала?

– Кажется, когда мне было лет шестнадцать.

– А я не читала. Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперу, и ты, верно, тоже? А послезавтра у нас будут интересные люди. – Она назвала знаменитого пианиста.

– О-о!

– Да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет, но, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие, один известный профессор-экономист, пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать.

Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя.

– Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством, – сказал Тонышев. – Что ни говори, он замечательный человек.

– Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны.

⁶⁴ «Холодный», «горячий» (нем.).

– А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Балльплатц так и уверяли меня что он «kam direkt aus der ausgezeichneten Petersburger diplomatischen Schule»⁶⁵ и восхищается всем русским.

– Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Эренталья?

– Первым кандидатом считается Буриан, но его ненавидит наследник престола. По моему, больше шансов имеет граф Берхтольд.

– Мы с Таней с ним знакомы. Познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек.

– Признается самым элегантным человеком в Австро-Венгрии и, кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету: десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По моему, он должен был бы получить первый приз, – сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти.

– Это единственный его «titre»⁶⁶ для должности министра иностранных дел? И тоже подумывает о войнишке?

– Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эренталья. Нет, какая же войнишка?

– Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья-славяне очень подумывают о войне с Турцией.

– Без нашего согласия они не посмеют на это пойти.

– А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полоумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять тому назад никто об европейской войне не говорил.

– Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард Седьмой считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата не должно быть личных симпатий и антипатий.

– Да этого, верно, не бывает.

– Отчего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц-Иосиф войны не хочет. Неужто ты, при твоей жизнерадостности, становишься пессимистом! Не будет войны. Люди разумные существа.

– Дай Бог, чтобы ты оказался правым.

На следующий день они в автомобиле Тоньшевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тоньшевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем.

– По самому своему замыслу и построению, трилогия настоящий шедевр, – сказал Алексей Алексеевич, знавший на память много стихов на разных языках. – Я другой такой трагедии не знаю. Как постепенно нарастает напряжение! Правда, первая часть, «Лагерь», не сценична, но как и она хороша, как подготавливает зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в изображении Валленштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, да кто же этого не делал? Шекспир, Гёте, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его «Полтава» сплошная историческая ошибка. Даже в деталях, в божественном описании украинской ночи: «Чуть трепещут – серебристых тополей листы». При Петре никаких тополей на Украине

⁶⁵ «Только что вышел из отличнейшей петербургской дипломатической школы» (нем.).

⁶⁶ Здесь: «право» (франц.).

не было, их развел много позднее Щенный Потоцкий, это вызвало сенсацию. А Мария чего стоит! А Мазепа! Даже в дрянном романе Фаддея Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак!

– Этот почему же? – спросила Татьяна Михайловна. – «Кто при звездах и при луне – Так поздно едет на коне...» Вы говорите об этом?

– Об этом самом. Стихи очень звонкие, но... «Червонцы нужны для гонца, – Булат потеха молодца, – Ретивый конь потеха тоже, – Но шапка для него дороже, – продекламировал Алексей Алексеевич. – За шапку он оставит рад – Коня, червонцы и булат, – Но выдаст шапку только с бою, – И то лишь с буйной головою. – Зачем он шапкой дорожит? – Затем, что в ней донос зашит, – Донос на гетмана злодея – Царю Петру от Кочубея...» Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой: Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой «булат» и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрену, которая, кстати, перетаскала у Мазепы немало «злата».

– Так ли это? Может, гонцов было несколько? Я историю знаю плохо, – сказала Татьяна Михайловна. – Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer – Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. – Du heilige, rufe dein Kind zurück! – Ich habe genossen das irdische Glück. Ich habe gelebt und geliebt»⁶⁷.

«А говорила, что, *кажется*, читала «Смерть Валленштейна», – подумала Нина.

В другом антракте литературный разговор продолжался.

– ...И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается, и в семнадцатом веке людей занимали те же мысли: «Верхи общества уходят, им на смену поднимаются низы...» Как хорошо он играет! – говорил Дмитрий Анатольевич.

– Изумительно, – сказал Тонышев. – Заметьте, этот актер – еврей, а как изображает кондотьера! Хоть с каждой его позы картину пиши!

– Пожалуйста, без антисемитизма, Алеша. Почему актеру-еврею не изображать хорошо кондотьера?

– Я ведь, Таня, говорю только к тому, что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех.

– Это так, – подтвердил Ласточкин. – Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь?

– Думать без ужаса не могу! А вы, Алеша, разве хотите?

– Никак нет. Хотя думать могу и без ужаса. Артист же он действительно великий. Я, кстати, всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства: гениальный актер себя в ней показал бы! Правда, сцену убийства до некоторой степени заменяет страшный крик убийцы Деверу: «Freund! Jetzt ist's Zeit zu lärmen!»⁶⁸ Сейчас его услышим.

– Алешенька, перестань щеголять эрудицией, – сказала Нина.

После обеда они отправились ужинать к Захеру. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо. «Легок на помине: граф Берхтольд», – сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно сутились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую.

– Таня, можно мне заказать для всех? Я знаю, что у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Донона или вашего «Эрмитажа».

– Ну, положим, – сказал Ласточкин. – Старый Донон первый ресторан в мире.

– На десерт не забудь, Алешенька, заказать «Захер-торте». Ты увидишь, Танечка, какое это чудо! – сказала Нина. Начался гастрономический разговор.

⁶⁷ «Все в мире мертво, померкнул свет, и больше надежд и желаний нет. К себе, благая, меня призови, я счастье земное познала в любви, а ныне простилась с мечтами» (Ф. Шиллер. *Пикколомини*. Перевод Н. Славятинского).

⁶⁸ «Пришла пора, дружище, пошуметь!» (Ф. Шиллер. *Смерть Валленштейна*. Перевод Н. Славятинского).

VIII

В Канн погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на Ривьере не бывали и были удивлены.

– Холодно, солнца нет, «старожилы не запомнят», – говорил жене Дмитрий Анатольевич на второй день.

– Особенно этот неприятный холодный ветер.

– Если б это хоть был мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят «биз», другие говорят «бриз», третьи говорят «полан» или как-то так. Сами своих ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь в Сицилию или даже в Египет. Как ты думаешь?

– Ни за что. Опять переезжать, да еще морем, какой же это отдых! Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце.

– А вдруг не выполнит обязательств?

– Тогда, благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничегонеделаньем.

Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для «работы». В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. Ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, как эта. Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что не много поняли и другие слушатели. Между тем он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть: она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже двадцать лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику: не знал почти ничего о биноме Ньютона и не сразу вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познания. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее, но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин Ланга и купил несколько «Grundriss-ов» и «Vorlesungen über...»⁶⁹. Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии «Элементарную геометрию» и «Начальную алгебру» Давидова. Сам был сконфужен: «Вот так инженер-технолог!» Все это повез с собой, к изумлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где, с некоторым недоверием, говорилось о теории Эйнштейна.

В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали, Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке. В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучшего не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно, – но для этого не стоило приезжать на Ривьеру. Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко, с Grundriss-ами уже было хуже, а когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. «Наш милый профессор говорил: «Выдумал немец обезьяну! Будь все относительно, то тем паче «deboliare superbos»⁷⁰.

«Принижать гордыню это никогда не мешает, – думал Ласточкин. – Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?.. Впрочем, в книжке сказано, что

⁶⁹ «Очерк», «Лекции о...» (нем.).

⁷⁰ «Надо ставить на место гордецов» (лат.).

теория относительности еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая?» – думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к «Le Temps». Тут по крайней мере все было понятно, хотя далеко не все приятно: «Сгущаются, сгущаются тучи...»

Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда опускала книгу на колени и задумывалась. У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она, тайком от мужа и Тонышевых, побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел или, по крайней мере, сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. «Я сказал вам, сударыня, как обстоит дело, – уклончиво ответил профессор, – но не скрываю, что организм у вас довольно утомленный. Это может в будущем способствовать развитию разных болезней. Непременно показывайтесь почаще врачам и в России».

С этим она и ушла: ничего тревожного, но... Не сказала ни слова Дмитрию Анатольевичу, «нельзя отравлять ему поездку, да, верно, и в самом деле ничего худого...». Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. «Ну, а если?.. Что он будет без меня делать?.. Нет, конечно, ничего ему не говорить!» Об *его* смерти она не думала: об этом *невозможно* было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но *оживали* после их смерти, – так те подавляли их волю и личность. Однако эти женщины были ей всегда чужды, непонятны и даже немного противны.

Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей. Необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом», – невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни, – оттого ли, что они с Митей женились без газетных объявлений, оттого ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, оттого ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил (и потому любила она сама).

– Как хорошо, что нам незачем искать!.. А то написать господину красивой наружности о Люде?

– Отчего бы и нет? Но любит ли она природу?

Оба хохотали.

– А каннская природа все-таки нас подвела. То есть климат.

– Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется. Чтобы не погубить репутации Ривьеры.

Когда солнце показывалось, Ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко, например в Ле-Канне, но, пройдя по Круазетт, они садились где-нибудь на скамейку, «ах, проклятая одышка!» – думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описания в романах: «все равно словами не опишешь». Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле-Канне, то он очень гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки: «Заслужил!» Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал. Разговаривали мало. Смотрели на низкое небо, на редкие звезды.

– «На небе было черно и скучно, на земле было весело». Это из «Войны и мира». Правда, странные слова? – сказала Татьяна Михайловна. Он посмотрел на нее удивленно.

– Да, пожалуй, для Толстого странные, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или, по крайней мере, должно быть весело. По этому случаю сейчас закажем целую бутылку шамбертена? Согласна?

– Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными... А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду.

– Минеральную воду будем пить, когда будем стары.

– Мы уже и так немолоды.

– Это совершенно разные вещи: немолоды и стары, – отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич. – Но хоть аппетит у тебя есть?

– Нет... Есть, но маленький, – отвечала Татьяна Михайловна. Он смотрел на нее беспокойно.

Погода стала еще хуже. Пошел мелкий, сухой снег.

– Это уже настоящее предательство со стороны Ривьеры! – говорила Татьяна Михайловна. – Снег на пальмах и на кактусах! Правительство должно было бы это запретить, это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по семьдесят франков в день незачем. Не повезло!

– Можем вернуться в Москву раньше, – ответил Дмитрий Анатольевич, чуть задетый словами «не повезло». Они, разумеется, были сказаны в шутку, но он давно привык к тому, что ему во всем везет.

Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на Круазетт и вернулись минут через десять. «Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу, тоже скрылись», – сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком швейцаром. Тот очень хвалил русских.

– Теперь у вас русских что-то мало.

– Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В тысяча девятьсот пятом году, когда в России были беспорядки, у нас чуть ли не все номера были заняты русскими, – ответил швейцар.

Вдруг Ласточкин вспомнил, что Савва Морозов покончил с собой в Канне. Почему-то это его взволновало. «Где? Господи, да в этой самой гостинице! Конечно, здесь! Я помню твердо!»

Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода: спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело, но ответил очень неохотно и старался перевести разговор.

– Я хорошо его знал. В каком номере это было?

Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене, что Савва Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице.

– Где? Не в нашем номере?

– Нет, не в нашем. Он жил в другом этаже.

– Я мало его знала. Помнишь, он незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой?

– Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное.

Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень и что начинается *спуск*; точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. «Но ведь так должно быть у каждой четы, особенно если нет детей», – думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала: что-то случилось, но не говорила, что именно.

«У него была, помню, какая-то теория самоубийства, – опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич. – Верно, что-то дикое? Странно, очень странно».

Обеды в гостинице были такие, какие полагались богатым людям в то время, не слышавшее о давлении крови, не считавшее калорий, не знавшее, что соль грозит человеку смертель-

ной опасностью: шесть или семь изысканных блюд; многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семи. В Москве, возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали; почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канне обходились без еды на ночь, тем более что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу, – одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками, – да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает.

Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска, с мрачными предчувствиями: болезни, особенно ее болезни, смерть, и даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. «И некому будет закрыть глаза, либо ей, либо мне! Детей нет, друзей сколько угодно, но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер, – да хотя бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были *только* друзья, жену он, кажется, не любил. Там внизу в этом самом ресторане он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску...»

Татьяна Михайловна вернулась в спальню, взглянула на нетронутую грушу, и хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо. Каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим.

На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная, для чего, разыскал номер Морозова. Двери были открыты, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены, – «верно тот самый».

– Monsieur désire?⁷¹ – подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце.

Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие обычно при раскатах грома с огненным следом с других планет на землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью: «Вдруг и мы так, после недолгого большего или меньшего свечения, переносимся из одного мира в другой?» Эта аналогия впрочем показалась ему несостоятельной и даже дешевой.

Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит.

– Ну и что же? – спросила Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Митя говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона.

– Ничего, разумеется. Я упомянул так.

– Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна?

– Ни малейшего отношения. Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего, – пошутил Дмитрий Анатольевич.

– И научные, и всякие другие. Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька, это тебя верно утомило, – полувопросительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила: – Читал бы лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева, я его сегодня кончила.

– Прочту в дороге, не прячь его в сундук.

⁷¹ Что угодно господину? (франц.)

- Хорошо, положу в несессер. Сегодня вечером буду укладывать вещи.
- Я тебе помогу.
- Не надо, поможет горничная, ты и не умеешь. Читай себе в холле «Le Temps».

IX

Летом 1912 года Ленин неожиданно переехал из Франции в Краков. Это вызвало в партии удивление и досаду: его стычки на парижских собраниях с меньшевиками и эсерами были главным развлечением и даже главным делом левой русской колонии. «Остался без библиотек, переехал, чтобы быть поближе к России», – объясняли большевики. Собственно, эти слова означали лишь то, что русские газеты приходили в Краков днем или двумя раньше, чем в Париж. Более осведомленные люди приводили другую причину: польские и австро-венгерские власти из ненависти к царскому правительству никак не препятствуют перевозке в Россию агитационной литературы. Впрочем, ее перевозилось не так много.

Ленин не любил засиживаться на одном месте и малые города предпочитал большим. В Париже его утомляли беспрерывные посещения товарищей, их вечная болтовня, необходимость придумывать для них видимость работы, которой вообще было мало и которую они в большинстве исполняли плохо. В Польшу он взял с собой очередных «ближайших» друзей, Каменева и Зиновьева. Скоро там оказалась и Инесса Арманд.

Это был, вероятно, самый счастливый период во всей его жизни. Он жил то в Кракове, то в местечке Поронине. Говорил, что польская деревня напоминает ему русскую. Товарищей было гораздо меньше, чем в Женеве или в Париже, «склока» теперь проявлялась главным образом в письмах или в печати, – это тоже было гораздо приятнее. Такой тихой жизни он никогда не вел. В сущности вся его жизнь за границей была с внешней стороны вполне мирной и даже «мелкобуржуазной». У него всегда были две чистенькие комнаты. Он ежедневно вставал в восемь часов утра, совершал натошак небольшую прогулку, затем завтракал и садился за работу, причем в его комнату никто не имел права в эти часы входить. В два обедал, потом снова работал, в пять уезжал из дому на велосипеде, обычно в окрестности. В Кракове близкие к нему эмигранты делились на «прогулистов» и «синематистов». Он считался крайним прогулистом. Позднейшие восторженные рассказы о том, будто «Ильич работал по 18 часов в сутки», были выдумкой. Он никак не был ленив, но работал не больше любого чиновника или служащего, скорее даже меньше. Прогулки, зимой еще катанье на коньках или, где было можно, на лыжах, отнимали много времени. Он очень заботился о здоровье: шутливо говорил, что здоровье члена партии это «казенное имущество», которое растрачивать запрещается. По вечерам принимал очередных приятелей и болтал с ними, затем еще выходил опускать в ящик письма: нужно, чтобы уходили тотчас.

Инесса Арманд сделала большие успехи в партийной метафизике, разобралась кое-как в практических делах, уже знала, кого надо особенно ненавидеть. Ленин по-прежнему называл прохвостами громадное большинство русских и иностранных социалистов. Из иностранцев предметом его особенной ненависти был теперь Карл Каутский, который, в дополнение к другим своим позорным поступкам, отказался быть «держателем» русских партийных денег и третейским судьей в связанных с ними делах.

По-прежнему Ленин несколько мягче относился только к Максиму Горькому. Но и пролетарский писатель раздражал его. Главной причиной, по-видимому, была относительная скудность Горького. Он все жаловался на свои дела. «А вот что Вам жить не на что и печататься негде, это скверно», – писал ему как-то Ленин, верно уже тогда не без недоверия: не мог не знать, что Горький, хотя и выходивший из моды в России, много зарабатывает и, в отличие от него самого, живет очень хорошо. Позднее писал и гораздо откровеннее: «Вы пишете: «Нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хорошо спившихся людей». Второй части этой фразы я не принимаю... Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и теперь толстый журнал, ибо к *ядру* сотрудников за плату привлечь можно *много*, раздав темы и распределив места». А в другой раз, в большом раздражении, написал Шляпникову,

что у Горького «надо вытащить силком деньги: пусть платит тотчас и побольше», причем слова «побольше» и «силком» в письме подчеркнул.

Дело было, однако, не только в деньгах. Философские рассуждения «теленка» все больше приводили Ленина в ярость. Горький где-то объявил, что богоискательство надо «на время» отложить.

«Дорогой Алексей Максимович! – написал ему Ленин. – Что же это Вы такое делаете? – просто ужас, право!.. Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что Вы против богоискательства *только* ради замены его богостроительством!! Ну, разве это не ужасно, что у Вас *выходит* такая штука? Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против *всяких* чертей и богов, против всякого идейного труположства (всякий боженка есть труположство – будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а строяемый боженка, все равно), – а для предпочтения синего черта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем... Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженке, всякое кокетничанье даже с боженкой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая *демократической* буржуазией, именно потому это – самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза»... Развивал эту мысль очень подробно, со ссылкой на «католического попа, растлевающего девушек», на «попов без рясы», на «попов идейных и демократических», и заканчивал предположением, что Горький просто «захотел посусюкать». Вероятно, в этом последнем предположении не очень ошибался.

Горький испугался, пошел на попятный и о богоискательстве ответил, что сам не может понять, как у него «проскользнуло» слово «на время»; но насчет богостроительства еще что-то «суюскал», – надо было и ограждать свою независимость: сам тоже мыслитель.

Судя по тому немногому, что известно об Инессе Арманд, можно предположить, что она без удовольствия слушала и о «труположстве», и о многом другом. Вероятно, лишь вздыхала, по своему обыкновению. «Жалееете, грустите, вздыхаете – и только», – писал ей как-то Ленин. Он часто ей объяснял ее ошибки, – одной Инессе объяснял мягко, то есть без грубейшей брани. Она была неглупа, не боялась с ним спорить и порою удачно ему возражала, отмечала его логические противоречия. Старалась думать своим умом. Это его изумляло. «Люди, бо́льшей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, 60–70% из большевиков) не умеют *думать*, а только *заучивают* слова», – писал он. Иногда давал ей и ответственные поручения: «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту, – и посему упорно *не верю* пессимистам, т. е. говорящим, что ты... едва ли... Вздор и вздор! Не верю! Превосходно ты сладишь!» Люди, говорившие, «что ты... едва ли...», были, наверное, глупее Инессы Арманд. В спорах с ним она порою даже осмеливалась нападать на Энгельса. Хуже этого могли бы быть только нападки на самого Маркса. Но ей сходило и это. На близкую революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос об Албании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подали было ему надежду, однако лишь слабую. «Война Австрии с Россией, – писал он тому же Горькому, – была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».

Часть шестая

I

В министерстве иностранных дел на Балльплатц «был страшнейший хаос» («herrschte das schrecklichste Chaos»), – говорит в своих воспоминаниях высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во все. Один известный посол, не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерства.

В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде (кроме ритуала Бурга и Шенбрунна): во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многоплеменной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России с ее недавней революцией, во Франции с недавним делом Дрейфуса, да и в очень многих других странах.

Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом – с большой долей справедливости – обвиняют министра иностранных дел графа Берхтольда. С той же относительной верностью, в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности, в 1914 году судьбы мира были в руках двух неврастеников.

О Берхтольде люди, его знавшие, оставили разные и противоречивые сведения. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек, во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов, «простая машина для подписывания бумаг». Другие видели в нем крайнего честолюбца, сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией.

И то, и другое не может быть вполне верно... Летом 1914 года граф Берхтольд во всяком случае не ленился и никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не «подписывал», а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно *обязан* их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францу-Иосифу *до* отправки в Белград: опасался, что император не даст на него согласия или во всяком случае очень его смягчит. Берхтольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум, но очень хитро устроился так, чтобы и оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять: сам это говорил с почти идиотическими самодовольством и гордостью.

Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как, по самому своему неврастеническому изменчивому характеру, просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и честолюбцем. Берхтольд и министром иностранных дел стал очень неохотно: предпочел бы должность главы придворного ведомства, – не связанную ни с какой ответственностью и не обещающую никакой славы. В смысле честолюбия с него, по-видимому, было совершенно достаточно того, что он граф Берхтольд фон унд цу Унгаршитц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов: «тот самый!»

В 1913–1914 годах «больным» вопросом Европы стали балканские дела. Такие большие вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались «проблема Албании» и «проблема великой Сербии». Об албанских делах никто из государ-

ственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них «возможно реже». Сербские дела были известны лучше. Сербия, после двух победоносных войн – первой, в союзе с Болгарией, против Турции, второй, при полускрытой поддержке Турции, против Болгарии, – стала могущественной державой: в ней теперь было четыре с половиной миллиона жителей.

В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос: может ли Австро-Венгрия допустить существование на своей границе столь мощного государства и не грозит ли это ей гибелью?

Император Франц-Иосиф, не желавший по-прежнему слышать о войне, болел и все дряхлел. Таким образом очень усиливалось значение главных австро-венгерских сановников. Они, естественно, расходились в мнениях. Конрад фон Гетцендорф требовал, чтобы вся Сербия была включена в империю Габсбургов, которая из двуединой стала бы триединой. По его мнению, можно было бы либо добиться от Сербии добровольного на это согласия (вероятно, с его точки зрения это был менее приятный исход), либо следовало просто ее завоевать и присоединить насильно (более приятный исход). Против этого был венгерский министр-президент граф Тисса: он думал, что в империи уже и без того слишком много славян и что «двуединой» совершенно достаточно, а то, при пестром племенном составе государства, можно докатиться и до «десятиединой» с десятью правительствами и с десятью парламентами. В 1913 году Тисса решительно высказывался против войны (что ему не помешало через год столь же решительно высказаться за нее). Он видел спасение Австро-Венгрии в «ориентации» на Болгарию: очевидно, присоединение к центральным державам этого только что разбитого и обессиленного небольшого государства могло спасти Австро-Венгрию и Германию. И, наконец, граф Берхтольд занял промежуточную позицию: он войны не хотел, но желал для обуздания сербского страшилища ввести в австро-венгерскую «орбиту» какую-то задуманную им «лигу» из небольших стран. Все эти «ориентации», «лиги» и «орбиты» заполняют дипломатическую переписку и газетные передовые того времени.

Берхтольд считался и был убежденным сербофобом, но с большой вероятностью можно предположить, что он совершенно презирал балканские государства вообще. Все они были монархиями, но еще не очень давно были в рабстве у турок. В Румынии, Греции, Болгарии, по крайней мере, были монархи из «хорошего дома»: выписанные из-за границы Гогенцоллерны, Виттельсбахи, Кобурги. В Сербии же царствовал бог знает кто: правнук гайдука, какого-то Черного Георгия. Быть может, «сербофобом» Берхтольд стал больше по методу исключения: Вильгельм II был в родстве с румынским и греческим королями и лично благоволил к ним.

Еще меньше Берхтольд мог считать государственным человеком главу сербского правительства: как говорили, Пашич в молодости был близок к Бакунину и будто бы был в Швейцарии его «любимым учеником», – иными словами, это был просто разбойник. За несколько месяцев до войны Пашич отправился в Петербург и там просил для королевича Александра руки одной из великих княжон. «Царь с улыбкой мне ответил, – докладывал Пашич, – что возражений не имеет, но что у него правило: предоставлять детям самим выбор. Когда же я выходил, царь проводил меня до двери и подчеркнуто, повторно просил кланяться королю».

Вероятно, об этом было доложено Берхтольду как о полном согласии на брак, и он мог только изумленно негодовать: если дочь русского царя выходит за Кара-георгиевича, то это конец мира. Тогда же, по горячей просьбе «ученика Бакунина», царь почти согласился подарить Сербии 120 000 русских винтовок. По тем временам это могло считаться действием недоброжелательным в отношении Австро-Венгрии. Но граф Берхтольд тогда еще никак не собирался воевать.

По всем глубоким социологическим теориям, убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было лишь *поводом* для мировой войны. Настоящие *причины* были совершенно другие: «англо-

германское экономическое соперничество», «борьба за рынки», «внутренние противоречия капиталистического строя» и т. п. Однако при чтении почти простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод: сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы. О «борьбе за рынки» они не писали и не говорили, а о «внутренних противоречиях капиталистического строя» и не слышали: быть может, даже таких слов не знали.

В тот момент, когда об убийстве наследника австро-венгерского престола узнал второй по значению неврастеник Европы, с ним мгновенно произошла совершенная перемена. Сразу исчезли его прежние мысли о лиге, сложные и глубокие дипломатические проекты. Он принял твердое решение: надо начать войну, начать ее возможно раньше, лучше всего немедленно. При этом он точно забыл о соблазнительных проектах Гетцендорфа. Начальник генерального штаба хотел присоединить к империи всю Сербию; Берхтольд тотчас после сараевского преступления совершенно перестал об этом думать. Он объявил сначала сослуживцам, затем германским политическим деятелям, несколько позднее, в пору ультиматума, правительствам всех стран, что Австро-Венгрия ни о каких аннексиях не думает. Она готова гарантировать неприкосновенность сербской территории (за исключением разве очень незначительных пограничных пунктов, – да и на этом он не настаивал). Таким образом отпадала и та цель войны, которую ставил себе Гетцендорф и которая с его точки зрения была разумной (он сам слушал с изумлением эти заявления министра иностранных дел). Теперь единственная цель Берхтольда заключалась в том, чтобы поддержать и поднять австро-венгерский *престиж*, прочить Белград, положить конец террористическим действиям и страшному призраку Великой Сербии. Все его действия от дня убийства эрцгерцога до ультиматума имели целью войну и только ее. По-своему они были порою хитры, как бывают хитры поступки сумасшедших. Он довольно искусно влиял и на Тиссу (все еще носившегося с Болгарией) и особенно на Вильгельма, без согласия которого, разумеется, и думать о войне не приходилось.

Первый европейский неврастеник был в последнее время в самом благодушном и миролюбивом настроении. Германия процветала, – этого никто не мог отрицать, даже социал-демократы. Трон Гогенцоллернов был так прочен, что мысль об его возможном и близком падении просто не могла возникнуть у здорового человека. Вильгельм чувствовал себя и физически хорошо. За год до войны он выдал замуж дочь, на свадьбу приехали русский царь и английский король, свадебные торжества были не только пышные, но и очень веселые, отношения между тремя монархами были самые дружеские, немногочисленные политические разговоры сошли без малейших разногласий. Император полувопросительно сообщил своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную миссию для обучения турецких войск; оба гостя признали это совершенно естественным, а царь сверх того посоветовал туркам как можно лучше укрепить линию Чаталджи на случай, если болгары пожелают захватить Константинополь (они все трое сходились в нерасположении к Фердинанду Болгарскому; в частности, Вильгельм II совершенно не переносил своего будущего союзника).

Германский император, очевидно, забыл то, что говорил бельгийскому королю, и не собирався подражать Фридриху и Наполеону. Его посол в Вене Чиршки доложил о каких-то опасных планах Австро-Венгрии. Император справедливо написал на полях доклада: «Совершенное сумасшествие! Ведь была бы война!»

В конце июня 1914 года Вильгельм выехал на регаты в Киль. 28-го в море к его яхте неожиданно подошла шлюпка. У руля стоял адмирал Мюллер, высоко держа в руке какую-то бумагу. Причалить было трудно. Мюллер положил бумагу в портсигар и бросил на борт. В ней было сообщение об убийстве эрцгерцога.

Совершенно потрясенный, император велел яхте тотчас направиться к берегу. Разумеется, его волнение и негодование понятны. Весь мир был потрясен и почти весь мир возмущен сараевским делом. Вильгельм вдобавок сердечно любил эрцгерцога и его жену. Совсем недавно

он их посетил в Конопиште, и их давняя дружба еще окрепла. Но и политическое настроение у Вильгельма совершенно изменилось с такой же быстротой, как у Берхтольда: пора обуздать Сербию, надо поддержать *престиж* центральных империй, пусть будет война. Разница заключалась в том, что австрийский министр иностранных дел был неврастеник с внешней стороны довольно холодный и сдержанный; кроме того, Берхтольд был очень связан; он должен был считаться с Францем-Иосифом, с Тиссой, со многими другими. Вильгельм же у себя был почти всемогущ, никаких сдерживающих начал у него никогда не было.

Во дворце его ждали многочисленные доклады. Граф Берхтольд сообщал, что, по его сведениям, двенадцать сербских террористов отправились в Вену: хотят на похоронах эрцгерцога убить и германского императора. Возможно, эти сведения были верны, но, может быть, он их просто сочинил, чтобы усилить ярость Вильгельма. Этой своей цели достиг. По-видимому, не хотел также, чтобы император встретился с Францем-Иосифом. Германские министры советовали императору не ездить на похороны. Он и не поехал. Писал на докладах резолюции, которые два по крайней мере историка назвали психопатическими. Называл всех сербов убийцами и бандитами. Говорил, что благодаря им в большой опасности самый принцип монархии и что прежде всего русский царь обязан теперь поддерживать Австро-Венгрию, а никак не «сербских цареубийц». Когда тот же его посол Чиршки стал предостерегать Берхтольда от слишком поспешных мер, Вильгельм написал на полях доклада: «Кто ему это поручил? Это очень глупо! И это совершенно его не касается!.. Пусть Чиршки сделает мне удовольствие и бросит все эти глупости. С сербами надо покончить и возможно скорее. Это само собой разумеется, это банальные истины».

Никто из его приближенных не решался прямо ему сказать, что это не совсем «само собой разумеется». Разгром Сербии никак не мог бы прекратить действия сербских террористов; напротив, он, наверное, им способствовал бы. «*Престиж*», «дипломатическая победа» были все равно обеспечены, так как в Белграде шли на всевозможные, даже «унизительные», уступки. Момент для европейской войны был весьма для Германии невыгодный, во всяком случае, в сто раз менее выгодный, чем в 1905 году, когда Россия была занята войной на Дальнем Востоке, а нейтралитет Англии был совершенно обеспечен. Но возможно, что никто и не хотел ему это говорить. Не только в Берлине, но и в Европе вообще было у людей, особенно у образованных, странное чувство: мир, конечно, прекрасная вещь, но не будет большой беды, если и возникнет война, – ново, занимательно, наша возьмет, нет худа без добра. Это никак не означало, что люди *хотели* войны. Но без этого смутного, полусознательного чувства, война была бы невозможна, несмотря на Берхтольдов и Гетцендорфов разных стран, центральных и нецентральных.

Другого мнения, естественно, держались некоторые из самых влиятельных генералов. Они думали, что будет большая беда, если война не возникнет. Адмирал Гаус, командовавший австрийским флотом, спрашивал на Балльплатц: «Не можете ли вы устроить нам войну?» («*Können Sie tins den Krieg nicht arrangieren?*»). Начальник германского генерального штаба Мольтке говорил своему австро-венгерскому собрату: «Отклоните новые авансы Англии, ставящие себе целью поддержание мира. Оставаться твердой перед лицом европейской войны – это последний шанс спасения Австро-Венгрии. Германия ее поддержит без условий». Мольтке не имел ни малейшего права давать Гетцендорфу политические советы. Гетцендорф не имел ни малейшего права отклонять или принимать английские авансы. Но они, по крайней мере, знали, чего хотят. Штатские люди и этого не знали и были в громадном большинстве совершенно растеряны.

Германский канцлер Бетман-Гольвег посылал во все стороны советы, из которых каждый противоречил другим. Быть может выпивши, в разговоре с британским послом Гошеном, назвал договор о нейтралитете Бельгии «клочком бумаги». В трезвом виде *сказать* это было невозможно, хотя это было чистойшей правдой: очень легко было понять, как это слово

будет использовано против Германии (разговор был вечером, канцлер, по донесению в Лондон Гошена, был в «большой ажитации» и говорил безостановочно двадцать минут). Можно предположить, что некоторую, не очень, конечно, большую, роль вино или замученность невыспавшихся людей сыграла в те дни и в других странах. Французский посол в Лондоне Камбон 30 июля потребовал от британского правительства заявления, что Англия вмешается в войну, если Германия нападет на Францию. Высокопоставленный британский государственный деятель ему ответил, что английское общественное мнение равнодушно к австро-русскому соперничеству, и хотя он лично стоит за интервенцию, но говорить о ней преждевременно, – и в качестве одной из причин указал, что некоторые члены британского кабинета имеют денежные интересы в Германии.

«Кончилось» все это сценой в русском министерстве иностранных дел у Певческого моста. В шесть часов вечера 1 августа германский посол граф Пурталес посетил Сазонова и «с признаками все росшего волнения» *три раза* спросил, согласится ли Россия отменить свою мобилизацию. Сазонов тоже три раза ответил, что Россия отменить мобилизации не может. Тогда Пурталес вынул из кармана бумагу с заранее подготовленным объявлением войны. Затем бросился Сазонову на шею и заплакал; добавил только, что говорить о чем бы то ни было «не в состоянии». От волнения и по рассеянности он даже передал русскому министру *две* бумаги с двумя разными редакциями.

В восторге от войны были Гетцендорф – и Ленин. Оба в известном смысле были правы, каждый на определенный и довольно длинный отрезок времени. Ленин преуспел уже через три года. Гетцендорф лично потерпел крушение, но открылся в истории столь приятный Гетцендорфам долгий период войн. Плакать же были основания никак не у одного Пурталеса. Покончила с собой старая Европа, все же гораздо лучшая, чем та, что пришла ей на смену.

Через несколько часов о войне стало известно и в самых отдаленных странах. Одно нейтральное издание поместило картинку: ключарь потустороннего мира встречает эрцгерцога Франца-Фердинанда:

«Ваше высочество, за вами сюда ожидается большая свита».

II

Традиции старой Европы сказались и в том, что после объявления войны в 1914 году дипломаты покидали столицы, в которых представляли свои страны, совсем не так, как это было в 1939-м. Особенно это проявилось в Австро-Венгрии.

Тонышевых провожали на вокзал не только дипломаты нейтральных стран, но и многие австрийские друзья. Все выражали надежду скоро встретиться в более счастливых условиях. Войны между европейскими государствами велись в последнее полу столетие столь редко, что выработанного порядка таких отъездов не было, и прецедентов в министерствах и посольствах никто не помнил. Просто все вели себя как цивилизованные люди. Из австрийского министерства иностранных дел корректно запросили русское посольство, в каком направлении члены посольства желают ехать, и несмотря на тотчас начавшийся железнодорожный хаос, специально назначенное должностное лицо позаботилось о поездах и спальных вагонах. Никаких враждебных манифестаций со стороны сумрачной толпы на вокзале не было. Некоторые нейтральные дипломаты, крепко пожимая руку Тонышеву, шепотом желали союзникам победы. Почти все привезли Нине Анатольевне цветы или конфеты. Дамы, прощаясь, прослезились или даже плакали. Нервы у всех были очень взвинчены: не было войн – и вдруг война! что теперь будет! Но, несмотря на общую любезность, в разговорах все-таки чувствовалось стеснение, – Тонышевы вздохнули свободнее, когда поезд тронулся и с перрона послышались последние «Bon voyage!», «Good-bye» и даже «Auf Wiedersehen!»⁷².

Вернуться в Россию из Вены было бы проще и скорее через Константинополь. Но Турция могла со дня на день объявить России войну, и Тонышевы, как большинство русских, предпочли долгий, утомительный путь через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию и Швецию. Оба они были в последние дни очень взволнованы, – и радостно, и тоскливо, – радость преобладала над тоскою. С той минуты, как Англия объявила войну Германии, они в победе союзников не сомневались. Алексей Алексеевич был почти уверен, что Австро-Венгрия обречена на скорую гибель. Это ему радости не доставляло. Напротив, было тяжело, что катастрофу переживет престарелый Франц-Иосиф, которого он так почитал.

Естественно, он думал и о том, что ему делать после возвращения на родину. В первый же день в большом возбуждении сказал жене, что если даже его не призовут, то он добровольцем пойдет на войну. Нина Анатольевна, только об этом думавшая, ответила, еле удерживая слезы:

– Как ты найдешь нужным... Я тебя удерживать не буду. Но едва ли тебя призовут. Ты уже не так молод. Верно и верхом ездить разучился.

– Нет, не разучился, и мне всего сорок три года.

– Как ты найдешь нужным. По-моему, от тебя в твоём драгунском полку пользы будет немного. Можешь ли ты скакать в кавалерийских атаках? Не будешь ли ты полезнее как дипломат? Тебе скоро дадут другое назначение.

– Едва ли. Из-за войны постов стало значительно меньше, а дипломатов теперь освободелось очень много.

– Делай как хочешь... Но ведь мы и вернемся в Россию в лучшем случае через три-четыре недели? Между Англией и Норвегией пароходы ходят теперь редко, и надо будет ждать долго. А война очень скоро кончится. Наверное, она уже кончится к тому времени, когда ты будешь готов к строю?

– Это возможно. Тогда это будет не моя вина.

Больше они об этом не говорили. В поезде Алексей Алексеевич неожиданно вспомнил о предсказании майнцской колдуньи.

⁷² «Счастливого пути!» (франц.), «До свиданья!» (англ., нем.).

– Я, кажется, тебе это уже когда-то рассказывал. Это тогда меня изумило: ведь он совсем неглупый человек. Очень характерно это сочетание ума и легковерия. Может, в самом деле Вильгельм начал войну из-за майнцской колдуньи!.. Ах, хороши оказались мы все, дипломаты, со всеми этими санджаками и Мюрцштегами!

Нина Анатольевна говорила, что уж, во всяком случае, он ни в чем себя винить не может. Про себя произвела подсчет: 1914 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 4. Вышло: 1929. Она не знала, к чему отнести этот год: «Умрет Вильгельм? Алеша станет министром? В России создастся ответственное правительство?.. А вот Вены мы больше, верно, никогда не увидим!.. Нашу обстановку потом перевезем, да куда?»

В дороге Алексей Алексеевич готовил записку для министерства. Он до отъезда записывал в дневник все, что видел и слышал в последние дни. Слышал он очень много. Видел двух дипломатов, только что побывавших в Берлине. Они в один голос утверждали, что Вильгельм II находится в состоянии полной невменяемости. Об его гениальности никто открыто не говорил, но все признавали, что он очень опасный и страшный враг. Тонышев записал и разные восклицания, приписывавшиеся германскому императору, и то, что говорили Бетман-Гольвег, Берхтольд, другие высокопоставленные лица, и мнения, высказывавшиеся осведомленными людьми о германских и австрийских генералах. Гетцендорфа почти все считали замечательным полководцем, о Мольтке говорили, что он унаследовал военный гений своего дяди. Из русских генералов иностранцы очень высоко ставили Сухомлинова и Ренненкампа.

Втихомолку говорили о Франце-Иосифе. По слухам, он уже не все понимал, резолюции на докладах писал карандашом, дрожащей рукой, так что и разобрать было трудно. Не переносил Гетцендорфа, которого считал – как будто он один тогда – глупым человеком и вдобавок довольно плохим генералом (много позднее Людендорф писал, что подготовленная Гетцендорфом австро-венгерская армия оказалась «не полноценным орудием борьбы» – «kein vollwertiges Kampfinstrument»). Все же, под сильнейшим давлением со всех сторон, престарелый император дал согласие на войну.

Путешествовали Тонышевы медленно, но вполне благополучно. В Париже и в Лондоне были тоже интересные встречи и разговоры. Алексей Алексеевич был принят самим Греем, который рассказывал ему о положении в России. Положение было прекрасное, весь народ, все партии объединились для борьбы с врагом. Не только о революции, но ни о каких беспорядках и речи не было. Второстепенное должностное лицо из «Форен Офис» пригласило Алексея Алексеевича на обед в свой клуб и высказывало мнения о русской душе. Полное спокойствие в Англии еще подняло настроение Тонышевых, хотя отсутствие всеобщей мобилизации, толпы молодых здоровых людей на улицах (в Париже они не видели ни одного) и формула «*Business as usual*»⁷³ не очень им понравились. Поразило их предсказание нового военного министра, лорда Китченера: война продлится три года. – «Уж не сошел ли он с ума?» – изумленно спрашивала мужа Нина Анатольевна. – «Нет, конечно, не сошел с ума, но он, верно, находит, что так говорить полезно: пусть люди записываются в армию». – «По-моему, они именно тогда подумают, что спешить незачем».

Английские газеты печатали военные сообщения обеих сторон. На западном фронте немцам выпали большие успехи, бельгийские крепости пали, германские армии шли на Париж. Но это Тонышевых не пугало. Русские войска имели не меньшие успехи в Австрии и вторглись в восточную Пруссию. Алексей Алексеевич и Нина Анатольевна с гордостью говорили друг другу, что именно русская армия возьмет штурмом Берлин. Победа под Гумбинненом привела их в совершенный восторг; они за обедом выпили шампанского.

Единственная опасная часть дороги, из Ньюкасла в Берген, прошла тоже благополучно. В Северном море действовали германские подводные лодки; все говорили о минах Уайтхэда, о

⁷³ Дела идут как обычно (англ.).

минных полях, о тральщиках, – теперь штатские люди постоянно употребляли военные слова. Ночью пассажиры не раздевались и держали рядом с собой спасательные пояса. Погода была очень плохая. Пароход шел без огней, и его сильно качало. Нина Анатольевна лежала больная в гостиной. Алексей Алексеевич, сидя рядом с ней, говорил, что нет худа без добра: в такую погоду и подводным лодкам работать трудно. Около полуночи вдруг раздался страшный грохот. Все вскочили с мест, произошел переполюх. Но оказалось, что это от качки свалился в столовой шкаф с посудой.

В великолепном Стокгольме, жившем почти нормальной жизнью, они в «Гранд-Отеле» набросились на немецкие газеты. Их уверенный тон очень раздражил Тоньшевых. В Германии тоже не сомневались в полной победе: падение Парижа обеспечено, скоро будет заключен победный мир. Оказался, кроме Мольтке, еще военный гений: фон Клок. «Становится наслаждением быть немцем!» – писал Гарден, и даже ненавидевшие его антисемитские газеты сочувственно цитировали его статьи. Алексей Алексеевич только пожимал плечами: «Совсем походили с ума, проклятые швабы!» Перед отъездом в Россию он прочел о сражении под Танненбергом, о самоубийстве генерала Самсонова и был совершенно потрясен.

Нина Анатольевна прослезилась на русской границе. Тоньшев задержался в Петербурге. Ему надо было побывать в министерстве, сделать устный доклад, представить записку, выяснить свое положение.

В первый же час после приезда Нина позвонила из «Астории» в Москву. Телефонистка предупредила ее, что по-немецки говорить запрещается. – «Помилуйте, барышня, почему я, русская, стала бы говорить с моим братом по-немецки!» – почти с негодованием ответила она.

Разговор был трогательный. Дамы, давно не видевшие друг друга, плакали. Дмитрий Анатольевич отбирал у жены трубку и тоже что-то взволнованно кричал. Впрочем, говорили о пустяках. Нина Анатольевна от волнения даже зачем-то спросила, который час.

– Я завтра же к вам выеду! Можно ли остановиться у вас?.. Ради Бога, не сердись, я спросила по глупости... Спасибо, да, пока я одна: у Алеши еще здесь дела, будто бы страшно важные. Я столько вам расскажу!

– А мы-то тебе! Вы оба не можете себе представить, что у нас происходило. Ну, слава Богу, что вы благополучно приехали, мы так за вас волновались! Эти немецкие зверства!

III

В Москве взрыв патриотического воодушевления был необычайный. Никогда еще в России, по крайней мере с 1812 года, не было такого согласия и единодушия между людьми. По этой ли причине, вследствие непривычного отсутствия «внутреннего врага», по свойствам ли русского характера или из-за необъятных размеров страны, в Москве и настроение было более веселое, чем в Лондоне, неизмеримо более веселое, чем в Париже.

Чуть ли не каждый день происходили совещания в разных группах интеллигенции. Все были совершенно уверены в близкой победе, все теперь благодушно рассказывали анекдоты о министрах, все ожидали перехода к *настоящему* конституционному правлению и создания ответственного перед Думой правительства. Кое-кто предлагал практические мероприятия. Ласточкин один из первых подал мысль о мобилизации всей русской промышленности. Как инженер и экономист, он представил записку, имевшую очень большой успех. Ему было поручено разработать подробный план.

Дмитрий Анатольевич пожертвовал Красному Кресту столь большую сумму, что денег на его текущем счету не хватило, и он в первый раз в жизни заключил в банке заем. Татьяна Михайловна от него не отставала, – он еще несколько лет тому назад открыл для нее особый банковый счет, к некоторому ее недоумению: «Помилуй, Митенька, зачем мне отдельные деньги? Я даже не знаю, как пишутся чеки!» – говорила она. – «Это нехитрое искусство, я тебя научу», – смеясь, отвечал Ласточкин. Теперь она давала дамскому комитету деньги на подарки воинам и тайно помогала нуждавшимся знакомым, преимущественно семьям призванных, сразу оказавшимся без средств. Как и можно было думать, у большинства русских интеллигентов никаких сбережений не оказалось, несмотря на то, что почти все зарабатывали недурно.

Работы в совещаниях было немало, но эта работа все же не удовлетворяла Дмитрия Анатольевича, и ему было совестно перед людьми, отправившимися на фронт. Несмотря на свой возраст, он в первую же неделю отправился за справками в комендантское управление, где у него были знакомые, как почти везде в Москве. Там ему сказали, что о призыве второго ополчения не может быть речи: людей больше, чем нужно, и война кончится гораздо раньше, чем могут потребоваться ратники.

– Вот будут военные школы ускоренного выпуска, – сказал ему знакомый полковник. – Может быть, офицеры и понадобятся, хотя мало будет, правду сказать, толка от таких офицеров. Если вас примут, что ж, милости просим. Не скрою от вас, что в нынешнюю войну среднюю продолжительность жизни прапорщика в пехоте мы определяем предположительно в три месяца. Вы ведь инженер, для вас несомненно найдется другая работа, где вы будете гораздо полезнее. Да вы и теперь в Москве полезны.

Это ему говорили и штатские люди. Специалисты знали, что русская тяжелая промышленность недостаточно развита и что придется в самом спешном порядке строить новые военные заводы:

- Вот тогда такие люди, как вы, будут цениться на вес золота.
- Не думаю. Я не очень компетентен в устройстве военных заводов.
- Во всяком случае более компетентны, чем для службы прапорщиком запаса.

Это соображение было основательно, Дмитрий Анатольевич себя проверил: «Нет, шкурничества тут нет никакого». Все же он, независимо от одушевления, чувствовал и немалую тревогу. Гибель самсоновской армии его потрясла. Несмотря на смягчения в официальных сообщениях и в газетных статьях, правда скоро стала известна. В полной победе никто еще не сомневался, но теперь уже говорили, что война продлится дольше, чем первоначально предполагалось. «Восемь месяцев, никак не больше, но, вероятно, и не меньше», – признал известный

экономист на основании произведенного им точного расчета финансового и хозяйственного потенциала центральных держав.

– Да как же турки тоже объявляют нам войну? – спросил его Ласточкин. – Значит, они идут на верную гибель?

– Хороши, должно быть, турецкие экономисты, – ответил, пожимая плечами, профессор. Дмитрий Анатольевич говорил с женой и сестрой. Обе горячо поддерживали мнение полковника.

– Все это правильно, но как-то выходит, что у нас воюют только кадровые офицеры, серая крестьянская масса и только небольшая часть интеллигенции, преимущественно молодежь, – с недоумением сказал Ласточкин.

– Если и так, то это лучше, чем во Франции, – отвечала Нина. – Нам в Париже говорили, что какой-то знаменитый химик, кажется, по фамилии Гриньяр, призван в пехоту рядовым и охраняет в тылу мосты! Это уж совершенно бессмысленно!

Алексей Алексеевич смущенно молчал. Ему в министерстве сказали, что отпустить его не могут, что работа для него скоро будет. А в комендантском управлении в Петербурге он узнал, что если его отпустят, то он будет назначен на этапный пункт. «Это значит, в глубоком тылу?» – спросил Тонышев. – «В тылу, конечно, но не обязательно в глубоком. Для фронта вы не годитесь, теперь и методы не те, что были двадцать лет тому назад, когда вы отбывали воинскую повинность».

Люда тоже куда-то ездила, справлялась о возможной работе для женщин. Ей сказали, что работа может быть только санитарная и что прежде всего необходимо пройти курс для сестер милосердия; такие курсы скоро откроются. Кровь и грязь больниц, санитарных поездов были Люде противны. Она и вообще чувствовала себя растерянной. Кооператоры никогда ни о каких войнах не думали. С большевиками она уже несколько лет не поддерживала отношений, но стороной слышала, что растеряны и московские большевики; от Ленина не получили никаких инструкций и даже не знали, что с ним и где он находится: вероятно, в Австрии интернирован.

Из Петербурга скоро приехал в Москву и Рейхель, тоже по связанным с войной делам. Он был в мундире военного врача, но его оставили в Петербурге для производства лекарств. К своему мундиру он относился с насмешкой и почти так же относился к войне. Вдобавок, был убежден в непобедимости Германии. Разговор с ним был очень неприятен и Ласточкиным, и Тонышевым. Он с ними пообедал, узнав предварительно, что Люды не будет. Тонышевы тотчас после обеда ушли; ушла и Татьяна Михайловна.

– А я, напротив, убежден, что Германия будет совершенно разгромлена, – сказал Дмитрий Анатольевич.

– С чем тебя и поздравляю. Но блестящая баталия при Танненберге как будто об этом не очень свидетельствует.

– Ты точно этому рад, Аркаша! «Блестящая баталия»!.. Наши войска проявили истинный героизм. Мы все-таки спасли Францию, дав ей возможность одержать огромную победу на Марне.

– Хороша огромная победа! Твой Жоффр узнал о ней из газет.

– Да ведь это неправда и нехорошая неправда! Во Франции справедливо пишут о русском *rouleau compresseur*⁷⁴. Мы опять перейдем в наступление, и скоро Германия будет, повторяю, разгромлена.

– День в день «через восемь месяцев», как пишет тот болван?

– Он никак не болван, его расчет очень обоснован... Я вообще перестал тебя понимать, Аркадий!

⁷⁴ Паровой каток (франц.).

– Я ни минуты в этом не сомневался. Да если и победят Германию, то не велика радость в том, что миллион людей съедят черви раньше, чем полагается.

– Люди погибнут, но идея восторжествует... Ты стал уж очень материалистически относиться к жизни.

– Я и всегда так к ней относился. Знаю, что теперь не в моде быть материалистом, даже естествоиспытатели отрещиваются и конфузятся или делают такой вид. Но я не конфужусь. Да, я материалист. Ты нет?

– Нет... А в бессмертие души ты совершенно не веришь? – быстро, неожиданно для себя, спросил Ласточкин.

– Совершенно не верю. Неужели ты веришь в эту ерунду?

– Я не могу ни утверждать, ни отрицать то, что знанию недоступно.

– Уж будто? Пониманию во всяком случае доступно. Если верить в бессмертие души человека, то логически надо признать, что бессмертны также блоха или удав.

– И ты вполне удовлетворен своим миропониманием? И своей жизнью? – спросил Дмитрий Анатольевич, ничего в последние годы не знавший об интимной жизни Рейхеля. Знал только, что он по-прежнему не был женат. «Верно, какая-нибудь связь у него есть?» – предполагал он в те, все более редкие минуты, когда думал о своем двоюродном брате.

– Это совершенно другой вопрос, не имеющий с миропониманием ничего общего. А мое миропонимание ты давно знаешь. Как это Шопенгауэр говорил? «Врач видит человека во всей его слабости, адвокат во всей его низости, а священник во всей его глупости». Работой же своей я доволен.

– Рад за тебя. Вот бы ты открыл средство борьбы с раком! – сказал с улыбкой Ласточкин, прекращая неприятный разговор. – Ну, хорошо, а что в Петербурге говорят о будущем мире?.. Не знаешь ли ты, кстати, где теперь находится граф Витте? Он все-таки неизмеримо умнее наших нынешних государственных людей и был бы, верно, очень полезен при заключении мира.

– По случайности я от кого-то слышал. Война застала его во Франции, в Люшоне. Мне говорили, что он пришел в дикое бешенство и осыпал за глаза грубейшей бранью всех министров всех стран.

– Это на него похоже, – сказал со вздохом Ласточкин.

IV

Появились Военно-промышленный комитет, Земский союз, Союз городов. Ласточкин работал все больше. Ему полагался для поездок на фронт мундир с погонами военного чиновника. Заваленный теперь заказами, лучший военный портной Комаров, в виде исключения, сшил мундир в несколько дней. Ласточкин смущенно показался в нем своим дамам. Они веселились, но хвалили. Люда говорила, что он носит мундир прекрасно, – «просто гвардеец!». Татьяна Михайловна шутливо советовала купить заодно и какой-нибудь орден, – «так будет еще красивее». По требованию дам, Дмитрий Анатольевич даже снялся в мундире у фотографа, и карточки вышли превосходные. Одна немедленно оказалась на полке в будуаре у жены, рядом с его карточкой на верблюде у пирамид: когда-то ездили вдвоем в Египет. Было на полке еще и немало других его фотографий, тоже обычно остававшихся от их путешествий.

Он ездил на фронт то для деловых переговоров с разными командующими, то для раздачи подарков солдатам. На фронте его мундир такого успеха не имел. Ему казалось, что генералы смотрят на него с усмешкой, и он, верно ли или нет, толковал про себя их чувства: штафирка, не умеющий носить мундир, вероятно, очень богатый, живущий в тылу с большим комфортом! Все же принимали его очень любезно и, что в первый раз его изумило, говорили с ним откровенно, не стесняясь в выражениях: очень ругали ведомство снабжения, еще больше военного министра Сухомлинова, а некоторые и самых высокопоставленных людей. Как будто искали опоры у «общественности», – это слово теперь беспрестанно повторялось в разговорах и в газетах.

Возвращаясь с фронта, он делал секретные доклады в тесном кругу. Оговаривался, что круг его наблюдений ограниченный, сообщал, что дух на фронте гораздо лучше, чем в тылу, где рестораны были переполнены и лилось шампанское, подававшееся в кофейниках. Но, передавая слова генералов, он делился своей тревогой. Его слушали озабоченно. В докладе после третьей поездки Дмитрий Анатольевич прямо сказал, что на фронте ругательски ругают *высшее правительство*, а о Распутине выражаются не иначе как самыми непристойными словами и грозят его без суда повесить, если он посмеет появиться в Ставке. Этот его доклад произвел сильное впечатление.

Все говорили, что общественность должна взять дело войны в свои руки. Говорил это и Ласточкин. Но не мог не думать, что, как ни плохо работает правительство, не так уж хороша и общественность. «Да это и вполне естественно, к *такой* работе у нее уж подготовки нет ни малейшей. Что ж, у нас какие-либо особые таланты? Или чудом влияет какая-то общественная благодать? Увы, это вздор. И заводы мы строим не медленнее, не хуже, но и не быстрее, не лучше, чем их строит правительство. И деньги не мы достаем посредством добровольных пожертвований, а это те же казенные средства, поступления от налогов и займов, то, что правильно называется народными деньгами. Наш труд? Да, мы его отдаем. Во многих случаях бескорыстно», – думал он, с неудовольствием вспоминая, как загребают деньги многие фабриканты, да еще определяют на безопасную службу членов своих семейств и своих более молодых приятелей. Об одном крупном московском заводчике говорили, что он наживает около миллиона рублей в *месяц*.

Было неприятно и то, что теперь еще больше прежнего богател он сам, и все по той же причине: теперь уже бешено поднимались в цене принадлежавшие ему давно паи разных промышленных предприятий. «Что же я тут могу сделать? – говорил жене Дмитрий Анатольевич. – Заводы завалены военными заказами. Ты ведь знаешь, что я жертвую немало, но не выбрасывать же деньги за окно!» Татьяна Михайловна с ним соглашалась; ей тоже было совестно; автоматически стали расти и их расходы; они теперь проживали гораздо больше, чем еще недавно, и не только из-за увеличения стоимости жизни: для богатых людей она чрезвы-

чайно отставала от роста доходов. «Жертвуй еще больше, нам и не нужно, когда нет детей», – говорила Татьяна Михайловна со вздохом.

Военно-промышленный комитет поручил Ласточкину ведать постройкой большого военного завода за Рогожской заставой. На этом он, разумеется, не наживал ни гроша и отдавал свой немалый труд совершенно безвозмездно. Но богатели подрядчики. Заключенный с ними договор казался ему бессмысленным: подрядчики, тоже освобожденные от воинской повинности, получали десять процентов от стоимости постройки; им таким образом было выгодно, чтобы постройка обошлась дороже. Выработать другой договор было невозможно: такие заключали *все*, иначе подрядчики отказывались работать; между тем все делали они и, разумеется, инженеры, служащие, рабочие; он же только торопил, следил за сметами, все проверял, сокращал по мере возможности расходы, – мера, впрочем, была небольшая; напротив, из-за безостановочного роста цен сметы приходилось часто увеличивать.

Недалеко от его завода строился другой, казенный военный завод, и там происходило то же самое. Оба завода начали строиться почти одновременно, и почти одновременно постройка кончилась и началось производство. Несмотря на глухое соперничество наверху между общественностью и правительством, Ласточкин наладил корректные отношения с военными, строившими второй завод, обменивался с ними мнениями, сведениями, советами; видел, что там были такие же подрядчики с такими же договорами. И такие же порядки, и такие же результаты. Оба завода находились поблизости от исторических мест московского царства, с названиями, известными всем по школьным учебникам. Проезжая по ним на автомобиле, Дмитрий Анатольевич видел рядом с заводами древние строения или развалины, и это ему напоминало будки с бензином на Аппиевой дороге под Римом.

Немцы на фронте пустили в ход удушливые газы. Русские заводчики тотчас занялись и этим делом. О фосгене, цианистых и мышьяковых соединениях Ласточкин уж совершенно ничего не знал. Он стал спешно изучать технические книги, попутно возобновлял свои небольшие познания в химии. Нанял еще людей и кое-как наладил производство газовых снарядов. Видел, что *все-таки* его труд и энергия полезны. Тем не менее настроение у него ухудшалось и подъема становилось меньше. Он ежедневно заходил в новую лабораторию с плохими вытяжными шкафами, с кое-как налаженной вентиляцией. Раз даже наглотался газов и лишился сознания. Его пришлось приводить в себя принесенным откуда-то шампанским для поддержания деятельности сердца (о шампанском ему потом было особенно совестно вспоминать). Его немедленно отвезли на автомобиле домой. Татьяна Михайловна пришла в ужас. Он пролежал в кровати несколько дней и заметил, что его здоровье ухудшилось. Этого он жене не сказал и снова стал ездить на завод каждый день.

Скоро газовые снаряды стали отправляться на фронт, – «очень недурные, не хуже немецких», – с гордостью говорили химики. Он слушал это радостно. Знал, что от газовых снарядов люди умирают в тяжелых мученьях. Это противоречило всему его прежнему взгляду на жизнь. Но он знал, что и думать об этом недопустимо. «О пацифизме надо надолго забыть, не мы начали войну».

Позднее один из рабочих, уже не в лаборатории, а на самом заводе, где вентиляция была еще хуже, наглотался газа гораздо сильнее и умер; ему шампанского не принесли. Это произвело тягостное впечатление на всех, особенно на Дмитрия Анатольевича. Он выхлопотал пенсию и единовременное пособие вдове с детьми и сам немало добавил из своих денег. Винить себя он не мог: устроить лучшую вентиляцию было в условиях военного времени невозможно. Утешался тем, что и сам пострадал, что есть в дальнейшем риск и для него.

V

Тоньшев получил назначение на промежуточный этапный пункт. Министерство иностранных дел отпустило его неохотно и объявило, что позднее вытребует его назад. Это прозвучало как бы *обещанием*, и он был немного задет: «Точно я хочу уклониться от военной службы!» Этапный пункт был в глухом местечке. Женам не полагалось сопровождать офицеров хотя бы и в тыл. Но и независимо от этого, условия жизни в местечке были таковы, что Нина Анатольевна никак туда переехать не могла бы. Она осталась в Москве у Ласточкиных.

Его работа была, конечно, полезна, но с ней мог бы справиться любой писарь. Служебные обязанности были утомительны, однако свободного времени оставалось немало; сослуживцы были не очень интересные люди, он с ними поддерживал корректные отношения и скучал. Еда была довольно обильная, – он даже удивлялся тому, что армию кормили так сытно, хотя все ругали интендантство. Можно было тайком покупать и водку, – ее тоже подавали в кофейниках или в чайниках. Это неизменно подавало повод и к шуткам, и к раздражению: запрещение продажи вина было очень непопулярно, хотя все признавали, что, быть может, от него есть и польза. Но он боялся *спиться*, — существовало давнее литературное клише: образованный человек спивается в глуши, – точно люди реже спивались в столицах.

Алексей Алексеевич выписывал петербургские и московские газеты (французские и английские приходили плохо). Продолжать исследования о Каунице было невозможно. Разумеется, он вывез из Вены то, что уже было им написано, вывез и записные тетрадки, но даже в Москве работы не продолжал. Его большая библиотека осталась в Вене. Правда, можно было читать книги в Румянцевском музее, но они оттуда на дом не выдавались; между тем он любил работать в одиночестве, в своем кабинете, с собственными книгами, на которых мог бы делать пометки, ставить вопросительные или восклицательные знаки (на самом деле он пометок никогда не делал, – так любил книги, – а отмечал нужные страницы отдельно).

Писал он свою работу по-французски и предназначал ее, разумеется, для издательства Плон, специализировавшегося на таких трудах и вдобавок самого старого в мире. В свое время из Вены снесся с этим издательством, и оно «в принципе» согласилось выпустить его книгу. Он упомянул, что гонорар его мало интересует, но спросил и об условиях, чтобы его не считали дилетантом. Писать по-русски не имело смысла: слишком мало читателей оказалось бы для такого труда в России, едва ли даже нашелся бы русский издатель.

Главное же было в том, что у него прошла охота писать об австрийском государственном деятеле. По-прежнему он почитал Кауница и собирался противопоставить его нынешним бетманам и берхтольдам, но, написав чуть не половину книги, с неудовольствием увидел, что, собственно, определенной русской политики у знаменитого канцлера не было – или она так же часто менялась, как у Вильгельма II. Кроме того, он чувствовал, что теперь эта книга, если б ее и можно было кончить, оказалась бы мало интересной даже тем пяти или шести тысячам людей, которые вообще читали такие труды: настоящее бросало тень на прошлое. Перед отъездом на этапный пункт Алексей Алексеевич положил свою рукопись в «сэйф»: в местечке она могла и погибнуть.

Все же скоро у него появилось интересное занятие. В Москве Ласточкин, у которого от времени его увлечения мастерской оставались пишущие машинки всех существующих в мире систем, подарил ему «Гаммонд».

– Нет, нет, пожалуйста, не отказывайся и не думай меня отдаривать. Мне она совершенно не нужна, видишь, сколько их здесь, – сказал со вздохом Дмитрий Анатольевич. – Я не понимаю, как культурный человек может жить без машинки! Ты знаешь, Льву Толстому в последние годы его жизни переписывали на машинке все, что он писал. По своим взглядам он должен был бы «отрицать» машинку, говорить, что она не нужна мужику, и так далее. Но как писатель,

он не мог ведь не понимать, что это для него огромное облегчение, что все становится ему самому яснее, когда он читает свою работу в переписанном чистеньком виде, с полями для новых изменений.

– Ему, верно, переписывали секретари, а кто будет переписывать мои шедевры? – смеясь, сказал Алексей Алексеевич.

– Научишься, это очень просто.

– Во всяком случае, сердечно тебя благодарю за подарок.

Действительно, он легко научился писать и теперь думал, что надо было обзавестись машинкой еще в Париже или в Вене: тогда можно было бы при составлении секретных бумаг обходиться без посольских переписчиц. Теперь он попробовал было писать на «Гаммонде» письма к жене: писал ей каждый день, а раза два в неделю вкладывал страницу и для Ласточкиных. Однако от Нины тотчас пришел протест: она желала, чтобы он по-прежнему писал ей пером. Зато все другое Алексей Алексеевич писал на машинке с копией; было приятно через несколько месяцев перечитывать свои письма, особенно когда они касались политических дел.

Неожиданно пишущая машинка дала ему мысль: составить новую записку для министерства иностранных дел. В местечке переписчиков не было, во всяком случае не было вполне надежных. Записку, написанную пером, министру было бы не очень легко прочесть. Тоньшев написал страниц двадцать об одном происходившем в Лондоне совещании, где между других дел обсуждалась будущая участь славянских народов Австро-Венгрии. Газеты сообщили об этом совещании кратко, докладов в министерство и его инструкций послам Алексей Алексеевич не видел, кое-что знал из писем сослуживцев. Но состав участников был ему известен, и он приблизительно догадывался, *что* могли думать Грей, Никольсон, Делькассе и пока еще бессильные, но много обещавшие эмигранты, как Масарик, Бенеш и другие.

Он сделал оговорку, касающуюся своей недостаточной осведомленности. Несмотря на свою любовь к Вене и уважение к Францу-Иосифу, Алексей Алексеевич в записке высказывался за расчленение «Лоскутной империи». На Западе этот взгляд особенно горячо защищали Масарик и Бенеш. Некоторые другие склонялись к тому, что сохранение Габсбургской империи желательно, так как иначе ее немецкие земли рано или поздно воссоединятся с Германией. Бенеш в разговорах высмеивал это мнение и объяснял его полным невежеством иностранцев. Тоньшев был близок к этому взгляду, но вносил некоторое компромиссное предложение: из этих немецких земель должно быть образовано австрийское королевство во главе с наследником, эрцгерцогом Карлом. Кончины Франца-Иосифа давно ждали со дня на день, а молодой эрцгерцог, наверное, удовлетворился бы сравнительно небольшим королевством. Можно было бы даже оставить ему и Венгрию. Эти католические страны с католическим королем составили бы оплот против Берлина. Все славянские земли, разумеется, должны были отделиться. Австрийская Польша, как и германская и русская, должны войти в единое королевство под скипетром Романовых, хорватские земли отойдут к Сербии, а Чехия станет самостоятельной республикой.

Алексей Алексеевич сочувствовал славянам, но к республикам у него не лежала душа, и ему не хотелось, чтобы совершенно сошла со сцены тысячелетняя габсбургская династия. Кроме того, ему действовал на нервы Бенеш, которого он в свое время встречал. Этот бывший школьный учитель, невзрачный, плохо говоривший по-французски человек раздражал его своей необычайной самоуверенностью, честолюбием, ясно чувствующимся в нем желанием стать президентом Чешской республики, либо первым (старик Масарик мог ведь и умереть), либо, в крайнем случае, вторым.

Константинополь с проливами, по записке Тоньшева, отходил к России. Об этом у него в Москве выходили часто споры с Ласточкиным, который с раздражением доказывал, что турецкие земли, где никаких русских нет, России совершенно не нужны, что из-за Аийи-Софии турки все лягут костями, как русские люди сражались бы до последней капли крови за Кремль, и что

вообще не нужны никакие аннексии, – достаточно глупо было и завоевывать в восемнадцатом веке Польшу.

В заключении записки Алексей Алексеевич доказывал, что изложенный им план найдет поддержку во Франции: там тоже очень боятся возможного в будущем присоединения Австрии к Германии. В Англии будет и оппозиция, но часть министров на план согласится, как и «Таймс» с могущественными лордом Нортклиффом и Уикхэмом Стидом; и между тем поддержка «Таймс» имеет больше значения, чем мнение нескольких министров.

На «Певческом мосту» существовали разные направления. Преобладало теперь то, которому идеи Тонышева, особенно австрийское королевство и ограничение числа республик, были приятны. Записка Алексея Алексеевича показалась чрезвычайно интересной самому министру. Она имела неожиданное последствие. Министерство «вытребовало» Тонышева, и он был назначен посланником в одну из небольших нейтральных стран. Это государство само по себе не имело значения и даже не стремилось к этому, считаясь со старым положением: «счастливые народы не имеют истории». Но оно признавалось очень важным наблюдательным пунктом и к тому же (или именно поэтому), как и еще две-три страны в Европе, кишело секретными агентами воюющих держав.

Алексей Алексеевич обрадовался чрезвычайно. Помимо того, что ему надоела жизнь и служба на этапном пункте, ему предложили первый в его жизни пост посланника, редко выпадавший дипломатам его возраста. И, главное, он знал, что будет на этом посту очень полезен России. Правда, новый отъезд за границу должен был огорчить его жену. «Зато теперь опять будем вместе», – написал он ей.

От Нины Анатольевны пришли сначала телеграмма, затем письмо: она горячо его поздравляла, – угадывала его настроение. Сердечно поздравляли и Ласточкины. Татьяна Михайловна только высказывала опасение: опять этот переезд морем, подводных лодок у немцев все больше.

Перед отъездом встал практический вопрос. Рубль понемногу падал, предусмотрительные люди уже платили вместо десяти пятнадцать рублей и больше за фунт стерлингов. Дипломатам, уезжающим за границу, предоставлялись некоторые привилегии по вывозу денег или, во всяком случае, делались поблажки. Тонышеву было неловко ими пользоваться. Ни о какой революции в России он и не думал, хотя его сослуживцы уже почти открыто ругали императрицу. Но жалованье дипломатам вообще полагалось не очень большое; обычно они имели собственные средства. А теперь, при росте цен во всех воюющих странах, на одно жалованье жить было бы совсем трудно,

Он посоветовался с Ласточкиным. Дмитрий Анатольевич говорил неуверенно. Сам он фунтов не покупал и не верил, что они могут еще подняться в цене. Все же склонялся к тому, что не мешает Тонышеву при этом случае легально перевести часть состояния за границу и лучше всего в Англию: уж фунты-то никак понизиться в цене не могут! Алексей Алексеевич откровенно поговорил в министерстве и перевел – во франки, а не в фунты – довольно значительную часть своего состояния.

VI

Ленин действительно был арестован австрийскими властями тотчас после объявления войны. Но за него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок власти, услышав об его взглядах, естественно, признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией. Он был недели через две освобожден, и ему с готовностью предоставили возможность переехать в Швейцарию.

Близкий к нему человек говорил, что он был в те дни «настоящим тигром». Разумеется, его ярость была, главным образом, направлена против социалистов всех стран. Он называл громадное большинство из них подлецами, лицемерами, лакеями, мерзавцами, архипошляками, изменниками, полудиотами, сволочью. Свою программу выработал в первые же дни. «Неверен лозунг «мира», – лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую... *Наименьшим* злом было бы теперь и тотчас *поражение* царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма», – писал он. Проклиная Второй Интернационал, призывал к созданию Третьего. Требовал отказа от самого слова «социал-демократия». Надеялся, что солдаты повернут штыки против офицеров. В Швейцарии выступал на эмигрантских собраниях и всходил на эстраду «бледный как смерть».

Тем не менее он (как, по другим, хотя и сходным причинам, Муссолини в Италии) был в восторге оттого, что началась европейская война: наконец-то монархи и их министры «доставили нам сие удовольствие». Никогда еще надежда на социальную революцию не была такой *настоящей*, как теперь. Революция стала даже *почти* неизбежной, а она делала *почти* неизбежным его приход к власти. Правда, было это вечное, несчастное «почти» исторических процессов. Но социологические законы Карла Маркса, притом именно в его толковании, были, разумеется, верными без «почти». Если он в них когда-либо хоть немного усомнился, то разве лишь в самом конце своей жизни. До того они были совершенно незыблемой, вечной истиной; иначе и жить ему не стоило бы.

Однако он лишь очень немного мог сделать для приближения революции. Европейская война внесла в жизнь такую *необычайность*, какой в истории никогда до того не было. Этой ее особенности – просто по исторической симметрии, – должна была бы соответствовать и необычайность революционного действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в Лозанне, в Цюрихе (все переезжал) лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то выступал перед аудиториями в несколько десятков человек. Теперь и это было труднее, чем прежде: полицейская слежка везде была сильнее, письма вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И, главное, все то же: не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были.

Он сухо («Многоуважаемый») написал Максиму Горькому – предложил ему для легального издания какую-то брошюру: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры». Вскоре затем известил Инессу Арманд: «Рукопись моя об империализме дошла до Питера, и вот пишут сегодня, что издатель (и это Горький! о, теленок!) недоволен резкостями против... кого бы Вы думали?... Каутского! Хочет списаться со мной!!! И смешно, и обидно. Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой – против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

О своем безденежье писал людям, которых тогда «любил» и от которых никаких денег ждать не мог: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». – Вероятно говорил правду. Но вместе с тем он и

теперь что-то печатал, что-то пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольных на жизнь: рублей по 30 или 50 в месяц.

Еще в ту пору, когда он находился в Кракове под арестом, лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись!

Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее, – почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти он целиком перевез в Россию в 1917 году.

Нередко говорили и писали о нем позднее, будто он «в душе» был добр, будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших казнями. То же самое когда-то говорили, и продолжают писать по сей день, о Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на «гуманизм», на котором в молодости «воспитались» (то есть часто о нем читали и болтали). Но это были исключительные случаи (не более частые, чем такие же, например, у Стеньки Разина). Чаще они прикрикивали на сподручных за «снисходительность». Так, в июне 1918 года Ленин продиктовал следующее письмо Зиновьеву («Также Лашевичу и другим членам ЦК»):

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услышали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, *тормозим* революционную инициативу масс, *воплне* правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего *решает*.

Привет! *Ленин*».

Вероятно, испугался и за себя (хотя вообще не был боязлив). Разумеется, было бы невозмож-но, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь!

Окольные с полной готовностью исполнили его приказ о «массовидной» кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений, в примечании к этому его письму, кратко и деловито добавляет: «За белый террор против большевиков по инициативе рабочих масс эсеры были подвергнуты красному террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах центральной России».

Часть седьмая

I

Февральскую революцию почти вся московская интеллигенция приняла с восторгом: отцы и деды мечтали, наконец сбылось! Простой же народ обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне.

В первое время в кругу Ласточкиных говорили, что и война теперь пойдет совершенно иначе: «Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел конец немецким влияниям и придворным интригам!» Скоро, однако, о войне вообще стали говорить меньше и начали чтение газет не с сообщений ставки, а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили: «Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая, никому не нужная война!» Временным правительством в первые дни все очень восхищались. И только профессор Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде рассказывал о царских.

– Конечно, все они замечательны, благородны, гениальны! – весело говорил он. – Даже читать приятно, хотя и скучновато. Ни одного «небезызвестного»! Прежде, если в газетах кого-нибудь называли «небезызвестным», то все понимали: значит, прохвост.

– Стыдно шутить, Никита Федорович. Они все действительно честнейшие люди и работают двадцать часов в сутки!

– Ох, столько не работают. Да и лучше работали бы поменьше, надо человеку и поспать, и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по поводу обедов: вчера в «Праге» подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь еще недавно «море ядения и озеро пития разливашеся».

– Ничего, едва ли ушли голодным. А если и ушли, то Временное правительство в этом не виновато.

– Да вы не гневайтесь, Дмитрий Анатольевич. Но все-таки ведь я тоже не виноват. И еще кстати: позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит: теперь свобода.

– Вы в душе крепостник, Никита Федорович, и у вас, верно, платили ему рублей восемь в месяц, – пошутила Татьяна Михайловна. – У нас никто расчета не потребовал. А если требует, то опять-таки князь Львов в этом неповинен.

– Да я ничего не говорю. Конечно, они хорошие люди. Только уж очень все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают кандидатуру в Учредительное собрание.

Это было отчасти верно. Ласточкину говорили, что он пройдет в Учредительное собрание без затруднений, если примкнет к партии социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел; подумал, что сказали бы в «Русских Ведомостях», и остался «левее кадет». Зато совершенно искренне принял формулу «без аннексий и контрибуций».

Жизнь стала труднее. От поездок за границу Ласточкины за три года отвыкли. Теперь трудно было уехать и в Крым или на Кавказ, да и не очень хотелось. В начале лета они отправились, без особенных дел, в Петербург (который никогда не называли Петроградом; очень не одобряли эту перемену). Туда ездили все их друзья и тоже без особенных дел. Надо было «потолковать с Временным правительством». Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы стать товарищем министра; для участия в правительстве позиция «левее кадет» была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно против этого: здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя правительственную деятельность. «Пусть они работают двадцать часов в сутки, и, конечно, спасибо им, но ты, Митя, не можешь. Помни, что сказал Плетнев».

«Потолковав», Дмитрий Анатольевич увидел, что больше ему делать в Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех удивило: по-видимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно, но руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его наблюдениям, велась плохо. «Что же они могут сделать в этом хаосе, даже если бы они были гениями? А я во всяком случае не гений. И лебезить перед Советом я не мог бы. Не мог бы и сидеть между двух стульев», – думал он. Без восторга согласился баллотироваться в Учредительное собрание, если его включат в список беспартийного левого.

Рейхель, которого они по телефону известили о своем приезде, радостно пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет отвратительный.

– ...Это ничего. Ведь Россия, слава Богу, освободилась от невыносимого царского гнета и благоденствует благодаря дорогим нам всем князю Львову, Керенскому, Нахамкесу и совету рабочих и собачьих депутатов! – кричал он в аппарат. «Видно, стал уже совсем реакционером, если не черносотенцем!» – с досадой подумал Ласточкин.

Аркадий Васильевич жил на Васильевском острове, на одной из самых некрасивых улиц, в одном из самых безобразных домов. Его небольшая гостиная напоминала приемную зубного врача. Посредине на тощем коврик с цветочками, под огромной медной люстрой, стоял шатающийся столик, на нем были старые номера «Нивы» и две пепельницы: фаянсовые ослы с отверстиями в спине. Вокруг столика стояли неудобные стулья и кресло, обитые грязно-серым репсом; на одной стене висел непостижимо безобразный «гобелен» с нимфой, на другой, симметрично против нимфы, в золоченой раме плохая копия «Урока анатомии» Рембрандта. Были еще настенные часы с циферблатом в цветочках, тоже непостижимо безобразные.

Рейхель стал еще самоувереннее и еще гораздо озлобленнее, чем был. Татьяна Михайловна обратила внимание на то, что он внешне опустился. «Почти все люди с годами становятся небрежные в туалете. Только Митя и Алеша так же элегантны, как были. Но Аркадий совсем перестал собой заниматься». В самом деле воротник у Рейхеля был теперь грязен, вместо двух пуговиц на жилете торчали ниточки, одна пуговица на брюках была не застегнута, – он заметил это не сразу, незаметно застегнул и покраснел.

– Вы оба, конечно, в восторге от положения! – сказал он им с первых же слов за обедом. – Вы ведь годами в Москве на всех банкетах говорили: «На святой Руси петухи поют. – Будет скоро день на святой Руси». Вот и настал день, предвещенный всеми петухами, будь они трижды прокляты. Дожили до счастливого социалистического строя, а? Ведь ты, Митя, ждал всего самого лучшего от войны, правда? Теперь ты, наверное, ждешь всего самого лучшего от революции?

– Это неверно, – сказал Ласточкин, стараясь не раздражаться. – И давно известно: «Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe – Die der Mensch, der Vergängliche, baut?»⁷⁵ Кроме того, социалистического строя пока нет. И я далеко не в восторге от всего, что происходит.

– Неужели ты не в восторге? Быть не может! Но ведь вы хотели революции? Разве она не оправдала надежд лучшей части человечества?

– Иронизировать очень легко. А какая твоя положительная позиция?

– Моя положительная позиция: всех перевешать.

– Вот как? Это, конечно, программа. Кстати, и не совсем осуществимая: где вы, почтенные господа контрреволюционеры, найдете для вашей программы силы?

– Это очень просто: надо открыть фронт. Пусть немцы наведут у нас порядок. Я давно вам говорил, что они непобедимы.

⁷⁵ «Что замыслы, надежды, коль человек не вечен» (нем.).

– Ты говорил, но твое предсказание, слава Богу, не осуществилось и не осуществится... Так ты вдобавок стал пораженцем? Как Ленин? – спросил Ласточкин уже не шутливо, а очень холодно.

– Ленин с его Нахамкесами умные люди. И что в том, что они пораженцы? Разве ты, Митя, не был пораженцем в пору войны с Японией?

– Не был.

– Будто? Я не знал. Значит, ты был исключением. Девяносто девять процентов нашей интеллигенции состояло из пораженцев. Да что война с Японией? Всегда так у нас было. Я теперь в лаборатории работаю очень мало: благодаря светлым умам товарищей, у нас больше ничего нет, простого эфира нет или не могу достать, потому что орудуют и спекулянты. Так вот я от безделья стал читать разные исторические книги. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, была, оказывается, настоящей пораженкой в царствование Анны Иоанновны. А Смутное время! Вы читали, Таня, «Юрия Милославского»? Вы ведь все такое читаете.

– Читала. Милый, но смешной роман. Подумать только, что это было написано одновременно с «Капитанской дочкой»! А еще говорят, будто время создает что-то общее между писателями.

– Меня очень позабавило, что там люди семнадцатого века тоже называют друг друга «товарищами» и «гражданами». Но я говорю не об этом. Помните, сколько там, да и у всех наших школьных Иловайских, написано о священном патриотическом восторге в армии князя Пожарского. А вот, по словам настоящего, знаменитого историка, келарь Авраам Палицын, когда приехал к князю, нашел у него «мятежников, ласкателей и трапезолюбцев». Да, да, славны бубны за горами! – говорил Рейхель.

Его радостное настроение все увеличивалось в последнее время оттого, что дела шли плохо: «Все вышло именно так, как я предсказывал!» Собственно он не предсказывал ничего, но был уверен, что все заранее предвидел. Опасаясь, что дело идет к ссоре, Татьяна Михайловна перевела разговор. Сказала, что вино, кажется, очень хорошее.

– Да, оно из царских погребов, взгляните на этикетку, – радостно ответил Аркадий Васильевич. – Как вы помните, наш народ-богоносец в дни великой бескровной разграбил Зимний дворец. Ваши друзья, разумеется, уверяли, будто он только уничтожил эмблемы ненавистного самодержавия. Я ни минуты и не сомневался, что они будут врать именно так. На самом деле богоносец просто разворовал все, что только мог. И вот три доблестных солдатика напились как свиньи, принесли и в наш дом бутылки из царского погреба и дешево продавали, всего по пять рублей штука.

– Они продавали краденое, а ты купил, – сказал, не сдержавшись, Ласточкин. Рейхель сделал вид, будто не расслышал.

– Надо было видеть морды этих солдатиков! – говорил он. – Ах, как я ненавижу народ! Теперь что? Пока только цветочки, а ягодки впереди. Сейчас еще, как видите, едим котлеты, и вино есть, а скоро будет голод, как в Смутное время в Кремле у поляков: там родственники убитых воинов вели между собой процессы: кто по степени родства имеет право съесть тело? Мы и до этого доживем. Буду с вами судиться, Таня, кому съесть Митю.

– Типун вам на язык, Аркадий! Гадко слышать все, что вы говорите! – сказала Татьяна Михайловна, очень рассердившись. Ей захотелось поскорее уйти от этого злобного человека, ставшего и вызывающе самодовольным. Такое же чувство испытывал и Дмитрий Анатольевич. Обед, действительно очень скудный, уже кончался. Рейхель объявил, что больше ничего нет.

– Кофе есть. Будем пить там, – сказал он, очень довольный раздражением своих гостей. В кабинете на письменном столе лежали книги. Не зная, о чем говорить, Ласточкин перелистал одну из них, номер русского ученого журнала. На полях были заметки, сделанные рукой Рейхеля: «Бездарная дубина!»... «Совершенный вздор!..»

– У тебя теперь много книг, – сказал Дмитрий Анатольевич.

– Купил гуртом за бесценок библиотеку одного прогоревшего либералишки, но оказалась в ней больше ерунда. Вот, видишь, читаю Толстого, – ответил Аркадий Васильевич, показывая на книгу в роскошном переплете. – Всегда я терпеть не мог этого старичка! Не от Маркса, а от него пошло у нас все, что теперь творится. Маркс это хоть понятнее, он был еврей. («Еще хорошо, что не сказал «жид», – подумала Татьяна Михайловна.) А ваш Лев Николаевич называл себя христианином! В душе он был меньше христианин, чем я с Митей, меньше даже, чем вы, Таня, хотя вы еврейка по рождению. Он был в душе тот же Нахамкес. Впрочем, и весь наш народ не христианский, а языческий...

– Русский народ не христианский!

– Так точно, Митя. Да ваш Лев Николаевич сам это сказал. Вы не верите? – спросил Рейхель и, взяв книгу, открыл на заложённой странице. Там на полях тоже было отчеркнуто несколько строк: «Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которою он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон», – прочел Рейхель с торжествующим видом, подняв указательный палец. – Разумеется, на этот раз ясно-полянский Нахамкес был прав. Умный был человек, это надо признать. Я теперь у него такие находки сделал! Вы читали его «Федора Кузьмича»? У него там император Александр испытывает половую похоть, читая письмо Аракчеева о том, как крепостные убили красавицу Настасью Минкину! Хорошо, а? Правда, у просветленного автора об этом добавлено: «Странно сказать» и пояснено, что Настасья была «удивительно чувственно красива». Хорошо? Вы опять не верите? Хотите, я разыщу? И заметьте, ничего такого об Александре, наверное, никто из историков и мемуаристов не говорил, даже враги не говорили, и никаким садистом он никогда не был, все, значит, от себя выдумал просветленный старичок... Да что вы оба сердитесь? Хорошо, поговорим о другом.

– Поговорим о другом в другой раз, – сказал Ласточкин. – Пожалуйста, извини нас, нам пора.

– Постой, постой, посидите еще... Ты, может быть, не хочешь говорить со мной о Толстом?

– Действительно не хочу.

– Ты всегда ему верил и веришь, а вот он тебе не поверил бы и вообще никому и ничему не верил. Я теперь все его шедевры прочитал. В «Воине и мире» секут солдата, и тот кричит «отчаянным, но притворным криком». Казалось бы, отчего человеку кричать притворным криком, если его секут? Правда, это был плохой солдат, вор. Оказывается, наши чудо-богатыри иногда и воровали, а? А вот в «Севастопольских рассказах» показан уже очень хороший солдат. Ему неприятельская бомба вырвала часть груди. Казалось бы, герой, смертельно ранен, у него, видишь ли, на лице «какое-то притворное страданье»! Хорошо, а? Никому боголюбивый старец не верил. Может быть, даже твоим князю Львову с Керенским не поверил бы, а? Воображаю, как он их возненавидел бы, если б дожил... Постойте, а Гоголь? Тоже хорош был лицемер! «Соотечественники! Я вас любил...» Никаких соотечественников он отроду не любил, все вранье!

– Я могла бы вас понять, Аркадий, если б вы ненавидели только революцию, вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России все и всех!

– Вы, Таня, тут, быть может, не судья: вы все-таки не совсем русская, но...

– Фамилия «Рейхель» тоже не очень русская! – сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. Так они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодную ладонь ей на руку.

– Не сердитесь, милая, вы знаете, что я вас всегда любил и люблю, – довольно искренно сказал он. – Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-

нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть расплатонкаратаев!.. А вот одна мысль у Гоголя очень правильна, я выписал. – Он взял из ящика тетрадку и прочел: «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся...» И тут не мог не соврать: вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава Богу, прожил, и не стонал никак его состав, а сказал он верно: именно мы – или, вернее, вы – сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь!

– Я не радуюсь, – ответил Ласточкин. – И я готов признать нашу вину, но вина была не только наша. Другая сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров, а штаб-офицеров никак нельзя. Не забывай и штаб-офицеров, и не все было так прекрасно в прошлом, – сказал он вставая: хотел закончить шутливо тягостный разговор. – Ну, прощай, Аркаша.

– Да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами.

Больше они Рейхеля не видели.

– Надо признать факт: он нам чужой человек! Все, что он говорил, отвратительная передержка! – сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу.

– Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобленье произошло от того, что его тогда не сделали директором института!

Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал, Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегчением узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить.

В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке Модерн глава либеральной партии спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами. Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора.

– Это верно, он совершенно бесстрашный человек, – ответил ей муж. – Но Дарданеллы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них это чистое безумие!

На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил.

– Просто какой-то снаряд бешенства и энергии! – сказала Татьяна Михайловна.

– Именно. Я такого никогда в жизни не видел! Это большая сила... И как это его никто не убивает! – неожиданно добавил Ласточкин. Жена взглянула на него с недоумением.

II

Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию: как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно относилась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России. Это вызвало у нее крайнее возмущение. Теперь он вернулся в Россию через Германию, в plombированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам.

Зачислиться в другую партию ей было неловко – по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же, в отличие от него, ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. Все же с некоторой завистью следила по газетам за шедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, не образованнее и не даровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты; были известны всей России, – особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами Учредительного собрания, в которое стремились решительно все.

Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалованья откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу – больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно: «Вот тебе раз! Становлюсь капиталисткой!» Все же было приятно, что она теперь стала независимой, может и без всякой работы безбедно прожить года два, может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании.

Впрочем, она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть, но она перед войной прожила недели две в Крыму и там, без знакомых, скучала. Когда в Москве становилось уж очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кунцево и оттуда каждый день приезжала на службу; это отпуском не было. Однако к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель съездить в Кисловодск: на Кавказе никогда не была.

Ласточкины в это лето не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество.

– Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые, – сказала Татьяна Михайловна. Люда, со смешанными чувствами, подумала о Джамбуле. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно: вспоминала о каком-то *общем*, собирательном, очень похожем на него человеке (живой Джамбул уж очень менялся за три-четыре года их знакомства, встреч, связи). Так, Сезанн писал свои «натюрморты» с *искусственных* цветов: живые слишком быстро, с каждым мигмом, увядают. Люда и не знала, где теперь находится Джамбул: «Верно, в Тифлисе или у своих родичей, где это?» – подумала она: не помнила точно, как называется его земля: «все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой Военно-Грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса, там, помнится, где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане... Но и незачем мне с ним встречаться, ничего вообще больше в жизни не будет». Люда вздохнула. «А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила... Теперь исправлюсь, да мало радости в этих исправленьях! Просто старею». Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни.

Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе «Большой Энциклопедии» издательства «Просвещение», которую ей ко дню рождения подарили Ласточкины. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов; теперь она не только покупала, но и читала книги, имела полные собрания сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря: «пусть вор все перебирает и вытряхивает!» Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала: было всего сто восемьдесят рублей ассигнациями; золото давным-давно исчезло, чем Люда была скорее довольна: бумажки гораздо удобнее. «На сто восемьдесят далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи».

Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону (она давно имела телефон в своей маленькой квартире) дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве.

– Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой! Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время! – сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом.

– На Кавказ! Наверное, в Кисловодск? Как я рада! – сказала Люда искренно. Она любила Альфреда Исаевича, с ним было весело, он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно.

– Нет, не в Кисловодск, а скорее в Ессентуки или в Пятигорск, еще не решил.

– Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь, Альфред Исаевич? – пошутила Люда.

– В Пятигорск ездят, могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью, – сказал дон Педро недовольным тоном: он не любил скабрзных шуток, особенно со стороны дам.

– Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете?.. Вы с женой?

– Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей, в западном крае. Ей лечиться, слава Богу, не надо. Я, впрочем, тоже совершенно здоров. Сиротинин сказал, что сердце у меня, как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водичей... Так вы едете в Кисловодск, это очень приятно. Когда же? Вы хотите лечиться?

– Нет, не лечиться, нема дурных. Еду послезавтра. Поедем вместе?

– Вас, Людмила Ивановна, я готов был бы ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне.

– Жаль. Я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту?

– Я вам могу достать в два счета, – сказал Альфред Исаевич. Это было новое выражение, или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражение «пара слов», или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали «одесскими». – Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет?.. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито! Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает.

– В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз!

– Поедем лучше в Ессентуки! Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать, – галантно добавил дон Педро.

«В самом деле, отчего бы не поехать туда?» – подумала Люда, отойдя от аппарата, и взглянула на великолепные стенные часы – подарок Ласточкиных на новоселье. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. «Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить».

Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил:

– Знаете что, милая? Возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаясь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали.

– А мои ценности можно быстро продать?

Дмитрий Анатольевич засмеялся.

– Я сейчас подсчитаю и дам вам чек.

– Чек? – спросила Люда. – Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?

– Необычайно сложные! Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом. Когда вы уезжаете?

– Послезавтра утром.

– Вот тебе раз! – сказала Татьяна Михайловна. – Значит, мы больше до твоего возвращения не увидимся? Мы ведь завтра утром с Митей уезжаем в «подмосковную» к Варваре Петровне и вернемся только в понедельник.

– Да, это досадно, – подтвердил Дмитрий Анатольевич. – Тогда ничего не поделаешь, берите чек. С чеком человеку получить деньги легко, а вот без чека труднее... Ох, дамы! Я сейчас же сосчитаю, – добавил он, вставая.

– Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка? – спросила Люда. – А то поехали бы тоже на Кавказ? Отлично бы там пожили, а?

– Не может богдыхан. Его рвут на части, – грустно сказала Татьяна Михайловна. – Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. Скажи ему на прощанье и свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня?

– Не спешу, но долгие проводы лишние слезы. Подумаешь, якая беда стать министром! Ты шутишь.

– Не шучу... Ты, наверное, вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке.

– Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю! – вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла «излияний».

– И мы оба тебя тоже. Очень!.. Подумать только, что мы когда-то были в «холодно-корректных отношениях»!

– Это была не твоя, а моя вина.

– И не твоя. Просто люди добреют с годами.

Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. «Кажется, расчувствовались? Что бы это?» Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством, особенно когда она подходила к нему и его целовала.

– Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал, – натянуто-весело сказал он.

– Митя, вы, верно, от себя прибавили! Не может быть, чтобы у меня образовалось так много!

– Даю вам слово, что не прибавил ни гроша.

– А если я все это потеряю или у меня вытащат?

– Постарайтесь, чтобы не вытащили. В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олений рог для вина: вдруг буду где-нибудь на банкете «тамадой», – «пей до дна!»... Ах, славное место Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к замку Коварства и Любви?

– Помню, – сказала Татьяна Михайловна обиженно (точно она могла этого не помнить).

– А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим?

– Да, до сентября.

Они никак не могли думать, что видятся в последний раз в жизни.

III

Ленин, приехав после февральской революции из Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильинишны в доме на Широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф; по его просьбе в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего и не было нужно.

Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда, 4 апреля, потрясая его ближайших товарищей по партии, наверное, перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля Суханова сказано: «Приветствия-доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всеокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, – носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников. Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслышанным содержанием своей ответно-приветственной речи, – не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию».

Если о немедленном устройстве второй, уже социалистической, революции не думали в апреле 1917-го светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинишна. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинишна никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что Широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай – придавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы.

Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось.

Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, ни даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой.

Никто из его товарищей вначале не собирался «захватить власть вооруженной рукой». Если б это можно было сделать не «вооруженной рукой», многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том, почти всеобщем, благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после февраля, все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили-Коба, уже довольно давно называвшийся Сталиным, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно противоречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это ни неприятно, пока останется капиталистическим. Будет создано Учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение ругательски всех ругал. Ему возражали, – большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали (иногда в смягченной форме и говорили), что Старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм, в бакунизм, во «вспышкопускательство». Приводили цитаты из Маркса.

Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, «советовался с Марксом», то есть его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать,

брал подходящие, – можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженное восстание и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом *чувствовал*, что другого такого случая не будет.

Он в самом деле отстал от русской жизни, да собственно никогда ее хорошо и не знал. Но одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья – огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить?» – спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно.

Через много лет Троцкий сравнил его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба: «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план: я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно. Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться и что тогда их всех перевешают. Но в своем «плане» он с этим не считался. План – то есть твердое решение устроить в России и в мире социальную революцию – был им принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной «разработки» не было ни тогда, ни даже позднее. Да если б она была возможна и показала, что план неосуществим, Ленин, в отличие от Наполеона, все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных кампаний; без каждой из них можно было бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни.

Правда, была еще *теория*. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, что делать с рукописью в случае, если его убьют. Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать.

Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное: один за другим, хотя с сомненьями и колебаниями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал: разумеется, захват власти вооруженной рукой! Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы: ранг был не тот, его и знали еще очень мало.

Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключениями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившаяся победой, постоянные выступления на многолюдных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4 июля новый большевик Троцкий – и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства, восстание провалилось, – приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь «смотр сил», что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича; ох, опростоволосился Старик, пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего, гидра реакции поднимет голову.

И действительно, все враждебные газеты, то есть почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствовали. Несколько растерялся и он сам. Собрался было «предстать перед судом», – мысль для него почти непостижимая. Но его легко отговорили: укокошат, расстреляют или разорвут на улице! Особенно отговаривал Сталин: уж он-то нисколько не сомневался, что укокошат, – так, разумеется, поступил бы с врагами он сам и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина.

Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки; перешел на нелегальное положение – как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще, затем – тоже как двенадцать лет тому назад – уехал в Финляндию.

Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны.

Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части: так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди, – он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде.

Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям плохое свойство для государственного человека. Но, верно, потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину.

О начинавшем карьере Робеспьера граф Мирабо с удивлением заметил: «Этот человек далеко пойдет: он действительно верит во все то, что говорит!» О Ленине трудно было бы сказать это, трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой, а то, что говорили враги, то есть не подчинявшиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства, да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренно считал себя «жертвой клеветы» и новым Дрейфусом.

Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир, – это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела: главный его шанс, бесконечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ставивших себе целью окончание войны. Ленин написал за границу: «Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева... я считаю верхом глупости, если не подлости... Я считаю участие в Стокгольмской конференции и во всякой иной вместе с министрами (и мерзавцами) Черновым, Церетели, Скобелевым и их партиями прямой изменой». Еще более грубой бранью осыпал западноевропейскую «министериабельную сволочь».

В Финляндии он мог жить более или менее безопасно. Но на всякий случай он теперь прятался и тут: почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все его инструкции сводились к одному: вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный комитет сильно – и все же недостаточно.

Тормозили дело недавние любимцы, Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел, – правда, ненадолго: в полное отличие от Сталина, злопамятен никогда не был, и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал «мерзавцами» и «сволочью», – лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робеспьер не мог сказать и двух слов без «vertu». Ленин этого слова и не выговорил бы – не только потому, что в мире изменился литературный стиль: он просто не понимал, какая-токая «добродетель» и зачем она, если и существует? Разве можно делать революцию без мерзавцев?

Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофановой: этой как будто можно было верить: не продаст, – разве уж, если предложат очень большую сумму? – нет, и тогда не продаст. Она смотрела на

него влюбленными глазами. Перед его приездом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме жены и сестры, у него бывали только наиболее надежные из «связных». Всем им было указано, как стучать в дверь. Крупская принесла ему большой план Петербурга, он что-то размечал для восстания.

Единственное неудобство было в том, что Фофанову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик, – чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленин ни на какие звонки отвечать не будет.

IV

В Эссентуках была привольная жизнь, почти ничем, кроме дороговизны, не отличавшаяся от прежней. Кавказские горы понравились Люде еще больше, чем швейцарские. Альфред Исаевич, как всегда веселый, любезный, галантный, кое с кем ее познакомил. В пансионе жильцы заключили было соглашение: о политике не говорить, а то лечение печени не поможет. Все же говорили. Большинство возмущалось «Преждевременным правительством», Люда его защищала, дон Педро занимал среднюю позицию: «Люди прекрасные, конечно, государственного опыта у них не хватает. Государственного опыта!» – внушительно объяснял он. Люда подтверждала: «Разумеется! Откуда же у них при царском строе мог бы взяться государственный опыт?» – «А если опыта нет, так не лезли бы! – сердито говорили другие. – И уже во всяком случае при царском строе война велась лучше. Калуща и Тарнополя не было! Присяжным поверенным надо заниматься адвокатурой, а промышленникам – промышленностью!» Альфред Исаевич разъяснял, что было верно в словах Люды, а что – в словах других.

Он аккуратно пил воды, строго соблюдая предписания врача, к которому ходил два раза в неделю с бодрым и вместе озабоченным видом. После вод и прогулки, на веранде в парусиновом кресле, читал письма от жены, каждое перечитывал два-три раза. Затем читал петербургские и московские газеты; при этом ахал, пожимал плечами и что-то бормотал, – Люда всякий раз удивленно на него смотрела, иногда даже с испугом, если он ахал уж слишком громко:

– Может быть, убили Керенского, Альфред Исаевич? Или нашли и арестовали Ленина? Или Вильгельм покончил с собою? – спрашивала она. Он только нетерпеливо отмахивался и бормотал: «Что делается! Что делается!»

За обедом ему подавали диетические блюда, изготовлявшиеся по особому заказу. Вина он «временно не пил», что для него большим лишением не было. Толковал новости обычно в оптимистическом духе. Сообщал сведения о действии вод, о своем весе, о словах врача.

Раза два они ездили в Кисловодск. Побывали также на месте дуэли Лермонтова. Дон Педро говорил, что Лермонтов был величайший поэт России после Пушкина, и очень ругал Мартынова, – «как только у него могла подняться рука на такого человека!».

Но совершить с Людой классическую поездку по Военно-Грузинской дороге Альфред Исаевич решительно отказался:

– Нет, дорогая, поезжайте одна. Вы, слава Богу, совершенно здоровы, а я тут все-таки лечусь. Доктор вчера сказал, что мне необходимы еще двенадцать соляно-щелочных номер четыре и пять серно-щелочных номер девятнадцать.

– Да плюньте вы и на соляно-щелочные, и на серно-щелочные! Вы тоже совершенно здоровы, и все это одно надувательство!

– Профессор Сиротинин находит, что не надувательство, а вы, дорогая, говорите, что надувательство! И потом чего я не видел на вашей Военно-Грузинской дороге? Верю, верю, Дарьяльское ущелье – чудное ущелье, и Терек – чудная река, и горы там чудные, я знаю. Но разве здесь плохие горы? Разве Подкумок плохая река? И разве я не могу обойтись без царицы Тамары и ее замка? Кстати, кто она была? Злодейка?

– Напротив, мудрая героиня! По народному преданию, она теперь спит в золотой колыбели.

– Неужели? Ну, пусть спит в золотой колыбели и дальше, – согласился дон Педро. – Только я ради нее не согласен трястись два дня в экипаже и бросать для этого лечение. Доктор мне сказал: самое главное – регулярность.

Так он и не поехал. Люда решила отложить поездку до конца своего пребывания в Эссентуках. Она немного обленилась. Кухня в пансионе была прекрасная, кахетинское вино тоже

скрашивало жизнь. После завтрака она спала часа два; перестала заботиться о «линии», да и не очень полнела.

– А вы сколько же еще здесь пробудете, дорогая? – уже незадолго до своего отъезда спросил Альфред Исаевич.

– Мне торопиться некуда. И денег у меня впервые в жизни больше чем достаточно.

– Больше чем достаточно никогда не бывает. Разве у Ротшильда? Но вы правы. Если б не газета, я тоже остался бы до половины октября. Ведь здесь рай земной, тишь да гладь, Божья благодать. А какой воздух!

– Кооператоры сами советовали мне не торопиться.

– Какой превосходный и культурнейший институт кооперация, я всегда это говорю! Посидите здесь до конца месяца. А зимой я вас навещу в Москве. Так было с вами здесь приятно!

– И мне тоже, Альфред Исаевич. Я вас аб-бажаю! – сказала Люда и вспомнила, что Джамбул когда-то на это отвечал: «Это надо доказать».

– Это совершенно взаимно, – осторожно-галантно ответил дон Педро.

Он уехал, но другие знакомые оставались. Погода была еще хорошая, и Люда решила остаться в Эссентуках до конца октября. Случился однако всемирный сюрприз. Как-то под вечер на водах распространился слух, что в Петербурге началось восстание – большевики, будто бы, побеждают и могут прийти к власти! Это паники, впрочем, не вызвало: «Если и придут, то через неделю будут свергнуты, и тогда их, наконец, перевешают!»

Люда хотела тотчас уехать в Москву, но знакомые отсоветовали: «Лучше переждите неделю-другую. Да теперь и не доедете. Говорят, поезда и до Ростова не доходят».

Неделя-другая затянулась. На водах уже существовал Совет рабочих и солдатских депутатов, хотя в Эссентуках не было ни рабочих, ни солдат. Этот Совет получил сообщение из столиц и готовился к решительным действиям. Однако ничего страшного еще не происходило. Жизнь в пансионе шла по-прежнему. Только кухня стала менее обильной, на столики в столовой больше не ставились цветы, и хозяин-доктор, подумав, убрал со стены портреты Достоевского и врача Нелюбина, когда-то изучившего и описавшего эссентукские воды (он был в мундире).

Возвращаясь в пансион к завтраку, Люда встретила с человеком, лицо которого еще издали показалось ей знакомым. Он тоже на нее взглянул, очень учтиво поклонился и нерешительно к ней подошел:

– Извините меня. Вы, конечно, меня не узнаете? Я когда-то заходил к вам в Куоккала. Собственно не к вам, а к Джамбулу, но его не было дома, и я разговаривал с вами, – сказал он. Говорил с грузинским акцентом.

– Как же, как же! – радостно вспомнила Люда. – Вас тогда было трое.

– Так точно. Вы совершенно не изменились.

– Будто?.. Да, помню, отлично помню, вы заходили к Джамбулу... Вы сейчас спешите? Не хотите ли тут немного посидеть? Вот как раз и скамейка.

– Очень рад.

– Прежде всего, познакомимся по-настоящему, – сказала, садясь, Люда, – ведь мы друг друга и не знаем. Я Людмила Ивановна Никонова, теперь отдыхаю в Эссентуках, живу в Москве, работаю в кооперации. А вы кто?

Он назвал себя. Фамилия у него была на «швили».

– Я был в последние месяцы в Петрограде членом Национального грузинского комитета. Мы помещались на Фурштадтской, в доме, любезно, по соглашению, предоставленном нам графиней Софьей Владимировной Паниной, – сказал он, медленно и особенно отчетливо, с видимой заботой о точности, выговаривая каждое слово. Из того, что он назвал имя-отчество и даже титул графини, Люда заключила, что он во всяком случае не большевик. Ей и хотелось

поскорее узнать о Джамбуле, и казалось не совсем удобным спросить с первых слов. Немного и боялась ответа. – Я здесь проездом в Тифлис.

– В Тифлис? Быть может, там увидите Джамбула?

Он посмотрел на нее удивленно.

– Джамбул давно живет в Турции.

– В Турции? – «Слава Богу, значит, все-таки жив!» – Что он делает в Турции?

– Занимается «земледелием и скотоводством», как писали о древних народах в школьных учебниках, – ответил, улыбаясь, новый знакомый. – Мы надеемся, что он к нам вернется.

– Извините меня, кто «мы»? Но прежде скажите, как ваше имя-отчество?

– Кита Ноевич... Пожалуйста, не сердитесь, если режу ваше русское ухо, и не смешивайте с гоголевским Кифой Мокиевичем... Вы, вероятно, знаете, что Грузия и другие кавказские земли теперь отделяются от России. По крайней мере, впредь до Учредительного собрания и падения большевиков. – «Вот как?» – подумала Люда. – Я и хотел сказать, что, быть может, Джамбул согласится работать с нами на мирной ниве государственного строительства. Но это только мое пожелание. Беда не в том, что он давно стал турецким подданным: мы его тотчас приняли бы в наше гражданство. Но не скрою от вас, он, по слухам, совершенно переменял убеждения и стал консерватором. Джамбул еще задолго до войны написал об этом той даме, с которой я к вам, если вы помните, являлся в Куоккала. «Душка этот Кита, но говорил бы скорее», – подумала она. – И видите ли...

Он рассказал, что тогда писал Джамбул. Люда слушала, разинув рот. «Джамбул – турецкий помещик! Консерватор и читает Коран!.. Той написал, а мне нет!..»

– Знаете что? – перебила она его. – Сейчас в моем пансионе завтрак, пойдем ко мне, а? Вы мне доставите большое удовольствие, а кухня у нас недурная. Сегодня пилав!

– Буду весьма рад и искренно благодарю вас за приглашение. Я только сегодня приехал и именно шел в ресторан... Так вы ничего этого не знали?

– Решительно ничего, – ответила Люда. «Конечно, он не может не знать, что мы давно с Джамбулом разошлись». – Он мне не писал... Мой пансион в двух шагах отсюда, вон там на углу.

За завтраком он записал для Люды сложный адрес Джамбула, поговорил о политических делах, был очень мил и любезен.

– Вы твердо решили вернуться в Россию, Людмила Ивановна? Да как вы теперь туда проедете?

– Скоро все наладится.

– Не думаю, чтобы скоро. Все говорит за то, что большевики временно одержали победу...

– Ось лыхо!

– Разве вы украинка? – поспешно и как будто с радостью спросил Кита Ноевич.

– Нет, я великороска. Что же это будет! Здесь мне делать нечего, и помимо всего прочего я не богачка.

– Здесь действительно делать нечего, – сказал он, подчеркнув слово «здесь». Спросил Люду, какую должность она занимала в кооперации, любит ли это дело, как относится к меньшевикам. Спросил, замужем ли она.

– Нет, я совершенно одинока. У меня и в Москве близких людей очень мало, только Ласточкины. Вы, верно, слышали о них!

Он действительно слышал о Дмитриии Анатольевиче и имел с ним общих знакомых.

– Повторяю, я не думаю, чтобы вы скоро могли вернуться к работе в России. Разве только если вы склонитесь к большевикам? – спросил он, внимательно на нее глядя.

– Я? К большевикам? Никогда в жизни!

– Есть вдобавок основания опасаться, что кооперация в России скоро будет большевиками прикончена. А вот мы непременно ею займемся по-настоящему. Отчего бы вам не поработать у нас? Работа для вас нашлась бы... Вы удивлены? Почему же? Мы охотно будем представлять работу русским, не требуя от них принятия грузинского гражданства.

– Я действительно удивлена... И, разумеется, такое требование было бы для меня совершенно неприемлемо.

– Я понимаю. Но мы, грузинские социал-демократы, очень терпимы. Лишь бы вы не были реакционеркой или грузинофобкой...

– Разумеется, я не реакционерка и не грузинофобка!

– Это все, что требуется. Не скрою от вас, я, верно, скоро получу у нас в Тифлисе должность. Может быть, и немалую, ввиду моего долгого стажа, – добавил он с улыбкой, – и я почти уверен, что легко нашел бы для вас работу. Подумайте. Я прекрасно понимаю, что такое решение сразу принять нельзя. Но если вы решите пока в Россию не возвращаться, то дайте мне знать, и я легко достану вам пропуск.

– Признаюсь, это очень для меня неожиданно... Во всяком случае я вам искренно благодарна.

– Подумайте, посмотритесь. Отказаться вы можете и позднее.

– Это так. Я вам пока ничего ответить не могу... А как вы думаете, могла ли бы я написать Джамбулу?

– Разумеется, во время войны это невозможно: каким образом дошло бы письмо? Однако война верно скоро кончится. У нас многие думают, что, как это ни печально, а Германия уже победила.

– Ну, это бабушка еще надвое сказала!

– Во всяком случае, тотчас после окончания войны вам легко будет снестись с Джамбулом. Мы и сами, верно, тогда ему напишем. У нас его всегда очень ценили. Он мужественный, энергичный человек и был бы прекрасным работником.

– Конечно, – согласилась Люда. «Мужественный – бесспорно, а прекрасный работник едва ли, он лентяй», – подумала она.

– Только вряд ли он согласится. Джамбул все правительства терпеть не может, и еще вдобавок слишком насмешлив. Он и не социалист, и не консерватор, а по природе анархист, – сказал он с улыбкой, наливая вина в бокалы.

V

В последние недели перед восстанием нервное напряжение у Ленина достигло предела. Он то писал распоряжения, то ходил по комнате, то лежал на диване, что-то про себя бормоча. Беспokoйно прислушивался к шороху за стеной, за входной дверью. Пил большими глотками чай, оставлявший для него Фофановой.

Советоваться с Карлом Марксом было больше незачем: Маркс уже посоветовал. Работа над планом Петербурга надоела: пользы от нее мало. Он понимал, что восстание подготовлено плохо, хотя люди работали целый день. Военно-революционный комитет, непосредственно руководивший подготовкой, сам в точности не знал, да и не мог знать, какие вооруженные силы находятся в его распоряжении, на кого, на что можно рассчитывать более или менее твердо. Не было и плана, хотя бы такого, что бывает на войне у командующих войсками. В решительный день нужно было импровизировать в зависимости от обстоятельств. «Да, все «более или менее». Но ведь так всегда бывает с восстаниями, – отвечал он себе, – никогда не было революций, разыгрывающихся по нотам. Революция не маневры! И, конечно, у них (он разумел Временное правительство) не предусмотрено и не подготовлено ровно ничего. Они даже еще не уверены, что мы готовим восстание!»

На митингах он не показывался: уж теперь погибнуть от пули или бомбы террориста было бы совсем глупо! «Тогда, разумеется, все пошло бы к черту. Даже и попыточки восстания не было бы! Многие из наших спят и во сне видят, как бы похоронить это дельце, даже некоторые из тех, что будто бы идут за мной». В душе он, конечно, относился с насмешкой почти ко всем своим «сподвижникам», да и не мог относиться к ним иначе: все они, Рыков, Пятаков, Луначарский, Калинин, Молотов, Сталин, Бухарин, Стеклов пошли за ним не сразу; другие, во главе с Троцким, и большевиками стали со вчерашнего дня, а прежде были какие-то «интернационалисты» или как-то так, черт знает кто; мелкая сошка, вроде Ярославского, еще совсем недавно сотрудничали с меньшевиками и проповедовали что-то либеральное, реформистское, совершенную ерунду. В лучшем случае они просто ничего не поняли в революции; в худшем – просто трусили и не желали рисковать жизнью. «Могут и опять уйти в кусты! Троцкий, Сталин, правда, в кусты не уйдут, но их обоих в партии терпеть не могут. Вдобавок, оба инородцы. В партии и это есть, особенно антисемитизм. Социалистический строй – да, но пусть во главе стоит русский человек! Если меня ужокошат, то уж все объявят, что восстание противоречит марксизму».

Сам он об уходе «в кусты» никак не думал. Все же у него порою скользили мысли, что нужно будет бежать за границу, если восстание провалится: и в этом случае, даже в мыслях для него непереносимом, партии был нужен вождь – для третьего восстания. «Делал же в эмиграции столько лет свое дело – и наполовину сделал, без меня и партии не было бы! Будут, конечно, издеваться, как Плеханов издевался двенадцать лет тому назад, а из него тогда еще песочек только начинал сыпаться. Да плевать мне, пусть издеваются».

Думал и о том, что будет делать после успеха: каких людей возьмет в правительство? Зная, что выбор невелик, предполагал не отказываться ни от кого. «Конечно, возьму Зиновьева и Каменева, черт с ними! Струсили, но после победы расхраблятся. Не сразу, а погода дам им какие-нибудь «портфели». Это слово всегда его забавляло; он знал, каким обаянием оно пользуется среди людей: «Был всю жизнь адвокатишкой или маклером – и вдруг министр!..» Пьянице Рыкову дам внутренние дела. Болвану Луначарскому народное просвещение, то-то будет нести ерунду и поощрять искусства, в которых он смыслит не больше моего. Для Сталина создам министерство по делам национальностей, он туповатый человечек, но в этом разбирается, если ему несколько раз объяснить, что нужно делать. Троцкий? Этот пусть берет что хочет. Умный человек и способный. Везде будет «блеск», а кое-где, может, будет и толк.

Всю жизнь он хотел быть первым, но не в деревне, а именно в Риме. Ничего, пусть будет вторым в Риме. Он потому ко мне и примкнул, что понял: «С одними интернационалистами кашки не сваришь, *такой* кашки! «Ничего не поделаешь, примкну к проклятому Ленину!» – В ближайшие дни «блеск» покажет большой, только за этот «блеск» его все будут ненавидеть еще больше. Конечно, будет жестокая гражданская война, туда сунем Крыленко, Овсеенко, Дыбенко, если пойдет. Они хоть не трусишки. У всех трех фамилии на «ко», будут путать... Все равно и гражданской войной придется руководить мне. Я в военных делах ничего не понимаю, но и другие не понимают, как-нибудь научимся, глупее Полковниковых не будем... Если левые эсеры примажутся, дадим что-нибудь и им, хоть они уж все совершенные дубины. «Портфель» и их зачарует, даже с некоторым риском виселицы: «От виселицы успею вовремя ускользнуть, буду за границей «бывший министр». Да, люди найдутся, ничем не хуже западных умниц».

Насчет себя он и не сомневался: вся власть будет у него. Ни о каком другом кандидате в партии и мысль не могла возникнуть. Он предполагал придать своей единоличной власти вид какого-то коллектива. После переворота скромно отказывался от должности главы правительства. Так же поступал и Робеспьер: в своих интимных бумагах, найденных после его казни, прямо говорил, что нужна единоличная воля (разумеется, его собственная). Но когда Сен-Жюст назвал его кандидатуру в диктаторы, отказывался еще более скромно: зачем же непременно он? есть гораздо более достойные кандидаты. Но скучные обязанности по представительству Ленин исполнять не желал. «Пусть болванов-послов принимает Калинин. Свердлов был бы лучше, он грамотнее. Но опять еврей... Подумаем».

Кое-какие люди были. Неизмеримо лучше была программа: земля крестьянам, заводы рабочим и, главное, немедленный конец войны. «И как только эти людишки не поняли, что против этой программы они устоять не могут! – думал он, опять разумея Временное правительство. – Хорошо, что ничего не понимают. «Война до победного конца». «Вопрос о земле разрешит Учредительное собрание», – с наслаждением думал он. – Ну, ладно, а что, если все-таки убьют?» – Жизнью особенно не дорожил: погибнуть теперь было совершенно не то, что умереть с год тому назад: все-таки сделана первая в мировой истории попытка настоящей социалистической революции. Парижская Коммуна в счет не идет. Великий опыт будет и в случае провала. История этого не забудет. Печать будет поливать грязью. Впрочем, Горький напишет порицательно-снисходительно-сочувственную статейку: «Ошибался Ильич, ошибался, но понимаете, был фанатик». – Он благодушно представил себе Горького, с его говорком на «о». Никакой социальной революции он не хочет и не может хотеть: сам богатый буржуй. Проповедует, конечно, но так: когда-нибудь да может быть. Квартирка же на Кронверкском хорошая вещь, это тебе не будущее. Ничего не понимает, – но, «пОнимаете, Ильич был большой человек». Другие будут говорить «собаке собачья смерть», а он хоть этого не скажет. Напишет, напишет статейку, Суханов как-нибудь поможет... В общем, кроме Нади, никто особенно плакать не будет». «Инесса!» – вдруг тоскливо подумал он.

Из передней послышался звонок. Ленин ахнул: «полиция!» Быстро поднялся с дивана, на цыпочках пробрался в переднюю и прислушался. Звонок повторился в другой, в третий раз. Затем раздался стук в дверь, но не тот, который был условлен. «Так и есть, полицейские!»

– Тетя... Маргарита Васильевна... Вы дома? – с недоумением спросил звонивший; молодой человек услышал за дверью шорох.

Отлегло.

– Маргариты Васильевны нет дома, – ответил Ленин, не подумав. Изменил голос.

– Пожалуйста, отворите... Я только на минуту, оставлю ей записочку... Она нес скоро придет?

Не отвечая, он вернулся в кабинет: «Нельзя ответить...» Молодой человек опять позвонил с еще большим недоумением. Затем поспешно спустился по лестнице. Внизу он встретил возвращавшуюся Фофанову.

– Тетушка, не подымайтесь! У вас в квартире грабитель!

– Какой грабитель! Что ты говоришь?

Он сообщил, что долго звонил и стучал, кто-то подкрался, наконец, к двери, что-то сказал, но двери так и не отворил.

– Вот что! Я бегу в участок! Попросите соседей, чтобы покараулили на площадке, а то он удерет!

– Да что ты! Какой грабитель! Никакого грабителя! У меня знакомый сидит, я его на минуту оставила, а он...

– Да почему же этот господин не отворяет?

Она долго сбивчиво что-то ему объясняла: просила этого старичка не отворять никому, потому что... Молодой человек слушал с некоторым удивлением.

– Ну, слава Богу, а то, ей-богу, подумал, что грабитель. Хорошо, что не привел городского или как их там теперь зовут.

– Действительно хорошо! А ты чего хотел, родной мой?

– Просто хотел вас навестить, да и дельце маленькое есть, – ответил он. – Очень спешу.

– Если спешишь, что ж делать? Не зову.

– Чайку, пожалуй, выпил бы. Да у вас, тетя, верно сахару нет?

– Ох, нет, ничего нет, – солгала она. – Чего же ты хотел, голубчик?

Он изложил дело, простился и ушел, не без лукавства попросив «кланяться старичку».

Фофанова вздохнула свободно. «Как же это Ильич откликнулся! Могло все пропасть, если б пришла полиция!» – поднимаясь по лестнице, думала она с радостным изумлением. Увидев ее, Ленин расхохотался.

– Сюрприз! Приходил ваш племянничек!

– Знаю, я его встретила... Да как же вы смеетесь, Ильич! Ведь из-за этой случайности могла сорваться вся революция!

– Не могла, никак не могла, Маргарита Васильевна, – говорил он, продолжая хохотать заразительным смехом. – Нет случайностей, есть только законы истории.

Десятого октября он, загримировавшись еще тщательнее, чем всегда, выехал на решающее конспиративное заседание. Оно могло бы оказаться одним из бесчисленных в его жизни заседаний, не имевших никаких последствий; но случайности сложились так, что оно оказалось, быть может, самым важным, самым значительным по последствиям заседанием в мировой истории. Продолжалось оно десять часов. Было двенадцать человек. Пили чай, закусывали бутербродами.

Говорил главным образом Ленин. Он доказывал, что Временное правительство собирается открыть фронт и сдать немцам Петербург. Доказывал, что союзники намерены скоро заключить мир с немцами и совместно с ними задушить русскую революцию. Доказывал, что, как только большевики захватят власть в России, на Западе вспыхнет восстание, и мировой пролетариат придет на помощь их партии. Все это было неправдой, и со своей проницательностью он не мог этого не понимать. Понимали ли слушатели? Должно быть, одни ему верили, другие догадывались, что он лжет, но думали, что теперь уж необходимо за ним идти; отступить поздно, нервы не выдержат, надо положить делу конец. Спорили только Каменев и Зиновьев, они были против вооруженного переворота и не надеялись на успешный исход. Один из участников совещания впоследствии говорил о страстных импровизациях Ленина, внушавших людям веру и волю. Вероятно, говорил правду. Была тут доля и почти гипнотического внушения. Все подчинилось: было принято и записано решение произвести через две недели, 25 октября, государственный переворот.

VI

Муссолини уже был очень известным человеком в Италии. О нем иногда писали и в иностранных газетах.

До начала мировой войны он оставался революционером и крайним антимилитаристом. Последнюю антимилитаристскую речь произнес месяца за два до того, как война началась. Но уже давно чувствовал, что может защищать какие угодно политические взгляды. Так и велел Макиавелли. Впрочем, об этом он думал мало. Только радостно сознавал, что его переполняет воля к борьбе, все равно к какой. Победа должна была прийти, – просто не могла не прийти. Нужен был только благоприятный случай.

Этот случай, наконец, создался. Летом 1914 года.

Он ушел из социалистической газеты «Аванти», или его заставили оттуда уйти. Теперь и колебаний больше быть не могло. Если б социалисты и одержали победу, она ему обещала немного: главарями оказались бы все эти ничтожные Турати, Модильяни, Тревесы, давно занимавшие в партии огромное положение; они его терпеть не могли и в лучшем случае бросили бы ему какую-нибудь обглоданную кость. Не это ему было нужно.

В основанной им газете «Пополо д'Италия» он страстно требовал, чтобы итальянское правительство объявило войну центральным державам. Враги обвинили его в продажности: подкуплен Францией, иначе быть не может! Говорить можно было что угодно, доказать, как всегда в таких случаях, было очень трудно. Через четверть века, в 1940 году, французскому правительству было бы выгодно объявить, что оно в свое время его подкупило. Но оно и тогда такого сообщения не сделало.

Его призвали в армию. Те же враги неизменно твердили, что он трус. Это было само по себе неправдоподобно; едва ли вообще когда-либо из трусов выходили диктаторы: слишком опасное ремесло. Во всяком случае, воевал он храбро: дослужился лишь до чина капрала, но скорее всего только потому, что военные власти не решились произвести его в офицеры: так свежи у них в памяти были его недавние речи и статьи.

В феврале 1917 года он был тяжело ранен осколком разорвавшейся итальянской мортиры. В больнице его посетил король, – это означало многое для его карьеры. Поправившись, он снова стал редактировать созданную им газету. Приходил в редакцию на костылях и писал воинственные статьи. Опасался покушений со стороны врагов, и редакционный кабинет у него был довольно необычный: на письменном столе, рядом с томами Кардуччи и Гейне лежали револьвер, кинжал и несколько ручных гранат.

В России произошел октябрьский переворот.

Чувства у Муссолини были смешанные. Вернуться к прежним взглядам было бы невозможно. Через много лет его вдова в своей книге «Моя жизнь с Бенито» писала, что когда-то в Швейцарии ее муж посещал Ленина, – он сам ей об этом рассказывал. Быть может, привирал и в рассказах жене, – уж очень это было эффектно: два бедных мало известных эмигранта беседуют в убогой комнатке, это Муссолини и Ленин, – сюжет для глубоких размышлений и для исторической картины. Как бы то ни было, и позднее Дуче чрезвычайно почитал вождя большевиков; так Гитлер в частных разговорах восхищался Троцким, Сталин Гитлером и почти все диктаторы друг другом.

Тем не менее он не знал, с какой стороны обойти большевиков. Иногда обходил как будто справа и, как какой-нибудь либерал, писал: «В России Ленина есть только одна власть: его власть. Есть только одна свобода: его свобода. Есть только одно мнение: его мнение. Есть только один закон: его закон». Мог писать это только с мучительной завистью. «Ничего, придет и мое время». Но иногда обходил Ленина и слева и доказывал, что никакого социализма в России нет, что большевики обыкновенная реакционная партия. Внимательно за ними сле-

дил, учился и многому научился. По существу же был с Лениным не согласен: очень трудно построить социалистическое общество, слишком могущественные силы против него ополчатся, можно найти и более легкий путь к неограниченной власти. Надо привлечь богатых людей, ни в каком случае не теряя бедных.

С колебаниями он обдумывал свой путь. Все кампании против Бога навсегда прекратить: от них гораздо больше вреда, чем пользы. Впрочем, это начал делать уже давно; позднее извлекал из книжных магазинов и уничтожал свои старые богохульные писанья. С королем, если только окажется возможным, поладить: монархический принцип еще немалая сила, и можно награждать людей титулами, это и денег не стоит; а король покладистый человек, вот и в больнице навесил и говорил сочувственные слова, и ему решительно все – все равно, пусть же сохраняет корону и занимается нумизматикой. И надо, непременно надо придумать для *своего* движения, для своего учения хорошее, звучное, запоминающееся слово, лучше всего такое, какое было бы связано с древним Римом. Оно и было найдено. Явилась первая большая мысль. Второй было применение касторового масла в борьбе с противниками.

VII

Романист, который пожелает «дать грандиозную, всеохватывающую картину октябрьского переворота», вероятно, введет и в Зимний дворец, и в Смольный институт, и в Петропавловскую крепость, и в комитеты, и в казармы, и в уличную толпу вымышленных им людей. Будут образы: большевик-фанатик; рабочий, всю жизнь голодавший и ненавидящий капиталистический строй; юноша-идеалист, юнкер или прапорщик запаса; готовый на все авантюрист-честолюбец; добрая, но яростная меньшевичка или народница в очках, выкуривающая сто папирос в день и страстно спорящая о политике до поздней ночи; приехавший с фронта боевой израненный офицер, готовый из патриотизма защищать Временное правительство: хороший капиталист-патриот; нехороший капиталист, наживающийся на чужой крови и т. д. Все это будет более или менее верно: такие люди действительно участвовали в октябрьских событиях. Но картина будущего романиста, этих событий не видевшего, верной не будет: он исказит перспективу и выдаст за целое сумму очень небольших величин, составляющую очень небольшую его часть. Главное было не в этих величинах. Подавляющим по значению должен был бы быть один простой, довольно неблагодарный, образ в разных возможных вариантах: солдат, больше не желающий воевать.

Ленин очень кратко сказал: «Революция есть искусство». Позднее Троцкий развивал эту мысль на десятках страниц. Если тут и есть некоторая правда, то во всяком случае это искусство элементарное.

Не все распоряжения Военно-революционного комитета в октябрьском хаосе были осмысленны и целесообразны с точки зрения сторонников переворота; не все распоряжения Временного правительства были бессмысленны и нецелесообразны с противоположной точки зрения. Но, в общем, представление о том, что нужно делать, было бы ясно любому грамотному человеку. Троцкому, Подвойскому или фельдшеру Лазимиру не требовалось революционного гения, чтобы понять, как важно захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, вокзалы, банки, телеграфную и телефонную станцию. Полковникам Полковникову или Параделову не требовалось военного гения, чтобы понять, как необходимо эти пункты отстоять. И те, и другие посылали туда вооруженные отряды, иногда с добавлением небольшого числа рабочих или интеллигентов или полуинтеллигентов. Делали в сущности одно и то же. Быть может и даже наверное, большевики проявили больше ума и энергии, чем их противники. Но главное было не в этом, а в том, что громадную часть вооруженных сил Временного правительства можно было в октябре называть вооруженными силами разве в шутку.

Разумеется, это легко передать и пышными, учеными, социологическими словами. Можно сказать, и сто раз говорилось, что Ленин гениально прозрел путь, по которому, в силу своих законов, пойдет история (почему-то прозрел в отношении России и совершенно не прозрел в отношении западного мира). Но нет ничего обманчивее ученых слов, особенно пышных.

Вопреки всем большевистским теориям, предсказаниям и историческим реляциям пролетариат сыграл в октябрьских событиях довольно скромную роль. Неизмеримо важнее была роль солдат и матросов. Они твердо знали, чего прежде всего хотят: прежде всего хотели немедленного конца войны. А это обещали именно большевики и только они. «Надежные части», отправлявшиеся Полковниковым в «важные стратегические пункты города», переходили, подумав, на сторону восставших или решали «сохранять нейтралитет». Так, без малейшего сопротивления были «взяты» большевистскими солдатами и матросами и Николаевский вокзал, и крепость, и Государственный банк, и арсенал, и телефонная станция, и другие учреждения, охранявшиеся значительными отрядами войск, «верных Временному правительству». И в третьем часу дня Троцкий от имени Военно-революционного комитета с торжеством объявил Петербургскому Совету, что Временное правительство больше не существует. Добавил:

«Нам неизвестно ни об единой человеческой жертве». Это было преувеличением, но довольно близким к истине. Октябрьский переворот повлек за собой самые кровавые годы в мировой истории. Но сам по себе день 25 октября действительно был «великим, бескровным»: другой такой революции, пожалуй, история и не знает.

Шел Съезд Советов.

Актальный зал Смольного института был переполнен. Преобладали солдаты в шинелях. Они все время орали. Сами не очень понимали, что кричат и зачем, – больше ободряли себя криками. На трибуне сменялись ораторы и тоже что-то выкрикивали охрипшими голосами. В диком шуме, в общей растерянности, в атмосфере лагеря тушинского вора, их понимали плохо. Слушатели не сразу догадывались, кто «хороший», кто «нехороший». Но не поднимали на штыки и нехороших: меньшевиков и социалистов-революционеров. Им только орали: «Вон!»... «Долой!»... «Бандит!»...

Издали донеслась пальба, – не пулеметная, а артиллерийская. В первую минуту началась паника: Керенский привел с фронта войска! Еще немного – и толпа бросилась бы бежать. Но с трибуны один из «хороших», обладавший громоподобным голосом, прокричал, что это *наш*, большевистский крейсер «Аврора» палит с Невы по Зимнему дворцу, в котором укрылись министры-капиталисты, контрреволюционеры и всякая другая сволочь. Сообщение было покрыто долгой овацией. Был тот энтузиазм, который обычно бывает при революциях: частью подлинный, частью притворный, частью подлинный, усиленный притворным. О Керенском весь день передавались противоречивые слухи: «Бежал в Финляндию!»... «Уехал на фронт за войсками!»... «Укрылся в английском посольстве!»... «Подходит с красновскими казаками!»... И при всех этих вестях почти у всех вставал вопрос: «Что же будет? Что мне делать? Не скрыться ли? Или быть героем?..» Были впрочем и люди, в самом деле решившие драться до конца за новый строй. Но они, наверное, составляли меньшинство и в толпе, и на трибуне.

Те, кого большевики презрительно называли «мягкотелыми интеллигентами», тоже не знали, что делать. Многие из них уже ясно видели, что разбиты. «Временно? Надолго? Навсегда...» Над болью от поражения теперь преобладала боль за идею, за Россию. Лучшие из этих людей не были лишены способности оглядываться на себя и признавать свои ошибки. «Только немедленный мир успокоил бы эту солдатскую стихию. Но могли ли мы, как могли мы заключить мир? Ведь война *могла* кончиться летом и на Западном фронте победой союзников, нашей общей победой. Тогда со всеми нашими и чужими ошибками мы могли победить в этой чертовой лотерее, и ничего от большевиков не осталось бы, и спаслась бы Россия!..»

В сопровождении наиболее надежных «связных» Ленин под вечер 24 октября, выбритый, в парике и темных очках, незаметно вошел в Смольный институт. Так же незаметно его проводили во второй этаж и ввели в небольшую комнату. На двери висела эмалированная дощечка с надписью «Классная дама». Он сел за маленький письменный стол, на котором под абажуром горела старенькая лампа, когда-то керосиновая, потом переделанная в электрическую. «Связные» сообщали ему новости. Он отдавал приказания, которые, впрочем, никакого значения не имели: положение в разных концах столицы менялось даже не каждый час, а каждую минуту. Писал или правил декреты о земле, о мире. Иногда нервно ходил взад и вперед по комнате. Иногда садился в кресло у овального столика, – за ним много лет классные дамы пили чай или делали наставленья провинившимся воспитанницам. Иногда выходил из комнаты и старался незамеченным пройти в пустой неосвещенный зал, расположенный недалеко от Актового. Некоторые из врагов неуверенно его узнавали под гримом и, вероятно, смотрели на него так, как у Этны Улисс смотрел на циклопа Полифема, собиравшегося его съесть.

В зале на пол бросили для него тюфяк. Он то ложился, то вскакивал и бегал из угла в угол. Режиссеры спектакля находили, что Ильичу следует войти в Актальный зал лишь после того, как

выяснится главный, основной вопрос: придут ли с фронта правительственные войска? Он с этим согласился: его появление в Актовом зале должно было стать самым важным моментом восстания, знаком полной победы.

И, наконец, пришло известие: Зимний дворец пал, все бывшие в нем министры Временного правительства схвачены и отправлены в Петропавловскую крепость. На трибуну устремились сразу несколько человек с громовыми голосами. Одновременно, мешая один другому, они сообщили новость. Поднялся энтузиазм уже почти непритворный. Разве только немногие из сторонников восстания думали, что может выйти комом не первый, а второй или третий блин. Мягкотелые интеллигенты быстро направились к выходу. Толпа провожала их улюлюканьем, свистом, хохотом, криками: «В Петропавловку!»... «На «Аврору!»... «В Неву!»...

Долго подготовлявшийся эффект наступил.

Он вбежал маленькими шажками в Актовый зал. В первые секунды его и не узнали. Многие солдаты вообще никогда не видали этого человека, о котором им твердили каждый день на фронте и в тылу. Другие видели его на старых фотографиях, с бородой, лысого, без очков. Вдруг кто-то проревел диким голосом: «Ленин!»... В ту же секунду загремели рукоплесканья, каких еще не слышал этот старый зал. Они все росли и крепили, – действительно, дрожали окна. Теперь восторг был уж совершенно неподдельный: ведь *этот* все задумал, *этот* все предвидел, за *этим* не пропадешь!

Не обращая внимания на бесновавшуюся толпу, он взбежал на трибуну, снял темные очки, замигал. Разложил перед собой листки декретов и вцепился крепко в края стола; дошел, больше не уйду! Рукоплесканья усилились до последнего предела, потом стали стихать, обрвались. Настала совершенная тишина. Он сказал:

– Теперь мы займемся социалистическим строительством.

Даже не воскликнул, а именно сказал. Об эффекте и не подумал. Но, вероятно, «народные трибуны» не без зависти подумали, что лучшего эффекта никто не мог бы изобрести.

VIII

Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в евклидовском мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского.

Прежде была уверенность, что они не могут попасть в тюрьму или быть безнаказанно ограбленными или выброшенными из квартиры на улицу. Теперь это происходило каждый день с людьми их круга, не больше, чем они, виновными в чем бы то ни было; могло в любой день случиться и с ними. Вдобавок Дмитрий Анатольевич остался без всякого дела; надо было придумывать, чем заполнить двадцать четыре часа в сутки.

Правда, обмен мнениями продолжался и даже – в первые недели – участился. На людях всем теперь было легче. Образовался Союз защиты Учредительного собрания. Принимались разные, не очень серьезные, меры предосторожности. Он несколько недоумевал: еще недавно считалось, что Учредительное собрание – «державный хозяин земли русской»; оно должно все устроить. Теперь оказывалось, что этого державного хозяина самого должна каким-то способом защищать кучка членов нового Союза. Тем не менее все уверяли, что Учредительное собрание тотчас свергнет большевиков: «Скоро кончится вся эта гнусная комедия! И не может не кончиться: разве это дурачье может быть правительством! Такого с сотворения мира никогда не было!» Знаменитый оратор прочел в тесном кругу доклад, и на вопрос, что будет, если разгонят Учредительное собрание, воскликнул: «Самая мысль об этом есть кощунство и хула на Духа Святого! Весь народ русский, как один человек, встанет на защиту того, о чем он мечтал сто лет!» Хотя оратор воскликнул это оглушительным голосом, рукоплескания вышли жидкие. В конце 1917 года люди уже потеряли охоту к рукоплесканиям.

Дмитрий Анатольевич вздохнул. Он недолюбливал этого оратора, особенностями которого считал несколько странный слог, неумеренную склонность к крику и мощные голосовые связки. «А вот есть ли у него *настоящая*, непоколебимая вера в свою идею, вот в это самое Учредительное собрание? Та вера, которая, быть может, еще есть в их идею у некоторых большевиков? Та, какая была когда-то у монархистов? Вот Мария-Антуанетта в тюрьме, через минуту после казни мужа, склонилась перед своим восьмилетним сыном и назвала его французским королем. Нам это кажется непонятным и неестественным, но, должно быть, в этом была какая-то *королевская естественность*, и уж во всяком случае у Марии-Антуанетты и сомнений в своей идее не было, даже в ту минуту, ужасную и для нее и для идеи».

Учредительное собрание было разогнано. Заседания Союза стали устраиваться реже, и на них приходило меньше людей. Приходившие отводили душу и говорили все одно и то же. Многие подумывали, как пробраться на юг для продолжения борьбы с большевиками. Ласточкин думал, что *продолжать* борьбу он не может, так как никогда ее не вел. «Да и эти люди, которых Нина когда-то называла «борцами за идеалы», уезжают в Киев больше для того, чтобы отдохнуть от голода и страха». Дмитрий Анатольевич с удивлением и горечью замечал, что впервые в жизни мысли у него становятся дешево-ироническими. «Не знаю, как они, но я просто не могу уехать и по практическим причинам: что я делал бы в Киеве или на Дону? Чем жил бы там с Таней? В Москве по крайней мере есть свой угол».

Однако и от своего угла скоро осталось немного. Средства Ласточкиных истощались. В день октябрьского переворота у них в доме оставалось – да и то по случайности – около пяти тысяч рублей. Дороговизна еще усилилась, деньги таяли, и Дмитрий Анатольевич с ужасом думал, как жить дальше. Татьяна Михайловна его ободряла, тоже уверяла, что большевики очень скоро падут, всячески сокращала расходы; но он видел, что и она в ужасе.

Вначале много денег стоила прислуга; с ней у Ласточкиных всегда были самые лучшие отношения, рассчитывать людей было бы мучительно. Но через месяц повар и его жена, гор-

ничная, ушли сами. У них фамилия кончалась на «ко», и они получили пропуск на Украину. Прощанье было грустное, горничная даже заплакала, прослезилась и Татьяна Михайловна. Шофер нашел хорошее место у какого-то нового сановника. Автомобиль Ласточкиных был реквизирован в первые же дни. Об этом они не жалели: никакого горючего все равно не было, да и небезопасно было бы обращать на себя внимание автомобилем. Скоро, с душевной болью, они отпустили лакея Федора, который прослужил у них четырнадцать лет и теперь нерешительно предлагал служить дальше без жалованья. Из последних денег заплатили ему за полгода вперед и обещали снова принять на службу «как только все устроится».

– Буду все покупать сама. И стряпать буду без его помощи. Скорее уж тебя, Митенька, жалко. Ничего, когда-то у тети я все делала, и миллионы женщин это делают, и никакой беды в этом нет. Пожалуйста, не делай трагического лица, – говорила Татьяна Михайловна веселым тоном.

Она стала рано утром выходить из дому и подолгу стояла в очередях. Знакомые продавщицы поглядывали на нее сочувственно, но не без удовольствия. Дмитрий Анатольевич как мог помогал жене и очень хвалил все, что она готовила. Как-то, вернувшись домой, она преувеличенно радостно сообщила, что удалось достать к обеду конину.

– Я и не думал, что это так вкусно. Если б не красный цвет, то нельзя было бы отличить от другого мяса, – говорил он за обедом.

Однако и для конины нужны были деньги. В январе Татьяна Михайловна, на этот раз смущенно, принесла ему свои драгоценности и попросила продать.

– ...Ведь мне они не нужны! Жалко только потому, что это твои подарки.

Дмитрий Анатольевич расстроился. Жена его утешала:

– В такое время об этом стыдно огорчаться. Уж лучше пожалей меня из-за другого: смотри, какие руки стали, особенно от мытья посуды под ледяной водой. Но и это, конечно, пустяк.

Он поцеловал ей руки и сбивчиво говорил, что купит ей точно такие же драгоценности «как только все устроится». В тот же день продал кольцо, которое подарил жене после выигрыша в лотерею. Невольно подумал о черной оправе. Цену получил хорошую. Покупатель-мешочник, кем-то ему рекомендованный («Честный, не обижает людей!»), наглухо затворил дверь и купил кольцо, не торгуясь. Его жена восхищалась и просила приносить еще. Дмитрий Анатольевич старательно-весело рассказывал об этом жене. Татьяна Михайловна тоже улыбалась.

От безделья Дмитрий Анатольевич теперь много гулял, иногда с женой, чаще один: ее прогулки утомляли, особенно после очередей и нелегкой работы на кухне. Он хорошо знал Москву. Посещал старые исторические уголки города, старался припомнить их прошлое, представлял его себе довольно живо. Иногда натькался на тяжелые сцены: то люди в кожаных куртках с револьверами в руках за кем-то гонялись, злобно крича на всю улицу, то вели куда-то арестованных, вероятно, ни в чем решительно не виноватых, то везли в повозочке гроб на кладбище, то в мороз выбрасывали жильцов из дому. «И все это сделал один человек!» – с несвойственной ему прежде злобой думал Ласточкин. По всем ученым книгам, да и по его собственным убеждениям, роль личности в истории признавалась ограниченной. Но теперь он не мог не думать, *все-таки* без Ленина не было бы октябрьского переворота, не было бы, следовательно, этого моря зла и страданий.

Наконец, случилась та большая неприятность, которую легко было предвидеть. Дмитрию Анатольевичу казалось даже (вероятно, неправильно), что он ее ждал как раз за несколько минут до того. Рано утром раздался долгий властный звонок, – *так* никто из знакомых не звонил. Явился незнакомый человек – не в кожаной куртке, но по виду несомненно принадлежавший к начальству. Он предъявил «мандат» на занятие всех комнат, кроме одной. Увидев рояль, объявил, что и рояль подлежит реквизиции, хотя в мандате ничего об этом сказано не

было. Ласточкины долго и горячо с ним спорили (потом было тяжело вспоминать). Татьяна Михайловна говорила, что она артистка, что рояль ей необходим для заработка, что она дает уроки музыки. Говорила со слезами, путанно, сбивчиво. Могло выйти худо: могли проверить, потребовать доказательств и просто выгнать на улицу. Но вышло сравнительно хорошо. Человек властного вида оказался не грубым и не очень злым. Слово «артистка» произвело на него некоторое впечатление, и он еще упивался своей властью. Доказательств не потребовал и в конце концов согласился не отнимать рояля и оставить им две комнаты. Затем долго составлял какой-то документ; писал он плохо, Дмитрий Анатольевич ему помогал.

– Въедут к вам в будущий понедельник. Это для питерских товарищей, они еще не прибыли. Пока, граждане, так и быть, поживите напоследок как буржуи, – пошутил он перед уходом. «Очевидно, сановники, если «прибыли»? – подумал Ласточкин.

– А кто, гражданин, будет у нас жить?

– Скоро, гражданка, познакомитесь. Хорошие люди. – После его ухода Татьяна Михайловна расплакалась.

Дмитрий Анатольевич утешал ее как мог.

Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалось, но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную и, как мог, всунул их в единственный ящик небольшого стола, который теперь становился письменным. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол, поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел, тяжело дыша, и долго сидел молча в полном отчаянии. Татьяна Михайловна переносила из спальни одежду и белье.

В тот же день он отправился к профессору Травникову. Пошел пешком: стоять пятым или шестым пассажиром на ступеньках трамвая было трудно и опасно. Ласточкин хотел посоветоваться: нельзя ли получить какую-нибудь кафедру или доцентуру с жалованьем? О службе в комиссариатах не хотел слышать, хотя там работу можно было получить без особых унижений. Но университет был другое дело.

– Я мог бы читать о народном хозяйстве. Правда, у меня нет ученых степеней, однако теперь, кажется, ваш совет смотрит на это сквозь пальцы. Уж вы постарайтесь, Никита Федорович, будьте благодетелем, – нерешительно говорил он. «Будьте благодетелем» было шуточной формой речи, но ему казалось, что он в самом деле просит о благодеянии.

Травников отнесся очень сочувственно.

– Прекрасная мысль, и мы это устроим! Но ведь быстро это не делается. Вы долго еще, батюшка, продержитесь?

– Месяца три еще продержусь. Продаю бриллианты жены, – с натянутой улыбкой ответил Ласточкин.

– Сделаем все возможное! – сказал профессор. – Наплыв желающих у нас теперь большой, но увидите, устроится дело. Не велика, впрочем, радость, если и устроится. Жалованья еле хватает даже нам, ординарным. Медики дело другое. У них пока квантум схватишь.

Дмитрий Анатольевич вернулся домой несколько более бодрый. «Тут решительно ничего худого нет. Разве только немножко смешно: стану на старости лет профессором!»

IX

После покушения Каплан на Ленина были расстреляны тысячи людей. Началась паника. Все ожидали, что большевики будут хватать новых заложников и убивать их при каждом новом покушении или вообще по мере надобности. Заложником мог оказаться любой человек, даже не очень видный. Бежать стало гораздо труднее. «Упустили момент, упустили! Большая была ошибка. Это моя вина! – думал Ласточкин. – Все-таки в Киеве, в Ростове как-нибудь прожили бы: ведь здесь голодаем. Таня не хотела ехать, но я должен был решиться на это за нас обоих!»

Он только представлял себе жену на Лубянке: «Без меня, без вестей обо мне, с ежеминутной мыслью о том, что я расстрелян или буду расстрелян!» Меньше думал о себе самом, хотя чувствовал, что и он едва ли выдержит месяц, ежедневно ожидая казни. С Татьяной Михайловной он старался об этом не говорить. Но слухи о расстрелянных передавались каждый день, с подробностями, неизвестно как доходившими.

«Просто непонятно, откуда взялось это море невиданного зла, неслыханной ненависти! Как же мы не замечали, что нас так ненавидят!» – думала растерянно Татьяна Михайловна. Слухи о людях, проявивших перед казнью большое мужество, ее восхищали и умиляли. Проверяла себя. «Кажется, если убьют вместе с Митей, я перенесу так же, как они... Впрочем, не знаю... А он?»... Ей было тем более тяжело вспоминать, что именно она была против отъезда на юг, еще недавно безопасного, даже легального: «Бумажку от украинских властей Митя достал бы легко». Дмитрий Анатольевич на нее поглядывал и угадывал ее мысли так, точно их слышал. В несчастье «телепатия» между ними еще усилилась.

Оба смутно чувствовали, что часть интеллигенции, довольно большая часть, сдалась новой власти уж очень легко и быстро. Служили на разных должностях теперь почти все, кому не удалось бежать за границу или на юг. «Иначе и быть не может: иначе голодная смерть или тюрьма с сыпным тифом», – говорил жене Ласточкин. Но должности были приличные и неприличные. К его неприятному изумлению, неприличные тоже пустовали недолго; на них люди, прежде имевшие почтенную репутацию, не только служили, но прислуживались и выслуживались. Каждый день сообщалось новое: такой-то общественный деятель публично признал свои ошибки и поступил в Комиссариат внутренних дел, такой-то писатель стал писать в «Известиях», такой-то профессор всячески превозносит Луначарского. Некоторые в частных разговорах объясняли: «Что ж, как-никак, строится социалистическое общество, то есть делается то, о чем русская интеллигенция мечтала со времени Герценов и Чернышевских, и мы обязаны принять участие в большом деле». Другие на Герценов и Чернышевских не ссылались, принимали циничный тон и даже этим хвастали.

Были, разумеется, и люди безупречные. Они в большинстве голодали в настоящем смысле слова. С одним из них Ласточкин недавно встретился и едва его узнал. «Между тем ему легче: одинокий человек. Ведь большинство теперь идет на всякие сделки с совестью, чтобы не голодали жена и дети», – подумал Дмитрий Анатольевич. Они прежде не были близки; теперь поговорили об общественном разложении с искренней симпатией друг к другу.

– Все же это одна сторона дела, – сказал Ласточкин. – Люди проявляют и героизм. На юге, на севере, на востоке идет вооруженная борьба. Эти люди, одинаково и правые, и левые, спасают честь России.

– Да, это так. Я лично себе желаю только кончины не постыдной. Верно, уж недолго ждать. И, право, не жаль умереть.

«Не жаль», – подумал и Дмитрий Анатольевич уже теперь не в первый раз. Одной мысли мужа телепатия Татьяне Михайловне не передала.

У него оставались знакомые на созданном им в свое время военном заводе под Москвой. Многие прежние служащие продолжали там работать, и среди них у Дмитрия Анатольевича были приятели.

«Ведь это так, только на случай крайности! – думал он по дороге на завод. – Это само по себе ничего, разумеется, не означает: просто стану немного спокойнее. Тане не скажу, ведь никогда до *этого* не дойдет!.. Лишь бы только крышка через щели не пропускала паров!» В кармане у него была металлическая мыльница с плотно закрывавшейся крышкой. В пору своей работы на заводе Ласточкин привык обращаться с цианистым калием и под вытяжным шкафом даже его пересыпал руками без перчаток; химики советовали этого не делать, требовали, чтобы он тотчас мыл руки самым тщательным образом. «Запру в ящик. Запах я в комнате тотчас почувствую и, если он будет, высыплю все в уборную. Да есть ли вообще пары у сухого вещества? Я тогда, действительно, отравился, но, верно, оттого, что в колбе были остатки кислоты и выделился синильный газ».

На заводе у ворот охраны не было, – не то что в его время. Он вошел беспрепятственно и, оглядываясь по сторонам в столь знакомом ему дворе, прошел в отдельное небольшое строение, в котором помещалась лаборатория. С усмешкой вспомнил, как в свое время торговался о нем с подрядчиком и добился небольшой скидки. Вспомнил и о ста тридцати тысячах ядовитых снарядов, изготовленных при нем заводом. «Может быть, теперь применяются против добровольцев или волжской армии? Этого мы никак предвидеть не могли».

Его встретил старый химик, заведовавший лабораторией еще при нем. Они очень обрадовались друг другу. В былые времена Дмитрий Анатольевич часто заходил к нему, следил за его опытами, расспрашивал обо всем, узнавал много ценного. Старик был знатоком дела, занимался химией с юношеских лет, обожал ее и говорил о химических веществах, как о существах одушевленных: какие любят друг друга, какие не любят. Называл их часто «по имени-отчеству»: «Фосген Иванович», «Селитра Петровна».

– Дмитрий Анатольевич! Вас ли я вижу? Значит, слава Богу, в заложники не попали! И я, как видите, пока не попал.

– Вы-то за что могли бы попасть?

– Почему же? Отлично мог бы. Ведь меня в октябре вывезли на тачке.

– За что вывезли на тачке? – изумленно спросил Ласточкин, помнивший, что старик был либеральных взглядов и обращался с рабочими очень хорошо.

– Вот тебе раз, «за что»! Ни за что, разумеется. В первые же дни вывезли из принципа и из озорства. Главный директор скрылся, а надо же было кого-нибудь вывезти на тачке! Вывезли бухгалтера и трех старших заведующих отделеньями... Впрочем, не все рабочие этому сочувствовали. Многие даже возмущались. Я лично и рад был бы покинуть завод, да не в таком экипаже. Через несколько дней начальство велело взять нас назад, как «незаменимых специалистов». Действительно, людей осталось немного. Войдите, я теперь один, – добавил он. Лаборатория, в которой прежде работало четыре человека, была пуста.

– Где же все остальные?

– Не знаю, где они. У нас было ведь, как впрочем везде, всякой твари по паре. Кто пошел в меньшевики, кто в большевики, кто призван в Красную Армию... Мальчишку Никифора помните? Он нас всех тут чаем поил.

– Никифор Шелков? Кажется, славный был юноша, – сказал Ласточкин, вспомнив, опять с неприятным чувством, что в день несчастного случая с ним этот мальчик бегал за шампанским и, радостно, задыхаясь от бега и волнения, принес его минуты через три.

– Тот самый, которому вы тогда подарили четвертной билет. Он пошел в Красную армию добровольцем. Тоже из принципа и из озорства. Возраст у него ведь был майнридовский. Так вот, его мать ко мне на днях приходила, горько плакала: убит. И он же, этот самый Никифор, хоть очень меня любил, а помогал вывозить нас на тачке, – сказал, вздыхая, старик.

Сообщил еще сведения о сослуживцах. Один из них, неприятный льстец и карьерист, очень не любимый товарищами, теперь был директором завода.

– Бывает часто в Кремле, приносит новости и хвастает ими. На днях мне таинственным шепотом рассказывал, что Ленин *сшил* с какой-то Инессой, или как ее? – сообщил старик вполголоса, хотя в лаборатории никого больше не было (Ласточкину он, как все, доверял совершенно). – Усвоил даже их жаргон: «Сшил»... «Вот чего»... «Какое их собачье дело?»... Ведь это, верно, впервые в истории и высшая администрация говорит на блатном языке. Дожили, можно сказать... Ко мне, впрочем, до поры до времени благоволит. Подлаживаюсь как могу, хоть, разумеется, стыдно. А вы лучше ему на глаза не показывайтесь. Да вы зачем, собственно, сюда пожаловали, Дмитрий Анатольевич?

Ласточкин заранее приготовил ответ: он помнит, что в свое время оставил в лаборатории в ящике шкафа с химическими веществами свое самопишущее перо:

– Вдруг оно у вас тут сохранилось? Теперь такого ни за какие деньги не купишь! Если б деньги и были.

Старик только пожал плечами.

– Вы, Дмитрий Анатольевич, очевидно, сохранили веру в человеческую добродетель. Если оставили что, то давным-давно украли. Впрочем, посмотрите. Вы говорите, в ящике того шкафа?

Ласточкин подошел к шкафу, вытянул ящик и быстро через стекло оглянул полки. На второй на том же видном месте стояла банка с черепом на ярлыке и с надписью большими буквами: «Смертельный яд. Цианистый калий. KCN». Как же теперь незаметно отсыпать?

– Вы правы. Нет пера. Ничего не поделаешь.

– Разумеется, нет. А вы не выпили бы со мной «чаю», Дмитрий Анатольевич?

– Очень охотно! – сказал Ласточкин с радостью.

– У меня нижегородский, брусничный. Сахара нет, но есть прошлогодние леденцы-васильевичи. Прячу их в передней, а то стащат. Сейчас принесу, – сказал старик и вышел. Ласточкин поспешно вынул мыльницу, насыпал в нее цианистого калия и плотно надвинул крышку. «Первая кража в моей жизни! Ничего, это будет гонораром за три года бесплатной работы».

– Что же завод теперь изготавливает? Какую «Васильевну»? – шутливо спросил он, оправившись от волнения.

– Ничего почти не изготавливаем. Я все пишу разные проекты и подаю куда следует. Рабочим платим, но им жрать все-таки нечего, – сказал химик. – Хотите подогрею? Газ пока дают.

– Не надо, я пью холодный, – ответил Ласточкин и с наслаждением раскусил леденец. Старик вдруг со слезами обнял Дмитрия Анатольевича.

– Так рад, что вы зашли! Отвык от хороших людей. Встречаюсь с ними теперь, как Стэнли с Ливингстоном среди дикарей. Верно, больше никогда не увидимся...

«Разумеется, это просто *так*, на всякий случай. Я и не думаю о возможности самоубийства», – твердил мысленно Ласточкин и на обратном пути. Он теперь и сам с трудом понимал, как мог совершить эту странную, небывалую поездку за ядом. «Или затмение нашло!.. Но ведь и вреда не произошло никакого оттого, что я съездил?» Думал, не выходят ли и здесь в вагоне пары из мыльницы, лежавшей у него в кармане (на всякий случай прикрыл ее и носовым платком). «А что будет, если меня тут же арестуют в трамвае? Как я объясню?»

Х

Ласточкин был утвержден штатным приват-доцентом: в первое время при большевиках формальности в университете в самом деле соблюдались не строго, новых людей приглашали охотно, к их ученым степеням не придирались. Дмитрия Анатольевича любили все знавшие его люди, а среди них были профессора, пока, по старой памяти, еще самые влиятельные. Другим было известно, что он из богатых людей внезапно стал бедняком, – ему, как и другим таким же людям, надо дать возможность жить. Не очень возражали даже те, в большинстве молодые, ученые или неудачники, которые с первых дней после октябрьского переворота говорили, что, «как-никак, в новом строе что-то есть и надо относиться к нему вдумчиво, нельзя, знаете, так все начисто отрицать!». Был утвержден и выбранный Ласточкиным курс: «Народное хозяйство России с начала двадцатого столетия». Однако Травников вздыхал, зайдя к нему для поздравлений.

– Как сказано у Тургенева: «Читал и содержания оного не одобрил», – говорил он вполголоса, оглядываясь на стену, за которой жили вселенные большевики. Татьяна Михайловна угощала его морковным чаем, грустно вспоминая их прежний «богдыханский». – Скользкий сюжетец, скользкий.

– Почему же, дорогой профессор?

– Посудите сами, барынька, вы ведь умница. Я, слава Богу, взгляды вашего повелителя знаю. Он мне сто раз говорил, что Россия с начала двадцатого века, а особенно с тысяча девятьсот шестого года, переживала необычайный хозяйственный подъем, что наше народное хозяйство развивалось сказочным темпом, гораздо быстрее, чем в Европе, пожалуй, не менее быстро, чем в Америке. Я это даже принимал *cum grano salis*⁷⁶, но я, старый хрыч, ничего в экономике не смыслю. Так вы говорили, Дмитрий Анатольевич?

– Так точно.

Профессор развел руками.

– Так ведь это же для *них* и теоретическая ересь, да еще и нож вострый! Сказочным темпом – после подавления первой революции!

– Но ведь это чистейшая правда!

– Потому и нож вострый, что правда!

– Да я из этого никаких политических заключений делать не буду.

– Только этого бы не хватало! Но *там* сами сделают заключения. Лучше бы вы выбрали курс об экономической истории древней Ассирии.

– Я с ассирийскими делами не знаком, а с нашими знаком недурно.

– Как знаете. Пеняйте на себя в случае чего. Во всяком случае, избави Бог, не доводите курса до наших дней: вдруг вы еще признаете, что теперь при Ленине вообще никакого народного хозяйства нет!

– И это также, увы, правда.

– Так-с. Правда, у нас уже некоторые левые доцентишки, *servum pecus*⁷⁷, говорят, что нельзя у большевиков все отрицать «с кондачка». Почему это, кстати, у нас все начали так «по-народному» говорить? Особенно евреи... Не гневайтесь, барынька, вы знаете, что я не антисемит... Мне Шаляпин, тоже никак в антисемитизме не повинный, однажды сказал, что всю жизнь был окружен евреями: «Боюсь даже, – говорит, – что из-за этого я диабетом заболею!» – Профессор недурно воспроизвел богатую, значительную интонацию Шаляпина. – Федор Иванович почему-то считал диабет еврейской болезнью... Не смейтесь... Так вот я тоже вроде

⁷⁶ Здесь: с юмором (*лат.*).

⁷⁷ Раболепное стадо (*лат.*).

этого. Только я, хотя коренной потомственный москвич, не говорю «с кондачка» и даже не знаю, какой такой «кондачок»? Вы, верно, знаете, барынька?

– Не имею ни малейшего понятия, но помню, что это старое слово. А смеюсь я, дорогой профессор, из-за вашей живописности... Но вы серьезно советуете Мите выбрать другой курс?

– Самым серьезным образом. Или пусть хоть вначале отпустит им какой-нибудь комплимент... «Плюнь да поцелуй злодею ручку!»

Ласточкин нахмурился.

– Я уверен, что вы шутите, – сказал он. – Иначе вы не говорили бы о «сервильном⁷⁸ стаде».

– А есть разные степени. Одно маленькое пятнышко не будет заметно на вашей бело-снежной ризе. Увидите, сколько белоснежных скоро станут сплошным грязным пятном.

Был назначен день первой лекции. Дмитрий Анатольевич много работал над подготовкой курса. Библиотеку у него не отняли, и в ней было много книг по экономическим вопросам. Были классики политической экономии; он в свое время прочел Адама Смита, Рикардо и даже первый том «Капитала». Были и новейшие труды, и такие специальные журналы последнего десятилетия, в которые и заглянуть можно было только под давлением тяжелой необходимости. Говорил он легко и хорошо, иногда и экспромтом, отвечая на возражения. Но теперь он волновался: кафедра в знаменитом университете России! Ласточкин приготовил конспект всего курса, выписал множество цитат, а первую лекцию всю написал целиком, – «на случай внезапного затмения». Знал, что на нее придут не только студенты, но и профессора. Две-три страницы он даже прочел наедине вполголоса: было совестно репетировать громко, – во второй комнате могла услышать жена.

Накануне первой лекции неожиданно рано утром у них появился Рейхель, с чемоданчиком в руке. Он пришел с вокзала пешком. Увидав его, Татьяна Михайловна ахнула. В последние два года все на ее глазах очень менялись физически и точно хвастали этим, – кто потерял от недоедания полпуда, а кто и пуд. Но Аркадий Васильевич был просто неузнаваем: «Живой скелет!»

– Не беспокойтесь, Таня, – сказал он с не шедшей к нему жалкой улыбкой. – Я не собираюсь у вас остановиться. Вечером возвращаюсь в Петербург, хочу только у вас оставить чемоданчик и, если можно, немного передохнуть. И чаю мне не давайте, я ничего не хочу. Отвык и от чаю, и от еды вообще.

Она все же дала ему стакан морковной настойки и два сухаря. Он ел и пил с жадностью.

– Хотите вина, Аркаша? Вино еще осталось.

– От этого я просто не в силах отказаться! Дайте, спасибо.

– Видно, у вас в Петербурге еще хуже, чем у нас?

– Просто голодаем! – сказал Рейхель и даже не выругал большевиков.

– Расскажи, что вообще у тебя делается, – сказал Ласточкин, тоже сочувственно глядевший на своего двоюродного брата.

– Но если вы хотите говорить о политике, то, пожалуйста, не очень громко. Мы ведь теперь не одни.

– Кем вас с Митей уплотнили? – спросил Аркадий Васильевич, оглянувшись на стену.

– Могло быть и хуже, ничего себе люди. Да мы их и видим мало. Они даже не говорят: «Попили нашей кровушки!», хотя в известном смысле мы в самом деле попили.

– Ни в каком смысле не попили, ерунда. Никак не больше, чем, например, в Германии, а там Лениных нет.

– А дело твоей Германии, кстати, швах. Слава Богу, сильно бьют на Западном фронте немцев.

⁷⁸ раболепный (*lat. servilis*).

– Это еще неизвестно, – сказал Рейхель уклончиво. Победы союзников в самом деле его изумили. – А вот мою кровь действительно пьют клопы. Ко мне вселили трех грязных грубиянов, развели клопов. К Ленину и в буквальном и в переносном смысле хлынула вся нечисть России. («Ох, опять затянет вольнку!» – подумал Ласточкин.) И так верно всегда и везде было со всеми благодетелями человечества. Не со всеми? Идея была другая? Что ж, у этих тоже, быть может, люди спасают душу Марксом. Вот ведь и Стенька Разин ходил на Соловки к святым угодникам. Впрочем, я теоретически ничего не могу иметь против нынешнего правительства. Я с молодых лет стоял за самодержавие, и это у нас первое *настоящее* самодержавное правительство... Ну, да что говорить!

Он рассказал о своей жизни. Выпив с наслаждением вина, сообщил, что теперь питается только таранью или похлебкой из конины.

– Вот недавно я варил похлебку и нашел в ней лошадиный глаз! Меня стошнило... Больше ничего купить нельзя, хотя деньги у меня есть: вовремя догадался вынуть все из банка и припрятать. Вы, конечно, тоже все вынули?

Узнав, что они не успели это сделать, он изумился.

– Вот тебе раз! Я догадался, а ты, Митя, знаменитый деловой человек, нет!.. Вот что, возьмите, друзья мои, у меня. Мне не нужно по вышеуказанной причине!.. Почему же нет? Вы столько раз мне прежде помогали. Умоляю вас, возьмите хоть половину моих.

Ласточкины были тронуты, но решительно отказались.

– Ты ведь знаешь, что я получил штатную доцентуру с жалованьем, – сказал Дмитрий Анатольевич.

– Доцентуру? Нет, откуда же мне знать?

– Помнится, я тебе писал.

– Ничего не писал или письмо не дошло.

Ласточкин рассказал. В другое время Рейхель обратил бы внимание на то, что он сам, с учеными степенями, еле нашел кафедру после долгих поисков, тогда как его двоюродный брат, без научных работ, получил ее легко и быстро. Теперь он искренно выразил радость. Еще больше удивило Ласточкиных то, что он спросил о Люде и как будто без всякой злобы.

– Мы ровно ничего о ней не знаем и очень беспокоимся. Представь, она уехала еще в прошлом году на Кавказ и там застряла! С тех пор, как Кавказ отделился, мы от нее ни одной строчки не получили! И ты понимаешь, в какой мы были тревоге, особенно в пору этих ужасов в Пятигорске.

– Каких ужасов в Пятигорске?

– Разве ты не помнишь? Там было зарезано семьдесят человек, преимущественно сановники и генералы. Герои войны, Рузский, Радко-Дмитриев. А это в двух шагах от Минеральных Вод, от Ессентуков.

– Какое же Люда могла бы иметь отношение к генералам? Ни минуты не сомневаюсь, что у нее все благополучно... Я ничего против нее не имею, – добавил он, помолчав, – она не плохой человек. Если опять восстановится почтовое сообщение, передайте ей, что я ей желаю всяческого добра.

– Непременно!.. Непременно!.. – радостно в один голос сказали Ласточкины.

– Ну, что ж, я пойду по делам. Перед отходом поезда, – в предположении, что есть поезд и что он отойдет, – я только на минуту зайду к вам за чемоданчиком. Простимся лучше теперь, тогда вам незачем будет меня ждать... Да, вот как сложилась жизнь, друзья мои.

Рейхель хотел сказать, но не сказал, что жизнь и его обманула, несмотря на всю его необыкновенную проницательность. Он всегда искал способа отгородиться от жизни; отгораживался разными «мировоззрениями», и учено-отшельническим, и скептическим, и черно-реакционным. Теперь искал еще какого-то нового, не находил, перескакивал с одного из прежних на другое, и был несчастен больше, чем когда бы то ни было прежде.

XI

По вечерам Ласточкины читали классиков: всех потянуло к тому, что было *бесспорно* в русской культуре. Бесспорны были также Мусоргский или Чайковский, но бывать в театрах не хотелось: трудно было доставать билеты, утомительно идти пешком, оба были измучены, не желали и смотреть на новую публику. Не очень хотелось и читать газеты.

Однажды Дмитрию Анатольевичу попалось в них имя Эйнштейна. Советская печать, нередко приводившая цитаты из немецких газет, особенно из «Берлинер Тагеблатт», сообщала, что создатель теории относительности (которую, впрочем, большевистские философы очень не одобряли) подвергается злобным нападкам со стороны германских реакционеров, милитаристов и антисемитов, – в частности за то, что сочувствует коммунизму и коммунистической революции. Газета излагала политические мысли, будто бы высказывавшиеся Эйнштейном. Ласточкин прочел с недоверием. «Быть может, и тут солгали или прилгнули. Неужели гениальный человек мог бы нести такой вздор, вдобавок и совершенно банальный!» – думал он, читая статью. Эйнштейн отстаивал свободу, но не объяснял, кто в мире и России ее защищает; ругал реакционеров, но не ругал большевиков («или они это выпустили?»). По его мнению, не надо было верить тому, что многие пишут о русских событиях: *если* жестокости и были, то ведь нужно принять во внимание то-то и то-то, – далее следовали разные общие места о революциях и ссылки на русскую историю. Были ссылки также на какую-то неопределенную гармонию, которая непременно должна установиться в мире. Неясно было, в чем эта гармония будет заключаться и кто и как будет ее устанавливать.

«Это тоже не очень ново и не очень умно, – думал раздраженно Дмитрий Анатольевич. – У тех неизлечившихся поклонников Людендорфа все банально по-реакционному, а у него все банально по-радикальному: и эти лицемерные «если» – он, видите ли, не знает! – и эти весьма односторонние умолчания, и этот «гигантский социальный опыт». Едва ли господам из «Берлинер Тагеблатт»-ов очень хочется, чтобы такой же социальный опыт проделали над ними, но в варварской России отчего же нет, это очень интересно! Тут и русская история, о которой и сам Эйнштейн, и люди из «Берлинер Тагеблатт»-ов в лучшем случае когда-то прочли страничек десять в школьных учебниках. Хороша и его радикальная гармония, очевидно, без реакционеров, но – тоже очевидно, хотя и недосказано – вкуче с большевиками! И вся эта глупая слащавая фальшь! Да и его, Эйнштейна, туда втянули». Ласточкин не мог сказать себе в утешение, что Эйнштейн, верно, глуп. Знал, что ум – неопределенное понятие, знал также, что этот человек в своей области гений, быть может, даже сверхгений. «Во всяком случае он становится вдвойне символической фигурой нашего времени. Своим гением поколебал прочные устои знания, своей безответственной болтовней дал слащавую санкцию «Берлинер Тагеблатт»-ам».

Все это Дмитрий Анатольевич, впрочем, думал неуверенно. Теперь уверен больше не был ни в чем. «Говорю о чужих банальностях, а наши собственные? Я почти ни от чего не отказываюсь ни в нашем духовном наследстве, ни в своих личных взглядах. Хочу пересмотреть, пересматриваю, и все же большого, основного заблуждения не нахожу. Были, конечно, ошибки, в какой-то мере мы, быть может, отвечаем морально и за «разбойника» Люды (хотя почему же я за него отвечаю?). Отвечаем за то, что давали деньги большевикам, как давал Савва Морозов (я им никогда не давал). Быть может, у нас была и своя слащавая фальшь, даже наверное была, все-таки гораздо более честная и бескорыстная. И вреда от нас было неизмеримо меньше, чем от разных Плеве и Людендорфов. И основная наша ценность – свобода – никак не была ценностью фальшивой. И уж от нее-то я не откажусь никогда, как не откажусь от «дважды два четыре»! Настала катастрофа, нам больше как будто не на что надеяться, и все же я думаю, что наше поколение было *только* несчастно».

Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальней при свете керосиновой лампы, как в пору детства Дмитрия Анатольевича. Оба читали в очках: он с позапрошлого года, она с прошлого стали (с тяжелым чувством) носить очки при чтении. Татьяна Михайловна в этот вечер сняла их раньше обычного, положила на столик и задумалась: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. *Они* кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся *они*, кончимся мы, если не физически, то морально. Митя к ним не пойдет, но что же он будет делать?» Думала «он» в единственном числе: смутно чувствовала, что зимы не переживет, – здоровье у нее все расстраивалось, она боялась пойти к врачу и еще старательнее, чем прежде, скрывала болезнь от мужа. «Для покупки дров продадим Крамского. Рискованно, но что ж делать? Верно, дадут гроши». Теперь, впервые в ее жизни, денежные расчеты у нее примешивались к самым важным и страшным мыслям. «Как он будет без меня жить? Если б хоть Люда была в Москве, я была бы спокойнее... Но где она теперь? Жива ли?»

Спальная – прежняя столовая – была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да еще на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Все остальное было продано. Вселенные жильцы не доносили. Был продан за бесценок и левитановский пейзаж (на четырехугольник, оставшийся от него на обоях, им было особенно тяжело смотреть). Продавать принадлежавшие народу произведения искусства было прямо опасно. Однако жильцы и об этом не донесли. Их было пятеро: муж, жена, три сына подростка. Им вначале предоставили всю квартиру, кроме двух оставленных хозяевам комнат; можно было ждать, что вселят кого-либо еще. Пока Ласточкины не могли особенно жаловаться на то, о чем теперь только и говорили прежние собственники хороших квартир. Новые жильцы не развели клопов, не подслушивали, не подглядывали, не ругались, не следили за каждым движеньем «буржуев». «Право, недурные люди! – говорил Дмитрий Анатольевич. – Он, оказывается, с тысяча девятьсот пятого года «член партии»: они ведь не говорят «большевистской партии», а просто: «партии». Ничего, проживем и с ними. И незачем из-за потери квартиры принимать вид Людовика Шестнадцатого в Тампльской тюрьме. Так теперь делают многие, у которых и до революции не было ни гроша».

Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содраным со стен шелком. Но проводили день в бывшей мастерской Дмитрия Анатольевича, и оттуда постоянно доносился дикий шум. Татьяна Михайловна попробовала с ними поговорить, назвала их товарищами и просила шуметь меньше: ее муж нездоров и должен готовить свой курс в университете. Говорила с самыми ласковыми убедительными интонациями и ничего не добила.

– Не брызгайте, гражданка. Не диалектически рассуждаете, – сказал Петя.

– Буза и хвостизм, – подтвердил Ваня. – Откатитесь, гражданка.

Третий, Вася, ничего не сказал, но, уходя, пробормотал что-то вроде «меньшевицкой лахудры». На этом разговор кончился, а руготня, драки, шум в мастерской стали еще ожесточеннее. Татьяна Михайловна ничего о разговоре мужу не сказала, – «что мог бы он сделать?».

Родители же вели себя вполне сносно и даже порою деликатно. Оба работали не в Кремле и, по-видимому, не на высоких должностях, хотя муж участвовал еще в 1905 году в московском восстании. Уходили на службу с утра, гостей принимали не часто и жили небогато. Но съестные припасы у них были. Татьяна Михайловна постоянно встречалась с жилицей на кухне, старалась не смотреть на то, что там жарилось и варилось; ей казалось, что жилица чувствует себя смущенной.

Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть все равно было трудно, а продать рояль невозможно. В этот день жилица, пред-

варительно постучав в дверь, вошла к Татьяне Михайловне и нерешительно попросила ее продать ей «лишнее» платье и белье. Татьяна Михайловна радостно согласилась без торга: жилища предложила значительно больше, чем давали старьевщики. Выйдя к себе с покупкой, она тотчас вернулась и принесла полфунта кофе: «Возьмите, гражданка, это бесплатно. У нас есть». Татьяна Михайловна приняла подарок, очень благодарила – «муж так обрадуется», – и потом прослезилась. Стала слаба на слезы.

Дмитрий Анатольевич читал «Войну и мир». Эта книга казалась ему лучшей в мировой литературе. Говорил жене, что начал читать Толстого двенадцати лет от роду: «Покойная мама подарила, когда я болел корью. Двенадцати лет начал и, когда буду умирать, пожалуйста, принеси мне на «одр» то же самое». За этой книгой он часто засыпал; мысли его приятно смешивались. «Как хорошо, что существует в мире хоть что-то абсолютно прекрасное, абсолютно совершенное!..» Но в этот вечер он заснуть не мог.

– Странно, – сказал он, отрываясь от книги. – Ведь крепостное право было ужасно, а все-таки люди тогда были культурнее, чем мы! Толстой сам на старости лет говорил, что в дни его молодости было в России культуры и образования гораздо больше, чем в двадцатом веке. А это было *до* большевиков.

– Старикам свойственно идеализировать прошлое, но я допускаю, – ответила Татьяна Михайловна. – А вот у *них* растет действительно редкое поколение. Хороша будет жизнь, когда подрастут все эти Пети и Вани!

Дмитрий Анатольевич вздохнул и снова взял книгу. Он читал о поездке князя Андрея в Отрадное, с знаменитой страницей о старом дубе. «Весна, и любовь, и счастье! – как будто говорил этот дуб, – и как не надоест вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон, смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинаковые, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они – из спины, из боков; как выросли – так и стою и не верю вашим надеждам и обманам...»

«Да, разумеется, тысячу раз прав этот дуб, – подумал Дмитрий Анатольевич. – Только князь Андрей не имел права это думать, а я и мы все имеем. Да, я тоже никаким надеждам больше не могу верить». Точно чтобы самого себя опровергнуть, Ласточкин повернул несколько страниц в знакомой ему чуть не наизусть книге и прочел о возродившемся, преображенном дубе: «И на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотой ночи, и эта ночь, и луна, – все это вдруг вспомнилось ему».

«Но как же тут мертвое лицо жены! Это тоже «лучшая минута жизни»? – вдруг с сильным волнением подумал Дмитрий Анатольевич, никогда прежде не замечавший этих слов. – Обмолвка? Но разве у Толстого бывают обмолвки? И то же самое есть в другой главе: Пьер, вернувшись из плена, с радостью думает, что жены больше нет в живых! Что же это такое? Значит, не всегда худо, что человек умирает?» Он с беспричинным ужасом оглянулся на соседнюю кровать. Татьяна Михайловна уже задремала; лицо у нее при свете керосиновой лампы казалось вместе измученным и просветленным, – мертвым.

XII

Для первой лекции отвели одну из больших зал Аудиторного корпуса. Актовый зал был бы уж слишком велик. К двум часам аудитория была полна на три четверти. Новые студенты и понаслышке мало знали Ласточкина, но обычно ходили на вступительные лекции новых преподавателей. Впереди студенческих скамеек на стульях сидело немало профессоров – преимущественно старики с разных факультетов. «Представителей власти», к большому облегчению Дмитрия Анатольевича, не было. Был один научный работник, до революции засидевшийся в приват-доцентах и принадлежавший именно к тем, о которых говорил Ласточкиным Травников: еще с прошлого года он все с большей горячностью утверждал, что надо честно и смело протянуть руку новому правительству: там есть кристально-чистые, культурнейшие люди. В тесном кругу одни из профессоров о нем говорили, что он боится на обе стороны; другие же называли его «оком Кремля, если не Лубянки». Еще недавно с ним, пожалуй, люди и не здоровались бы, но теперь никто его не бойкотировал и все пожимали ему руку, большинство очень холодно.

Ласточкины потратились на извозчика. Идти пешком было далеко, Дмитрий Анатольевич боялся, что одышка у него усилится и помешает ему говорить. По дороге он все время прокашливался. Татьяна Михайловна тоже очень волновалась, хотя знала ораторский дар мужа.

– Только не волнуйся, – говорила она. – Если потеряешь нить, просто найди в тетрадке нужную страницу и преспокойно читай.

– Это не принято в университете. Но я нисколько не волнуюсь.

– И слава Богу! Волноваться нет ни малейшей причины. Ты всегда говоришь прекрасно.

Его встретили недолгими рукоплесканиями. Ласточкин неуверенно раскланялся, положил перед собой тетрадку, надел очки и, справившись с дыханьем, заговорил. Прежде принято было начинать: «Милостивые государыни и государи». Теперь милостивых государей давно не было, слово «граждане» все еще было непривычно и казалось неестественным; Дмитрий Анатольевич дома решил, что начнет лекцию без всякого обращения. Татьяна Михайловна вошла в аудиторию через другую дверь и заняла место на последней скамейке. «Слава Богу, слушателей много. И аплодировали достаточно, вполне прилично».

С первых же произнесенных мужем слов она успокоилась. Он говорил громко, отчетливо, внушительно. Только ей была заметна его одышка, только она видела, как он волновался, особенно в первые минуты. В тетрадку он почти не заглядывал. Слушали его с интересом. Он кратко изложил историю русской промышленности до двадцатого столетия, назвал Строгановых, Демидовых, отметил их заслуги, отметил теневые стороны, тяжелые условия труда на их заводах, ничего не замалчивал, ничего и не подчеркивал. Сообщил, что Петр Великий (так и сказал: «Петр Великий», а не «Петр Первый») вел Северную войну на деньги, данные ему Строгановыми, и что когда-то на их средства Ермак завоевал Сибирь. Затем перешел к промышленникам двадцатого века и назвал много имен, еще недавно известных всей России, теперь уже забывавшихся. О них говорил в большинстве как о своих добрых знакомых. Отозвался сочувственно о Савве Морозове и, тоже не налегая, вскользь сообщил, что он щедро поддерживал революционное движение. Рассказал анекдот о другом либеральном богаче, дававшем деньги на революцию и ставшем в 1917 году министром:

– ...Мне говорили недавно, что, когда он после октябрьского переворота был посажен в Петропавловскую крепость, то его встретил сидевший там бывший царский министр юстиции Щегловитов и сказал ему: «Очень рад вас тут видеть. Я слышал, что вы истратили несколько миллионов на революционное движение? Но я вас сюда посадил бы и бесплатно».

Послышался смех. Дмитрий Анатольевич, улыбаясь, перешел к более серьезной, ученой части лекции: стал приводить цифровые данные о росте русской промышленности, о положе-

нии рабочих, о заработной плате. Говорил он так, как говорил бы об этом несколько лет тому назад. Разве что привел несколько строк из книги *Ильина* «Развитие капитализма в России», которую до революции в университетах едва ли цитировали. Печально-торжественно добавил: «Как вы знаете, под псевдонимом Ильина тогда писал нынешний председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов-Ленин (потом немного пожалел, что не сказал просто: «Ленин»). При этом имени раздались рукоплескания, впрочем жидкие. Бурно зааплодировал научный работник на первой скамейке. Соседи на него покосились, но нерешительно раза два хлопнул и еще кто-то из профессоров.

Статистическая часть доклада несколько расхолодила аудиторию. Однако Ласточкин и цифровые таблицы читал внушительно, тут же объясняя их смысл. Слушали доклад до конца очень внимательно. Обычно вступительные лекции заканчивались выражением каких-либо общих взглядов, которое произносилось профессорами с подъемом. Дмитрий Анатольевич решил от этого воздержаться.

– В следующих моих лекциях я буду иметь честь ознакомить вас подробно с ростом русского народного хозяйства и каждой из его отраслей в отдельности, – закончил он, закрыл тетрадку и, сняв очки, приподнялся. Подумал, что «буду иметь честь» было ненужно.

Теперь рукоплескания продолжались с минуту. Лекция имела несомненный успех. Аплодировали очень многие студенты и все профессора. Снисходительно похлопал и научный работник из *servum pecus*. Татьяна Михайловна вздохнула с радостным облегчением. Профессора подходили к Ласточкину и поздравляли его. Травников издали помахал рукой Татьяне Михайловне и направился к ней, не без труда проталкиваясь в проходе сквозь толпу студентов.

– Вот вы куда забрались! – сказал он, целуя ей руку. – Узнаю вашу скромность. «Лучше прекрасной женщины есть только женщина прекрасная и скромная», – говорил Пифагор. Ну, сердечно, от души поздравляю! Превосходная лекция! Триумф, аки у Цезаря или Помпея. Богдыхан отлично прошел через Сциллы и Харибды!

– Да, кажется, не было ни Сцилл, ни Харибд?

– Были! Теперь всегда есть. «*Incidis in Scyllam cupiens vitare Charybdim...*»⁷⁹. Так вот сейчас же пожалуйста бритесь. Ко мне. Будет и морковный чай, и брусничный, один отвратительнее другого! Но будет и печенье, еще не древнее, вполне съедобное. И, главное, будет водочка, клянусь собакой! – говорил профессор.

Ласточкины и еще человек пять-шесть друзей должны были прийти после лекции к нему. В былые времена после вступительных лекций обычно собирались в профессорской; но теперь это было признано неудобным: «еще явится нежелательный элемент». Выбрали холостую квартиру Травникова, она была в двух шагах от Университета на Никитской, и вселенные к нему жильцы возвращались домой только к шести. Друзья, сложившись, купили две бутылки водки чуть ли не на последние деньги: все, от тяжелой жизни, чувствовали потребность в такой встрече и предвкушали радость; московские рестораны давно были закрыты и даже заколочены.

– Спасибо, дорогой друг... Ах, в былые времена устроили бы прием у нас.

– В былые времена, барынька, был бы по такому случаю банкет в «Праге» или в «Эрмитаже». Я, кстати, всегда был пражанином, но у нас преобладали гнусные эрмитажники.

– Так вам в самом деле понравилась лекция богдыхана?

– Помилуйте, как же могла бы не понравиться! Она была божественна, клянусь бородой Юпитера! – сказал профессор. Он все больше любил Ласточкиных, волновался, отправляясь в Университет, и выпил под тарань стаканчик водки.

⁷⁹ «Попадешь к Сцилле, желая избежать Харибды» (лат.).

Было очень весело. Говорили приветственные речи, – почти как в лучшие времена. Все очень хвалили лекцию. Первый тост хозяин поднял за «героя нынешнего знаменательного дня», второй – за его «верную, преданную, очаровательную подругу жизни». Друзья целовали руку Татьяне Михайловне, Дмитрий Анатольевич с ней поцеловался под рукоплесканья. Оба смущенно прослезились от общей ласки, от радостного волнения, от водки. Успели шепотом обменяться нежными словами. – «Спасибо тебе, дорогая, милая, *за все* спасибо», – прошептал Ласточкин. Разошлись только за полчаса до прихода жильцов, все искренно говорили, что давно не было такого приятного дня.

Дмитрий Анатольевич предложил поехать на извозчике и домой, но на Никитской извозчика не оказалось.

– Ничего, отлично доедем на трамвае, ведь недалеко остановка, – сказала Татьяна Михайловна; она теперь берегла каждый грош. Трамвай был, разумеется, переполнен, все же ей удалось протиснуться на площадку. Дмитрий Анатольевич, пропустивший вперед двух старушек (мест в трамваях давно дамам не уступали), повис на последней ступеньке. «Надо держаться крепче, слишком много, кажется, выпил!» – подумал он. Голова у него в самом деле кружилась. Он невольно подумал о том, как тяжело сложилась судьба: «В такой день возвращаюсь домой, вися на ступеньке трамвая!» То же самое подумала и его жена. Ласточкин слабо ей улыбнулся и как-то выраженьем лица сказал ей, что ему очень удобно. «Мне отлично, да ведь и не очень далеко», – прокричала она. Он не расслышал, но закивал головой.

«Немного счастья было в жизни у Тани!» – в сотый раз и теперь подумал он, несмотря на радостное настроение. Главным их горем всегда было отсутствие детей. Дмитрий Анатольевич и прежде понимал, что утешеньем в этом никак не может быть тот комфорт, позднее та роскошь, которыми он обставил жену, интересная жизнь в Москве, платья от Ворта, путешествия в спальнях вагонов, общество знаменитостей. Но теперь и все это было лишь воспоминаньем; была бедность, почти нищета, бытовые униженья, тяжелая работа при ее слабом здоровье. Знал, что Татьяна Михайловна об этом даже не думает, и с каждым днем его нежность к жене увеличивалась. Она опять улыбнулась ему и подняла три пальца, показывая, что остаются еще три остановки.

Какой-то простолюдин стал с площадки прокладывать себе дорогу: выходить полагалось с другого конца вагона, но пройти через густую толпу пассажиров в длинном проходе было бы почти невозможно. «Как же мы можем его пропустить?» – подумал Ласточкин. Пассажиры на двух верхних ступеньках стали ругаться. «Ох, грубая жизнь!.. А может быть, это карманник?» Все знали, что карманники воруют в вагонах бумажники именно перед остановками трамвая, поспешно выходя и расталкивая людей. Дмитрий Анатольевич оторвал правую руку от перил и стянул борты пиджака. Простолюдин рванулся вперед и сильно толкнул человека, стоявшего на второй ступеньке. Тот поддался вниз. Ласточкин потерял равновесие и, беспомощно взмахнув рукой, упал на мостовую навзничь, вытянув ноги – под прицепной вагон. Все ахнули. С площадки послышался отчаянный женский крик.

ХІІІ

Как всегда бывает в таких случаях, друзья говорили, что Татьяна Михайловна в один день поседела и состарилась на десять лет. Она и сама позднее не понимала, как этот день пережила. Но после первых минут, когда она с криком упала на колени над мужем (кровь из его раздробленных ног лилась на мостовую, как из разбившейся бутылки), Татьяна Михайловна делала все, что было нужно, «спокойно»; только все время тряслась мелкой дрожью.

Карета «Скорой помощи» приехала на место несчастного случая через четверть часа, – все говорили, что это истинное чудо. Вторым чудом было то, что в Морозовском клиническом городке, куда привезли Дмитрия Анатольевича, оказался их добрый знакомый, профессор Скоблин; как раз собирался уехать после нескольких операций. Он очень поморщился, увидев Ласточкина, но с таким видом, точно именно этого и ожидал.

После осмотра и перевязки он вышел к Татьяне Михайловне. Она, ни жива, ни мертва, на него смотрела. Губы у нее прыгали.

– Необходима ампутация. Немедленная. Разумеется, иначе сделается гангрена, – сказал он, избегая ее взгляда. – Я надеюсь, что сердце выдержит. Но ручаться не могу.

– Ампутация? – выговорила она.

– Ампутация обеих ног. К счастью, ниже колен. На войне люди выживали и после еще худших увечий, а их оперировали на фронте не в таких условиях. Живут и здравствуют. Я твердо надеюсь, что Дмитрий Анатольевич выживет. Ассистент и анестезист готовы. Хлороформ есть. Если хотите, я вызову еще вашего терапевта, но ждать его нельзя.

Полагалось спрашивать о согласии. Однако он, взглянув на нее, не спросил. Пошептавшись с кем-то, сказал:

– Мы теперь, разумеется, всех помещаем в общую палату, но для Дмитрия Анатольевича на первое время найдем отдельную комнату. Здесь все знают, кто он такой. Помнят и то, что он был другом покойного Саввы Тимофеевича. Будет и отдельная сиделка. Будет сделано решительно все. Я велю позвонить Никите Федоровичу, он ведь ваш ближайший друг. Вам нельзя оставаться одной.

Она что-то хотела сказать, но не могла выговорить.

Сердце выдержало.

Скоблин еще у умывальника говорил с Татьяной Михайловной и с Травниковым, – тоже бледным как смерть. Старался придать лицу бодрое выражение; это, по долгой привычке, ему обычно удавалось. Все же поглядывал на Татьяну Михайловну; хотел было даже пощупать у нее пульс. Отдал распоряжение, обещал приехать снова в десятом часу вечера; объяснил ассистенту, куда звонить до того – *«если что»*.

– Теперь будет жив, я ручаюсь. Завтра же будут заказаны искусственные...

– Чтобы ходить?

– Для чего же другого? – сказал Скоблин. Знал, что ходить Ласточкин больше никогда не будет. – В первое время его будут, разумеется, возить в повозочке. А вам, Татьяна Михайловна, надо безотлагательно вернуться домой. Сиделка вполне надежная. Завтра утром приедете. Разумеется, отдохните немного, ведь хуже будет, если вы свалитесь, – сказал хирург, но тотчас добавил: – Хорошо, останьтесь здесь на первую ночь. Хотя это не полагается, я распоряжусь.

Действие хлороформа кончилось. Дмитрий Анатольевич раскрыл глаза, скосил их немного по сторонам, шевельнуть головой не мог. Увидел незнакомый ему потолок и карнизы стен, тяжело вздохнул, стараясь вспомнить, что такое случилось. Почувствовал жгучую боль и

негромко застонал. Между его глазами и потолком появилось искаженное, без кровинки, лицо жены, столь всю жизнь близкое и дорогое. За ней что-то тревожно шептал женский голос. Он вдруг вспомнил, понял. У него полились слезы.

– Таня... Ми...лая, – еле прошептал он.

У нее все прыгали губы.

– Я уми...раю? Да?.. Бедная...

Несмотря на принятое решение «быть бодрой», она заплакала. Травников, сам еле удерживавший слезы, потащил ее к двери.

– Да что вы, сударь! – энергичным тоном говорила старая сиделка. – Операция прошла превосходно. Никакой опасности нет. Ничего вы не умираете, полноте. Лежите спокойно, вам еще нельзя разговаривать.

В комнату вошел ассистент, оглянул всех и с радостным видом поздравил:

– Все сошло отлично. Лучше и желать нельзя... Скоро будете совершенно здоровы. Успокойтесь, сударыня, – говорил он. В Морозовском клиническом городке без крайней необходимости еще не употреблялись новые обращения.

Часть восьмая

I

Джамбула не призвали в армию, и он был этому рад. По возрасту подходил разве для какого-нибудь самого последнего запаса, отяжелел от лет, от тихой привольной жизни, от вина, жирной еды, восточных сластей.

Война его потрясла. Он не верил в германскую победу и никак ее не желал. Кроме того, воевать против России было бы ему еще тяжелее, чем воевать против западных демократий: «Все-таки числился столько лет в рядах *русских* революционеров, хотя и тогда подчеркивал, что я не русский». Младотурок он вообще недолюбливал, а Энвера ненавидел, – быть может и потому, что сам на него немного походил характером. После константинопольской революции ему делались кое-какие предложения. Он их отклонил, – тогда еще не был турецким подданным, и по-турецки говорил не очень хорошо, и все революционное было ему с каждым годом все более неприятно; он считал теперь политику вообще очень грязным делом.

С началом войны более молодые из его соседей ушли на фронт; многие были скоро убиты. Старики косились на Джамбула, хотя он пожертвовал большую сумму в пользу Красного Полумесяца. Позднее стали возвращаться в свои усадьбы раненые и разочарованные люди. Они отчаянно ругали правительство, командование, генерала Лимана фон Сандерса и немцев вообще. Уверенность в германской победе поколебалась. Турция была почти разорена, – между тем, если б не вмешалась в войну, то разбогатела бы, как все нейтральные страны.

Впрочем, помещики на свои дела особенно жаловаться не могли, несмотря на реквизиции или же именно благодаря реквизициям. У Джамбула реквизировали и лошадей его конского завода, который уже был известен на всю Турцию. Оставили только пару-две для экипажа, клячу, возившую воду, и верхового арабского жеребца. К удивлению соседей и ведавших реквизицией чиновников, он уступил весь свой конский состав по цене низшей, чем та, какой он мог бы добиться при своих связях и богатстве. К еще бо́льшему удивлению приемщика, растроганно простился с лошадьми и кормил их сахаром, хотя в нем уже чувствовалась нехватка.

Своих работников, призванных в армию, Джамбул на прощанье угостил большим обедом и сделал им денежные подарки. Они и прежде его любили: он не перегружал их работой, хотя требовал и добивался того, чтобы они трудились как следует. Хорошо всех кормил, желавшим давал и вино. Джамбул теперь был значительно богаче прежнего. Научился сельскому хозяйству и не увольнял управляющего только потому, что тот был стар и был любимцем отца. Сам входил во все. Денег у него уходило мало. Так как все было свое, то он тратился преимущественно на книги и на вино. За границу ездил только еще один раз, в Париж, и опять было то же: сначала приятно и занимательно, потом скучновато.

С женами он жил отлично. Обе были молоды, веселы, хороши собой. Иногда ссорились и ругались одна с другой, но в драку это обычно не переходило, особенно в те часы, когда он бывал дома: немедленно их останавливал и мирил. Старался относиться к ним совершенно одинаково, чередовал милости, тратил на подарки одни и те же суммы, – знал, что цены на все им хорошо известны. Обе любили его и обе опасались, как бы он не женился еще на третьей жене. Заняты они были целый день. Работали по хозяйству и в саду, шили, ткали, вместе катались в коляске, – иногда ездил с ними и он. Обе умели читать, но не злоупотребляли этим искусством.

Хотя русские дела теперь интересовали его мало, он в 1917 году стал читать газеты с жадностью. Чувства у него были разные. Революционные настроения не возродились, и все же

невольно ему приходило в голову, что если б он остался в России, то был бы теперь никак не помещиком: «Конечно, прошел бы в их Учредительное собрание и там разглагольствовал бы на весь мир!» – Старался думать об этом иронически, но иногда думал, что «разглагольствовать на весь мир» было бы, пожалуй, приятно. Особенно внимательно он следил по газетам за карьерой Ленина. Его приход к власти и разгон Учредительного собрания решили для Джембула вопрос окончательно: «Разумеется, отлично сделал, что бросил». Кавказ отделился от России. До него доходили стороной слухи о старых товарищах. «Когда будет заключен общий мир, съезжу в Тифлис. А во второй раз гражданства и взглядов менять не буду!»

Война продолжалась и с каждым днем все больше казалась ему бессмысленным делом. Коран он читал теперь меньше, чем прежде, хорошо знал все сураты, а многие заучил наизусть. На вопрос о смысле войны ни Бергсон, ни другие философы не давали ответа. Джембул говорил и с муллой в зеленой чалме. С тем, что люди забыли Бога и что в этом вся беда, он был почти согласен, но выводы отсюда ему были неясны. «Как же переделать людей? Значит, можно только стараться самому жить «праведно», разумеется, насколько это возможно». Джембул не считал себя праведником и после того, как перестал быть революционером. Теперь он был просто верующим мусульманином, таким же, как большинство его соседей, не имевших бурного прошлого. В общем был доволен своей спокойной, прозаической жизнью.

Посыпались решающие события: наступление маршала Фоша, необыкновенные победы союзников, отставка Людендорфа, отречение царя Фердинанда, убийство графа Тиссы. Императорской Германии приходил конец. Ее союзники были растеряны. И уж совсем растерялись в первое время министры новых государств, прежде входивших в Российскую империю. Они так твердо верили в победу немцев, и теперь в самом спешном порядке переходили от преданности Вильгельму II к четырнадцати пунктам президента Вильсона. В Константинополе, в Софии началось что-то вроде политической паники. Все проклинали «право силы», все куда-то спешно уезжали, все говорили о способах отъезда: «Мы на «Тигресе»... «Мы на «Решад-паше»... «Я по железной дороге».

И, наконец, было заключено перемирие, – к радости не только победивших, но и побежденных народов.

Соседи Джембула тоже проклинали «милитаризм» и самыми ужасными словами ругали Талаата и Энвера. Никто не знал, отойдет ли к кому-либо их земля и куда она должна была бы отойти по пунктам Вильсона. Народ в Турции кое-где голодал, хотя меньше, чем в Великобритании и даже чем в Германии. Люди, приезжавшие из Константинополя, рассказывали, что в «Пера-Палас» и у Токатлиана еще едят на славу и что туда приезжают для поправки новые богачи из Берлина и Вены. К Джембулу иногда приходили измученные солдаты, когда-то у него служившие, и жалостно просили снова принять их на службу. Он принимал, кого мог.

Кое-как наладились сношения с Кавказом. И как-то получил телеграмму, очень его удивившую не то чтобы приятно, но и не то чтобы неприятно. Она была от Люды Никоновой.

II

На скамейке под тутовым деревом сидели, с довольно угрюмым видом, обе его жены. Они были очень взволнованы: телеграммы в дом приходили не часто. Джембул тотчас велел отправить рано утром на станцию коляску; это случалось еще реже.

Накануне за обедом он небрежно объяснил, что к нему приедет – ненадолго – одна русская знакомая, которую он знал по работе еще в России, и привезет ему письма от друзей. Женам было известно, что он когда-то занимался какой-то важной работой; не очень этим интересовались и предполагали, что это, верно, была война вроде прежних шамилевских, – о них они в детстве слышали восторженные рассказы стариков. Но не думали, что такой работой занимались женщины, и слово «ненадолго» их не очень успокоило. Спрашивать, однако, не решились. Он при них заказал повару завтрак и обед, а водовозу велел привезти лишнюю бочку воды для ванны, давно поставленной в доме. Вода разогревалась во дворе в медном чане.

Светло-серый арабский жеребец, – тот самый, уже очень немолодой, с огненными глазами, с огромными ноздрями, с точеными тонкими ногами, – уже стоял у подъезда; конюх держал поводья, Джембул давно ездил не на английском седле, а на особо заказанном, с большой мягкой подушкой, с парчовой бухарской попоной. По старой памяти, жеребец еще немного горячился. Теперь Джембул чаще ездил в городок в коляске и, если не брал жен с собой, то благосклонно принимал от них заказы и даже записывал, что надо купить. Они теперь делились сомнениями: почему едет верхом? Высказали предположение: хочет щегольнуть перед этой проклятой женщиной, так неожиданно нагрянувшей! Джембул был еще хорош собой в своем живописном костюме, сшитом, по его рисунку, в Сивасе. Он и вскочил на коня более молодецкато, чем обычно в последние годы. С ласковой усмешкой кивнул женам (они сердито отвернулись), взял у конюха хлыст и, расправив поводья, выехал из усадьбы.

По расписанию поезд должен был приходиться в девять; но мог прийти и в одиннадцать и в двенадцать, – поезда, теперь в особенности, уходили, когда было удобно начальнику станции и его уезжавшим друзьям, а шли как было угодно машинистам... Долго ждать на станции ему не хотелось, и он решил выехать из дому в одиннадцатом часу. «Рад я или нет? Не сообщила, зачем приезжает и надолго ли?» Был немного встревожен. Действительно хотел показаться Люде в хорошем виде: верхом на арабском коне. Одеваясь, грустно думал: «Что поседел, это не беда, а вот хуже, что и полысел».

За воротами он перевел жеребца на рысь, но не успел проехать и километр, как вдали на дороге показался столб пыли. «Она! Уже!» – подумал он и по «уже» заключил, что скорее приезду гости не рад. Он стал сдерживать лошадь и увидел, что приближается не его коляска, а знакомая ему бричка, запряженная рыжей кобылой, принадлежавшая единственному станционному извозчику. «Так и есть, не нашел ее болван-кучер!» – с досадой подумал Джембул. Извозчик-еврей остановил бричку и, повернувшись вполборота к даме в дорожном балахоне, что-то ей сказал. Джембул соскочил с коня очень молодецкато, кивнул извозчику, отдал ему хлыст и поводья коня, опять по старой памяти заржавшего. «Скоро и я буду, как он», – подумал Джембул и, переменяя усмешку на самую радостную улыбку, протянул вперед руки. Люда, ахнув, выскочила из брички и бросилась ему в объятия. С утра она себя спрашивала, как надо встретиться, он тоже об этом думал, но само собой вышло, что они горячо обнялись.

– ...Ты совершенно не изменилась! – Как твоё здоровье? – Хорошо ли ты путешествовала? Верно, очень устала? – Устала, но не очень. – Это было так неожиданно! Помнишь у Дюма «Vingt ans après»⁸⁰? – Не двадцать лет, но двенадцать. Как ты себя чувствуешь? – Отлично! Разве у меня плохой вид? Состарился? – Нет, нисколько! Все так же великолепен! –

⁸⁰ «Двадцать лет спустя» (франц.).

Отчего ты на извозчике? Ведь я послал за тобой коляску! – Так это была твоя коляска? Я не догадалась. И ведь я ни слова по-турецки не понимаю. Этот подошел ко мне, он знает по-немецки и по-французски. – Дай на тебя посмотреть. – Я, верно, вся черная от пыли. – Только бурая, но дома готова ванна. – Нет, ты мало изменился! – говорила она. Извозчик смотрел на них, вздыхая. Джамбула знал давно, но этой дамы никогда не видел. Не одобрял, что она целуется с чужим человеком.

– Ты тоже сядешь в эту бричку?

– Нельзя: куда же я дену своего жеребца? Но мой дом совсем близко, – сказал он, с удовлетворением замечая, что не разучился говорить по-русски.

– Ах, какой прекрасный конь! Это, верно, английский? Я так рада, что приехала. Так твой дом близко?

– И *версты* не будет, – ответил Джамбул, вспомнив слово, от которого давно отвык. И подумал, что все-таки рад приезду этой бестолковой женщины, не умеющей отличить арабскую лошадь от английской. – Я надеюсь, что ты у меня погостишь долго?.. Ну, поедем, поговорим дома. Я страшно рад!

Он опять молодежато вскочил на лошадь и поскакал вперед, чтобы не пылить на бричку. Встретил Люду у ворот. Она во дворе опять бросилась ему на шею. Сидевшие на той же скамеечке жены остолбенели от негодования. Осмотрев ее издали с головы до ног, они ушли в дом, изобразив на лицах предел возмущенья и достоинства. Люда изумленно посмотрела им вслед, перевела взгляд на Джамбула и не сразу засмеялась, – не совсем естественно.

– Я, кажется, не вовремя?.. Постой, надо заплатить извозчику. Он согласился принять русские деньги, у меня ведь нет турецких...

– Все будет сделано. Он здесь и отдохнет, – сказал Джамбул и радушно, как всегда, попросил извозчика зайти закутить.

– Я знаю, вы у меня мяса есть не будете. Но рыбу у меня ели самые набожные евреи. И выпьете с дороги водки. Только для христиан и евреев держу ее в доме, нам, мусульманам, нельзя, – сказал он, смеясь. Извозчик тоже засмеялся; знал, что этот богач выпивает по две бутылки вина в день.

– Пойдем, Люда. Ванна будет готова через пять минут, а через час будем завтракать. Но сначала я тебе покажу свою избушку, – сказал он и повел Люду в дом. Она всем искренно восхищалась. Немного нервничала, ожидая встречи с теми женщинами.

Джамбул проводил ее в отведенную ей комнату. Для успокоения жен (и своего собственного) выбрал комнату отдаленную. «Изменилась, конечно, но не так уж сильно. Теперь глаза уж совсем без блеска». Он переоделся, тяжелые темно-красные ботфорты теперь его утомляли. Выбрал самый щегольской из своих европейских костюмов, впрочем уже старый, заказанный как раз перед войной. Спустился в погреб. Во всем доме запирались на ключ только дорогие вина; он объяснял женам: «Сам грешу, но не хочу вводить в грех других мусульман». Женам не очень нравилось, что он много пьет, но иногда грешили и они сами: для них он покупал дешевое сладкое вино. Хотел было взять к завтраку две бутылки, но подумал, что может все-таки сделать какую-нибудь глупость; взял только бутылку шампанского. Ванна для Люды уже была готова, проверил, что слуга разбавил кипяток. Люда с непривычки могла сесть и в кипящую воду. Он прошел к женам.

Они были как фурии. Поговорил с ними, как всегда, важно и благожелательно: вел себя с женами как милостивый султан в гареме. Объяснил им, что в России всегда целуются после разлуки: это ничего не означает и признается обязательным. Сказал, что никакой третьей жены себе не заведет. «Достаточно и вас двух, даже, пожалуй, слишком много». На всякий случай вставил, что на этой и не мог бы жениться: она христианка. Вскользь добавил, что собирается скоро съездить с ними двумя в Сивас и что если они будут хорошо себя вести, то он купит там те шали, которые им так понравились. У обеих лица стали светлеть. Все же они объявили, что к

обеду не выйдут, так как не желают встречаться с этой... этой. Он строго их остановил и сказал, что к обеду их и не зовет: «Вам все пришлют в мою спальную». Обычно они туда допускались только на ночь: одна в первую, другая в четвертую ночь недели. Жены потребовали, чтобы он прислал и возможно больше крема, того, который был заказан повару для этой... Существительного не добавили. Он согласился, но потребовал, чтобы они перед завтраком вышли к гостю на три минуты: так полагается, ровно три минуты.

В ванне Люда себя спрашивала, хорошо ли сделала, что приехала. Его жены были для нее сюрпризом: почему-то всего ждала, кроме этого. «Ну, я тут не засижусь! Завтра же уеду назад в Тифлис, сейчас ему это и скажу. Да, очень, очень изменился. Верно, теперь беспокоится, зачем я пожаловала. Да я просто хотела увидеть человека, который когда-то был близок. Что же тут такого? Правда, к Рейхелю я не поехала бы. Но неужели все это *серьезно!* А я думала, что знаю своего Джамбула!..»

Горничная, тоже испуганная приездом странной гостьи, доложила, что она уже одевается в своей комнате. Джамбул поцеловал каждую из жен, обеих одинаково, – иначе вышла бы новая драма. Постучав в дверь, вошел к Люде. В комнате пахло духами, все теми же ее духами. Сразу многое ему вспомнилось.

– Пойдем завтракать. Ты верно голодна, *Людочка?* – спросил он. На его лице была обыкновенная хозяйская улыбка.

– Как зверь.

– Вот и отлично. Я так рад твоему приезду.

– Будто? Я приехала без всякого дела, просто проведать тебя. Завтра должна буду уехать.

– Завтра? Ни за что! – сказал он. «Кажется, у него отлегло на душе», – грустно подумала

Люда. В столовую вошла тревожно, но жен не было.

– Да, завтра, мне необходимо.

– Ни за что тебя не отпущу, – сказал Джамбул. Люда с удовольствием увидела бутылку в ведерке со льдом. Очень давно не пила шампанского. Они сели за стол. Джамбул спрашивал ее о поездке. Думал, что о серьезном еще говорить рано. Но она этого не думала.

– Те две женщины твои жены? Они мне глаз не выцарапают?

– Не думаю, – так же шутливо ответил он. – Им известно, что я на третьей жене не женюсь.

По закону имею право еще на двух, но это у нас не очень принято.

– Ах, как жаль! – Она расхохоталась. – А ты кто теперь? Бей? Паша? Имам?

– Просто пожилой турецкий помещик.

Люда перестала смеяться.

– Подменили моего Джамбула! Как произошло это чудо!.. Так я их и не увижу? Я их сразу успокоила бы. Объяснила бы им, что ты для меня все равно что ваш великий визирь, которому, кажется, девяносто лет.

– Ты ничего не могла бы им объяснить, потому что они ни слова по-французски не понимают. Но они к тебе выйдут познакомиться, – сказал он. Был не очень доволен ее шуткой.

Вошли жены. К его удовлетворению, глаза у них еще сверкали, но обе вели себя вполне прилично. Люда испуганно на них смотрела. Они что-то сказали, она что-то ответила. Джамбул переводил. Жены пробыли в столовой две минуты и удалились, оглядев внимательно и платье гостьи.

– Очень милые. Сердечно тебя поздравляю, – сказала она насмешливо, но довольно искренно. Мысль о «соперничестве» с дикарками не приходила ей в голову. Если в дороге она хоть немного еще думала о *прежнем*, то теперь совершенно перестала думать: «Разумеется, то кончено».

– Очень милые, – подтвердил Джамбул. – Давай сейчас же выпьем шампанского.

– Как тогда за ужином у Пивато?

– Как тогда за ужином у Пивато, – равнодушно подтвердил он. Люда немного покраснела.

- Состарились мы оба с тех пор! И изменились. Да и в мире много воды утекло.
- И какой воды! Не только воды, но и крови.

III

Шел уже третий час дня, они все еще разговаривали. На столе стояли кофейный прибор и опорожненная на две трети бутылка шампанского.

– Ты почему так мало пьешь? Может, печень или что-либо в этом роде? – спрашивала Люда.

– Нет, печень пока в порядке, – ответил он обиженно. – Я больше пью вечером.

– Чтобы лучше спать?

– Я сплю отлично.

За завтраком она долго рассказывала о том, что с ней было во все эти годы, особенно в последние два. Перескакивала от революции к кооперации, от Ленина к Ласточкину, от Москвы к Эссентукам. Джамбул слушал и старался понять: она говорила сбивчиво, не всегда можно было догадаться, кто это «он»: Ласточкин или Ленин? «Такая же сумбурная, как была... И это Бог ей послал, на ее счастье, кооперацию», – думал он не без скуки.

– Я уверена, что ты был очень удивлен, получив мою телеграмму. Может быть, даже неприятно удивлен? – сказала она, внимательно на него глядя.

– Что ты! Напротив, страшно обрадовался, – ответил он, стараясь вложить в свои слова возможно больше теплоты и искренности.

– Правда? До этой проклятой войны ты мог мне писать и не писал.

– Да я и не знал, где ты.

– Ну, теперь все равно: ты догадываешься, что я приехала не для попреков... Собственно, я и сама не знаю, для чего я приехала... Но на чем мы остановились? Да, значит, после того как я с ним встретила...

– С кем?

– С этим твоим Китой Ноевичем. Он очень милый человек... Согласился теперь взять к себе мою кошечку до моего возвращения в Тифлис...

– Ах, да, что кошечка? Так ты с ней бежала на Кавказ? Это все та же?

– Нет, другая, та умерла. Правда, он очень симпатичный?

– Был прекрасный человек, а какой теперь, не знаю: мы все так изменились.

– Это верно! Ты не можешь себе представить, как мне противна стала революция! Еще тогда, после взрыва на Аптекарском острове... Ты ведь знаешь, он был повешен!

– Соколов? Да, знаю.

– Но особенно после всех дел Ленина. И вот он мне говорит...

– Ленин? Разве ты его видела?

– Да нет же, Кита Ноевич! Ленина я больше с Куоккала не видела и, надеюсь, никогда не увижу. Так вот он мне предложил службу в Тифлисе. Я долго колебалась, но после этого ужасного дела в Пятигорске не выдержала и решила бежать...

– Какого дела в Пятигорске?

– Неужели ты ничего не слышал? – Люда вздохнула. – Зарезали несколько десятков людей, а ты ничего не знаешь!

– Да ведь я русских газет сто лет не видел. А в годы войны не видел и французских. Немецкие просматривал, но я немецкий язык плохо знаю. Они о России торопились сообщать только самое неприятное, особенно после того, как захватили Украину. Вот как в Севастополе союзное командование через парламентариев сообщило русскому о смерти Николая. А о Пятигорске они, кажется, ничего не писали, или я пропустил. В чем там было дело?

Люда рассказала.

– Они взяли заложниками всех видных людей. Могли взять и меня, но, к счастью, не взяли, хотя было схвачено много людей не более «видных», чем я. Были арестованы и знаме-

нитости: генерал Рузский, генерал Радко-Дмитриев. Говорят, они им предложили перейти на советскую службу, но те отказались. И вот ночью их всех вывели к подножью горы и там убили. Не расстреляли, а зарезали! Две ночи подряд резали и бросали в яму, говорят, некоторых еще живыми. Тогда я вспомнила об его предложении и убежала в Тифлис. И это наши бывшие «товарищи»! Ведь я одно время обожала Ленина! Теперь очень стыдно вспоминать.

– Я не обожал, но и мне стыдно, – сказал он, и по его лицу пробежала тень. Люда вспомнила рассказ Киты Ноевича: Джамбул лично участвовал в экспроприации на Эриванской площади. «Как только он мог!» – Ты не кончила. Что же Кита?

– Он превосходный человек. Тотчас все сделал, принял меня на службу. Я всегда любила кавказцев, а теперь еще больше. Какие люди! Не относи этого, впрочем, к себе.

– Не отношу.

– Понимаешь, мне теперь было неловко: всего без года неделю у него служу и уже прошу отпуска. Дал и даже проезд устроил!

– Догадался, что ты едешь ко мне.

– Отстань, нет мелких. – Люда покраснела и от этого смутилась еще больше. – Да, мне захотелось увидеть тебя, поговорить с тобой обо всем. Ты ведь тоже далеко отошел от революции.

– Давным-давно и очень далеко. Мне о них обо всех и думать гадко. Я впрочем понимаю, что если б войн и революций не было, то их пришлось бы выдумать. Они – отводные клапаны не столько для «народного гнева», сколько для избытка энергии и буйных инстинктов у разных людей. Особенно у молодых, но не только у молодых: есть и старики, еще шамкающие что-то революционное по пятидесятилетней инерции. А что все эти Людендорфы и Энверы делали бы без войн? И что Ленины и Соколовы делали бы без революций?

– Ну, это не очень социологический подход к делу.

– Ненавижу социологов.

– Почему?

– Потому, что они ровно ничего не понимают. Они и теперь очень довольны Лениным: он им дал богатый материал для ценных суждений. Когда-нибудь они его превознесут и возвеличат: какой замечательный был социальный опыт! А левые биографы и историки превознесут тем более. Конечно, объявят, что он всю жизнь работал для счастья человечества. Между тем он столько же думал о счастье человечества, сколько о прошлогоднем снеге! Он просто занимался решением задач, занимался политической алгеброй. Ведь математику приятно решать задачи, которые ему кажутся важными: «я, мол, решил совершенно верно, а Плеханов сел в калошу...» Плеханов и в самом деле всю жизнь садился в калошу, это была его специальность. Я впрочем не отрицаю, что Ленин выдающийся человек. Умен ли он? В суждении о некоторых вещах он глуп как пробка, например, в суждениях о предметах философских, религиозных, искусственных...

– То есть в суждениях об искусстве, – поправила Люда. Она всегда любила такие его ошибки: это напомнило ей *прежнее*. Ласково вспомнила и приметку шрама, когда-то ею в нем замеченную. «Теперь взволновался!»

– Да, в книгах об искусстве. Я разучился говорить по-русски. Разумеется, он большой человек: необыкновенное волевое явление, огромная политическая проницательность, это так. Он и не жесток и не зол. Конечно, и не добр.

– Он все-таки сложнее, чем ты думаешь, – опять перебила его Люда. – Ведь я хорошо его знала. Иногда он бывал очарователен. А врагов всегда ненавидел.

– И Марат, верно, иногда бывал очарователен, и Торквемада, быть может, тоже. Ты говоришь, он ненавидел врагов. Это едва ли верно. Разве Торквемада ненавидел еретиков, которых отправлял на костер? Просто их было *нужно* сжечь, что ж тут такого? Я представляю себе сценку. В Кремле идет заседание, собрались все главные. И вот получается телеграмма или там

телефонограмма, хотя бы об этом пятигорском деле. Разумеется, редакция была самая благозвучная. Не сказали: «Мы их зарезали и бросили живыми в яму». Не сказали: «Мы устроили бойню». Верно, сказали о каком-нибудь «мече народного гнева», о «необходимой ликвидации», привели мотивировку, «революционный долг», «буржуазия подняла голову», «враги народа строили козни» и так далее. Что же затем могло быть на заседании? Кто-нибудь из них, еще удивительным образом не совсем потерявший человеческое подобие, какой-нибудь Бухарин или Пятаков, верно, вздохнул или даже мягко запротестовал: «Так все же нельзя!» Не очень, разумеется, запротестовал: все они давно ко всему такому привыкли. Совершенная сволочь, напротив, восклицала что-либо архиреволюционное: «Без малейших колебаний все одобрить!» «Теперь не время для полумер!»... А он, конечно, молча слушал – допускаю, что на этот раз без своей кривой усмешечки. Допускаю даже, что не назвал дела «дельцем». А затем просто предложил перейти к очередным делам.

– Нет, ты его упрощаешь. Он все-таки гораздо выше их всех.

Джамбул засмеялся.

– Да, конечно, гораздо выше их всех. Только это, право, означает не очень много. Он не вульгарный карьерист, не честолюбец, как Троцкий, ни малейшего тщеславия я у него никогда не замечал. Он и не сверхмерзавец, как Коба...

– Какой Коба?

– Джугашвили. Теперь он называется Сталиным. Этого я знаю с юношеских лет! Такого негодяя мир не видывал. По крайней мере, Кавказ не видывал, особенно *мой*! У нас бывали жестокие люди, но что-то в них, верно, наши горы очищали. Камо, например, никак не мерзавец. Слышала о Камо?

– Кажется, что-то слышала. Это тот, который после... после Кавказа (Люда не решилась сказать: после экспроприации в Тифлисе) отправился в Берлин, чтобы ограбить банк Мендельсона?

– Тот самый.

– Мне дон Педро рассказывал: в Берлине этот субъект несколько лет прикидывался буйно сумасшедшим, и так хорошо, что обманул немецких врачей!

– Ему и прикидываться было не очень нужно: он был наполовину сумасшедший. Но он был герой, не могу и не хочу отрицать. К несчастью, он остался большевиком. Он не мусульманин.

– Так что же, что не мусульманин? – спросила Люда, насторожившись: «Теперь заговорит о своем нынешнем главном».

– Ничего. Мусульманская религия очищает людей больше, чем другие.

– Вот как? Почему же именно она? И при чем тут религия вообще? Это правда, что ты стал настоящим верующим мусульманином?

– Правда... Ты меня когда-то называла романтиком революции. Это было и верно, и нет. У меня когда-то револьвер был предметом первой необходимости...

– Да, ты мне на Втором съезде говорил о каких-то страшных делах, – сказала Люда, печально вспомнив о Лондоне. У него опять тень пробежала по лицу.

– Было. Я в молодости собственноручно убил провокатора.

– Этого ты мне не говорил!

– Не люблю об этом говорить. Жалею, что и сейчас сгоряча сказал.

– Убил! Как же это было?

– Он пришел ко мне. Не знал, что это уже известно. Разумеется, у себя дома я не мог его убить, это противоречило бы всем нашим вековым традициям. Разговаривал с ним как хозяин с гостем. Но затем, прощаясь, я вышел с ним за ворота, сказал ему, что он провокатор, и убил его. – Лицо у Джамбула дернулось. – Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера.

– Не до гангстера, а до абрека.

– Это совсем не одно и то же!.. И не у меня одного был только один шаг. Я был еще, пожалуй, лучшим из худших. В сущности, все у меня было от этого вашего «Раззудись плечо, размахнись рука!». Меня наша религия и спасла. Знаешь, у многих людей просто не было времени, чтобы подумать о жизни. Или «над жизнью»? Как правильно? И у тебя тоже не было времени.

– Никак этого не думаю. Не понимаю, при чем тут религия? Я живу без нее, и ничего. И тысячи людей нашего круга живут без нее.

– Политики даже почти все. Явно или скрыто. И вот что я тебе скажу. Почти в каждом политике в какой-то мере сидит – в лучшем случае Ленин, в худшем случае Троцкий.

– Что за вздор! – сказала Люда, вспомнив о своих друзьях кооператорах. «Они, кстати, кажется, все неверующие».

– Ну, не в каждом, а в большинстве и, разумеется, чаще всего в очень малой мере. Хочешь пример? Тот либеральный государственный человек, который имеет право смягчения участи осужденных на смертную казнь и отказывает, несмотря на ходатайство присяжных заседателей, это уже в зародыше большевик.

– Это частный случай и довольно редкий. Что ж, по-твоему, и в Жоресе был большевик?

– В нем нет, и, разумеется, вообще большая разница есть, – ответил он с досадой, как отвечают на доводы всем известные и надоевшие: – Жорес был добрый человек, он вивисекциями заниматься не мог бы, да и нельзя было тогда, так как революций не было. Вдобавок, он ни года у власти не находился. Всякая власть развращает, а революционная в сто раз больше, чем другая... Вот мы с тобой ушли от революции, хотя ушли по-разному: ты ушла, так как не была создана для политики, а я ушел потому, что вдруг почувствовал на спине бубновый туз.

– Что такое?

– Недавно я прочел какую-то книгу о нашей Крымской войне, – сказал нехотя Джамбул. («Какой же «нашей»: русской или турецкой?») – невольно спросила себя Люда.) И я там вычитал, что, ввиду недостатка в солдатах, русское командование велело выпустить из тюрем арестантов. И они сражались отлично, не хуже ваших солдат. Один из них совершил какой-то геройский подвиг на глазах у знаменитого адмирала, не помню, Корнилова ли, или Истомина. Адмирал пришел в восторг и тут же повесил ему на грудь Георгиевский крест: арестант, а русский человек и герой! Так тот воевал и дальше, с Георгием на груди, с бубновым тузом на спине. О, я знаю, как условны и тузы, и ордена, но ведь я говорю фигурально. Большинство тех революционеров, с которыми я работал, *могли бы* иметь на груди боевой орден за храбрость, а на спине бубновый туз за другие свои особенности... Как Камо... Это, впрочем, не относится к главарям: Ленин, я думаю, никогда в жизни не был в смертельной опасности. Тем тяжелее будет ему умирать. А я, не главарь, видел перед собой смерть не раз. Имел право на орден, но вдруг в один, для меня все-таки прекрасный день решил навсегда отказаться от бубнового туза.

– Ты очень несправедлив, – сказала Люда. – Я отошла от революции, но бубнового туза в ней не видела и не вижу.

– Именно *ты* не видела, потому что в ней собственно и не была. А я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора, и ничего, а через несколько лет... – Он хотел было сказать Люде о гневной лошади на Эриванской площади, но не сказал. «Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет». Он выпил залпом бокал шампанского. – Выпей еще вина. Не хочешь?

– Не хочу, – сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой. – Так можно стать и реакционером!

– Я не стану. Реакционеров по-прежнему терпеть не могу.

– Зачем уклоняться от этого разговора, уж если мы его начали? У тебя была настоящая революционная душа, и...

- Я взял эту душу напрокат у русских революционеров.
- Неправда. Правда то, что ты вечно менялся. Помнишь, ты мне читал когда-то стихи:

Смело братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет...

– Не помню, – угрюмо сказал Джамбул. – А если читал, то был дурак! Вот и встал сердитый вал! Хорош?

– Мы желали не этого.

– Так говорят все неудачники. Мы обязаны были подумать, *что* выйдет из наших желаний.

– *Мы* и думали, да другие помешали, бис бив бы их батьку, – сказала Люда.

– Теперь у вас, кажется, в моде другие стихи. Сюда недавно приехал один армянин из России. Дал мне «Двенадцать», поэму Александра Блока. Ты читала?

– Разумеется, читала. Она всех потрясла. Можно соглашаться или не соглашаться, но это гениальная вещь!

– Ровно ничего гениального! Я читал с отвращением. Блок очень талантлив, я не отрицаю. Некоторые его стихи такие, что никто другой не напишет. Но это просто звучные общедоступные частушки... Ведь есть такое русское слово «частушки»? Кто у вас теперь их в Москве пишет? Кажется, какой-то Демьян Бедный?

– Господи! Александр Блок и Демьян Бедный!

– Я их не сравниваю, хотя, может быть, и Демьян Бедный тоже «всех потряс», только читателей другого уровня, несколько менее высокого. А поверь мне, Александр Блок своих старых дев потряс только «изумительным финалом». Для этого финала вся поэма и написана, без него на нее и не обратили бы большого внимания. Разумеется, последняя фигура, которой можно бы ждать в конце такой поэмы, в компании хулиганов-убийц, это Христос. Так вот вам, нате, изумительный финал, и какой глубокий! – с внезапным бешенством сказал Джамбул. – Отвратительно! Даже независимо от того, что он оказал огромную услугу большевикам. Хотя Ленин, верно, хохотал над его поэмой, если прочел.

– Вот и ты «хохочешь». Блок никому никакой услуги оказывать не желал!..

– Опять «не желал»! Все вы «не желаете», но делаете черт знает что!

– Не буду спорить... Ну, хорошо, какая же теперь у тебя душа? Мусульманская?

– Да, мусульманская.

– А может быть, ты и ее ненадолго взял напрокат?

– Нет, эту напрокат не взял, – ответил он очень раздраженно. – И не хочу я об этом говорить!

– Как знаешь, – сказала Люда, взглянув на него с испугом. – А я все-таки не жалею, что заговорила. И не жалею, что к тебе приехала.

– Отлично сделала, что приехала, – сказал Джамбул, вспомнив долг хозяина. – Но зачем ты так скоро уезжаешь? Останься. Поживешь с нами. Я уверен, что если ты постарайся, то тебя полюбят мои... – Ему неловко было ей сказать: «мои жены». – Право, останься.

Люда улыбнулась. Поймала себя на мысли: «Если б он не так сказал это, а так, как говорил у Пивато, вдруг я и осталась бы, с меня стало бы?!»

– Не могу. Я обещала Ките Ноевичу вернуться к первому июня. Да надо и зарабатывать хлеб насущный.

– Тебе нужны деньги? Я могу тебе дать сколько угодно.

Она вспыхнула. «Мог бы теперь этого не говорить!»

– Нет, спасибо, у меня достаточно... А ведь Кита Ноевич дал мне к тебе и порученье. Все думает, не согласишься ли ты к ним вернуться. Должность для тебя будет и хорошая.

– Поблагодари его, но скажи, что я не принял бы и должности президента республики.

– Почему же?

– Потому что политика – грязь. Желаю им всяческих успехов, нашим доморощенным Жоресам... О Жоресах ему, конечно, не говори... А вот я приеду туда – просто повидать родные места. Конечно, если они не погибнут. Очень часто гибнут Жоресы, такова уж их судьба.

– Когда ты приедешь? – радостно спросила Люда. – Ради Бога, приезжай поскорее.

– Не знаю, когда, – угрюмо ответил он, подавив зевок.

IV

Как ни огрубели люди в России после революции, как ни был каждый поглощен своими делами и заботами, друзья и знакомые проявили большое участие к Ласточкиным. Всех особенно поразило то, что несчастье произошло тотчас после первой вступительной лекции Дмитрия Анатольевича. Стало известно, что у него нет ни гроша. Лечение было в больницах бесплатным, хотя, кто мог, платил персоналу что мог и от себя. Скоблин и другие врачи клиники решительно отказались от платы. Все же расходы, естественно, были. Негласно, по почину Травникова, образовался комитет друзей. Сам Никита Федорович внес немало из своего тощего кармана. Вносили и другие. Татьяна Михайловна ничего об этом не знала; но если бы и догадывалась, то теперь к этому отнеслась бы почти безучастно: все кончилось, кончились и такие огорченья. Она попросила Травникова продать оставшуюся у них картину. Он продал за гроши и сказал ей, что получил три тысячи. По ее просьбе оставил деньги у себя и платил за все, за что нужно было платить.

Тотчас после несчастья он написал в Петербург Рейхелю. Писать Тонышевым было невозможно: письма за границу не доходили и даже не отправлялись. От Аркадия Васильевича очень скоро пришел чрезвычайно взволнованный ответ. Он прислал едва ли не все свои сбережения, просил извещать его о состоянии двоюродного брата возможно чаще, приложил письмо к Татьяне Михайловне и просил его ей передать, только если врач это разрешит: «По тому, что переживаю я, могу логически заключить, в каком состоянии она!» – писал он Никите Федоровичу. В приложенном письме, тоже логичном и расстроенном, говорил, что приедет в Москву по первому вызову, если от этого может быть хоть сколько-нибудь ощутительная польза. Травников, давно с ним знакомый, знавший его репутацию злого или во всяком случае очень сухого человека, был удивлен. «Нет, люди лучше, чем о них думают мизантропы». Он показал письмо Татьяне Михайловне, ничего не сказав о деньгах. Она просила ответить, что никакой пользы от приезда не будет: это только взволнует и напугает больного.

Скоблин сообщил Татьяне Михайловне, что они могут оставаться в клинике «сколько понадобится». Уход тут был, конечно, гораздо лучше, чем мог быть дома. Горячо благодаря, она спросила о «деревяшках», о костылях, о повозочке: «Буду сама его возить», – Скоблин сказал свое «разумеется» и вздохнул. «Как уж она, несчастная, будет возить! Сама как будто совершенно больна и еле держится на ногах», – подумал он. Душевные и физические страдания Татьяны Михайловны еще увеличивались оттого, что она в день несчастья сама просила мужа не искать извозчика и поехать домой в трамвае. «Из экономии!»

Теперь она уже выходила к приезжавшим в клинику друзьям и старалась с ними «разговаривать»; они только испуганно на нее смотрели. Некоторые привозили подарки: леденцы, баночку варенья. К Дмитрию Анатольевичу еще никого, кроме Травникова, не пускали, и посетители узнавали об этом с облегченьем.

Зашла под вечер жилица их квартиры, просила не вызывать к ней гражданку Ласточкину, испуганно расспрашивала, как случилось несчастье. Сказала, что дома все в порядке, что она за всем следит, и уходя оставила лимон, немного сахару и полфунта настоящего чаю: «Мы ведь иногда кое-что достаем в кремлевском складе», – сообщила она смущенно. О таких продуктах люди в Москве давно забыли. Еще не очень давно, после покушения Каплан, по слухам, был правительством послан за границу экстренный поезд за лимонами и еще чем-то таким для раненого Ленина.

Татьяна Михайловна прослезилась и тотчас написала жилице письмо. Благодарила в таких выраженьях, что Травников только развел руками. Продукты вызвали сенсацию в клинике. Ласточкину был немедленно подан стакан с тоненьким, точно бритвой отрезанным, кусочком лимона и двумя кусками сахара. Он выпил с наслаждением и потребовал, чтобы

такой же пили и Татьяна Михайловна, и Никита Федорович, и сиделка. Они в один голос ответили, что выпьют попозже на кухне.

Дмитрий Анатольевич был все время в сознании, но оно не всегда работало хорошо. Когда в комнате никого не было, он иногда плакал. Прекрасно понимал, что жизнь кончена, что жить больше незачем, не для чего, а скоро станет и не на что. «Что же будет с Таней?» И ему все чаще вспоминалось, что в его квартире, в ящике под бумагами, хранится металлическая мыльница, тщательно обернутая двумя носовыми платками, которые в свое время разыскивала Татьяна Михайловна: «Куда только они делись? Я твердо помню, что оставила тебе десять».

V

Тоньшев был оставлен Временным правительством на прежней дипломатической должности. К февральской революции он отнесся без восторга и печально спорил об этом с женой: Нина Анатольевна была именно в восторге, говорила, что просто влюблена «в них во всех, особенно в Керенского», и высказывала мнение, что Алексей Алексеевич теперь должен выставить свою кандидатуру в Учредительное собрание.

– Я и в Государственную Думу не хотел идти, а в это Учредительное собрание не пойду ни за что, даже если б меня выбрали! – угрюмо отвечал Тоньшев.

Как он ни возмущался политикой прежнего правительства, как ни сочувствовал убийству Распутина, Алексей Алексеевич был очень расстроен падением династии Романовых: «Много, очень много красоты в жизнь вносил монархический строй». Он вел себя в отношении новой власти вполне лояльно, послал поздравление министру иностранных дел Милюкову, которого очень уважал, устроил у себя прием для печати и в кратком слове объяснил, что теперь новая, свободная Россия с удвоенной энергией поведет войну, в теснейшем согласии со своими доблестными союзниками. Никого не хвалил и не осуждал.

Он много работал. С самого начала его работа в небольшой нейтральной стране заключалась преимущественно в собирании сведений о закулисной дипломатической деятельности Германии и Австро-Венгрии, об их попытках завязать связь с французскими и английскими государственными людьми, о переговорах князя Бюлова. Бывший канцлер, по-видимому, был по-прежнему очень доволен собой, своими талантами и своими делами: он ничем, ни в чем не виноват, войну не умели предотвратить его бездарные преемники. После Танжера он еще долго вел политику в стиле Людовиков и Фридрихов, затем ушел в отставку, в чем-то не поладив с императором. Позднее ему Вильгельмом было поручено своим очарованием и дипломатическим гением отвлечь Италию от участия в войне; в Риме он долго очаровывал итальянских государственных людей, сыпал стихами, шутками, цитатами, но Италии не очаровал. Она приняла участие в войне на стороне союзников. Тем не менее Бюлов остался столь же неизлечимо в себя влюблен, как был всю жизнь.

Попытки «войти в контакт» (это было принятое выражение) с Россией делались и через Тоньшева – разумеется, при посредстве граждан нейтральных стран. Он разговаривал с этими людьми чрезвычайно холодно и сообщал в Петербург об их суждениях и намеках. В меру возможного старался узнавать и такие новости, которые могли бы быть полезны военному ведомству. Для этого ему иногда и самому, в помощь русской разведке, приходилось «вступать в контакт» с людьми, уж совсем сомнительными или открыто продажными. Делал это брезгливо. Вдобавок ему казалось и невозможным, чтобы какие-то проходимцы могли хоть что-либо знать о намереньях германского правительства и, тем менее, о планах Гинденбурга и Людендорфа. Но кое-что оказывалось правдой, и он убеждался, что совершенного, непроницаемого секрета нет не только у дипломатов, но и у военных.

После октябрьского переворота он без колебаний послал в Петербург очень краткое известие о своем уходе в отставку и решил переехать во Францию, не дожидаясь ответа, – «с кем же теперь вообще говорить?». Сослуживцы советовали ему этого пока не делать: ссылаясь на формальные обстоятельства, на казенные деньги, на необходимость «поддерживать статус». У всех была уверенность, что большевики падут через несколько недель. С этим он соглашался, но говорил, что ему противно сохранять должность; некому посылать доклады, не от кого получать инструкции, нельзя, ничего не делая, брать жалованье из принадлежащих государству сумм. Возможно лучше наладив формальные дела, сдав должность помощнику, он

уехал с Ниной Анатольевной. На вокзал их на этот раз провожали только сослуживцы, да и то не все.

В Париже они достали небольшую меблированную квартиру. Теперь оказалось очень кстати, что он перевел за границу свои частные средства. Их могло, при скромной жизни, хватить на несколько лет, и вначале Тоньшевы не очень старались об экономии в расходах. Достать горничную было нелегко, к русским теперь шли неохотно: одни простые люди разорились оттого, что большевики перестали платить по займам, другие после Брестского мира считали всех русских изменниками. Тоньшевы наняли швейцарку. Алексей Алексеевич в первое время еще устраивал небольшие приемы, уже без завтраков и обедов. Посещали их только люди второстепенные, больше прежние друзья по дипломатическому ведомству.

– Да и те, верно, немного опасаются, как бы ты не попросил у них денег займа, – говорила, смеясь, Нина Анатольевна. Он пожимал плечами и старался казаться равнодушным. Но его больно задевал конец русского престижа и связанное с этим понижение личного почета, которым он всю жизнь пользовался.

Они очень беспокоились о Ласточкиных. Писем из России больше никто не получал. Алексей Алексеевич в начале октября послал письмо с «вализой». Никакого ответа не было. Благоразумные люди говорили, что письма из-за границы, если и дойдут, то лишь скомпрометируют получателей, а уж отвечать оттуда совсем не безопасно. Лучше вообще пока не писать: ведь скоро все там кончится.

То же говорили и газеты: большевистский строй идет к концу; Ленин потерял всякий авторитет; по-видимому, скоро на его место сядет Троцкий или Зиновьев, уже под него подкапывающиеся и даже было ненадолго его арестовавшие. Газеты сообщали (более серьезные с оговорками о недостаточной осведомленности), что в России идут грабежи, убийства, пожары. Тоньшевы читали с ужасом и тщетно старались успокоить друг друга. Как-то Алексей Алексеевич вспомнил о парижском притоне, в котором был когда-то с Людой: «Вот он, вот «bal d'Octobre!» – подумал он, стараясь разобраться в своем чувстве. Но, кроме мысли, что социальную революцию повлекли за собой социальные контрасты, ему ничего в голову не приходило. «А это ведь довольно банальная мысль».

К разгону Учредительного собрания он отнесся равнодушно: в этом собрании было разве лишь несколько человек, которым он мог бы по-настоящему сочувствовать. Позднее убийство царской семьи его совершенно потрясло. Он несколько дней ходил сам не свой.

И, наконец, пришла победа, полная победа над Германией. Радость Тоньшевых была необычайно велика. Алексей Алексеевич был очень доволен и тем, что Вильгельм II бежал в Голландию, – жалел только, что царь до этого не дожил: это было бы для него утешением.

«Как странно, что три знаменитейших династии мира погибли именно из-за войны! – думал Тоньшев. – Разумеется, воевали во все времена и республики, а все-таки для войн созданы монархии, да еще дворянство. На войнах создались их слава и их добродетели. Правда, любовь к армии, к знаменам, к мундирам это природное свойство человека. Недаром бегут на парадах за войсками дети всех сословий и так радуются, когда им дарят сабли. Недаром даже революционеры подражают военным традициям и военной словесности. Когда-то короли это понимали. При Людовике XIV сын мужика или лавочника мог стать маршалом Франции, а при Людовике XVI – таков хваленый «прогресс» – не мог дослужиться до офицерского чина. Наполеон, имевший только четыре поколения дворянства, – немногим меньше, чем я, – мог быть при старом строе только ротным командиром, а до полкового дослужиться не мог, – а как на беду он хотел, очевидно, стать полковым командиром. И монархи не поняли, что *эта* война будет совсем не такой, как прежние, что мир перестанет ценить военную доблесть и дворянские понятия о чести. Теперь чуть ли не в одной Англии военные заслуги дают дворянство и титулы».

Алексей Алексеевич, впрочем, не очень верил в породу, хотя иногда и нерешительно ссылаясь на то, что есть ведь порода у лошадей, у собак, как же ей не быть у людей? Собственное его дворянство было не старым: его прадед вдруг, ни с того ни с сего, получил высокий чин от Павла, которому чем-то понравился. Тонышев не мог думать, что от этого их порода стала лучше; голубой крови не прибавилось. Но он считал очень полезным для государства обилие отличий, чинов, орденов. «На этом многое везде держалось веками, так все дорожили – и я дорожил – звездами, лентами, статскими и действительными, и это не стоило казне ничего. Республики и эта война все изменили. Надо создавать новые традиции, но какие?.. Да, монархии сами себя погубили!»

Он читал много газет. Из Швейцарии ему доставлялись и немецкие. Хаос в Германии вначале доставлял ему радость: «Насадил у нас большевиков, теперь испытайте на себе!» Но злорадство скоро у него прошло. Теперь его преимущественно интересовало, как ученая страна выйдет из положения, которое она сама считала довольно естественным для неученой. Ненависть людей друг к другу, ему издали казалось, была в Германии еще больше, чем в России. Левые газеты поливали помоями правых, правые – левых. Обе стороны возлагали ответственность за катастрофу одна на другую.

Тонышев надеялся, что освободившиеся с победой огромные силы союзников тотчас свергнут в России большевиков. Но эта надежда очень скоро ослабела, потом совершенно исчезла. Вначале русские дипломаты и политические деятели, со всех сторон съезжавшиеся в Париж, предполагали, что как-нибудь, хотя бы не на основе полного равноправия, они будут привлечены к участию в мирной конференции и в предварительных совещаниях. Но понемногу выяснилось, что об этом и речи нет. Не очень думали вожди союзников и о свержении советского строя вооруженной силой. О Клемансо и Ллойд-Джордже говорили, что они терпеть не могут Россию. О Вильсоне стали говорить, что он имеет симпатии к большевикам и желал бы устроить где-либо мирное совещание между ними и их русскими противниками. Американского президента газеты еще называли светочем человечества, но жар их в этой оценке заметно уменьшался во всех странах.

– Нет, ничего они для нас не сделают, хотя Россия потеряла в войне, верно, в двадцать раз больше людей, чем Соединенные Штаты! – с горечью говорил Тонышев. Изредка у наиболее известных русских дипломатов союзники, без большого интереса, еще о чем-то вежливо осведомлялись. Но, видимо, были очень довольны, что Россия к переговорам не привлечена, что она больше никому не нужна, что ей ничего не нужно отдавать из плодов победы, – вполне с нее достаточно того, что отменен Брестский договор.

В посольстве на улице Гренелль Тонышев беспрестанно встречал старых и более новых политических деятелей, – в душе предпочитал первых, если они не были уж совершенными зубрами. Новые его несколько раздражали: «Все они только себя считают людьми будущего или даже настоящего, а с представителями старого строя разговаривают разве по доброте и снисходительности. Забавно, что они называют большевиков «захватчиками» и «узурпаторами». А кто же были они сами? В феврале был такой же захват власти, как в октябре. Так Тушинский вор приказывал драть кнутом всех следующих Лжедмитриев», – раздраженно думал Тонышев. Впрочем, теперь его раздражало почти все. Раздражали намечавшиеся условия мира, – «все-таки немцы воевали геройски, и в прежние времена, при монархиях, о них хоть говорили бы не в таком тоне. Кончились рыцарские традиции! Где это видано: заключать мир, даже не вступая в переговоры с побежденным противником? И какая цена такому миру!» Раздражало его торжество «всевозможных Бенешей». «Бенеш» с необычайной быстротой появились и на территориях Российской империи. Объявили эти территории независимыми, приезжали в Париж с большими деньгами, устраивали приемы для печати, и их встречали гораздо лучше, чем прежних русских послов.

– Все торчали в приемных немецких министров и генералов, когда у тех дела шли хорошо. А теперь из Берлина кружным путем приехали в Париж и торчат в приемных союзных министров! И совершенно забыли, что были когда-то в России членами Думы или Временного правительства, или же занимались мирно кто адвокатурой, кто службой, кто коммерцией, ни минуты и не думая об отделении своих стран! – говорил он жене.

Нина Анатольевна с ним соглашалась, но не так гневно. Ее забавляли фамилии министров и делегатов новых стран.

– Послушай только, – говорила она, отрываясь от газеты: – Топчибашев, Мехмандаров, Мейровиц, Поска, Сабахтарашвили! А по имени одного зовут Али-Мардан-бек! *On ne s'appelle pas Ali-Mardan-bek!*⁸¹

Это замечание Алексею Алексеевичу не понравилось. Позднее он чуть не устроил жене сцену за то, что она произнесла слово «бош».

– По-моему, это так же некультурно, как говорить «жид» или называть изменника Троцкого «Лейбой»!

– Алеша, да ведь все теперь говорят «бош».

– Именно все. Это и очень скверно.

Поездка Буллита и предложение союзников русским встретиться с большевиками на Принкипо привели Алексея Алексеевича в совершенное бешенство. Тут он сходил со всеми русскими политическими деятелями, и старыми и новыми.

– Замечательный психолог ваш Вильсон! – сказал он в сердцах старому знакомому, нейтральному дипломату. – Хороша была бы встреча! Я первый вцепился бы в горло этим господам!

– Но что же вы предлагаете? – спросил дипломат с недоумением. Он никак не представлял себе, чтобы Тонышев мог вцепиться в горло кому бы то ни было.

– Я предлагаю то единственное, что может предложить разумный человек: союзные правители, в помощь Деникину и Колчаку, должны предписать маршалу Фошу двинуть войска против большевиков. И еще лучше, предписать это сделать немцам: они у нас большевиков посадили, пусть они их и свергают. И, поверьте, большевики трясутся от ужаса: только этого они и боятся.

– Да ведь это невозможно!.. А если все вы, *les ci-devant*, так думаете, то я не сомневаюсь, что союзники будут очень рады: они только и хотят, чтобы вы отклонили их предложение.

– Может быть, они будут рады не очень долго, – ответил Алексей Алексеевич. – Впрочем, хороша теперь и их собственная трогательная дружба.

Действительно, маленьким, очень маленьким утешением для него было то, что союзники уже все ненавидели друг друга. По Парижу ходили рассказы: Клемансо больше не раскланивается с Вильсоном. Соннино называет президента Соединенных Штатов «американским сапожником». На заседании Трех «Отец Победы» назвал Ллойд-Джорджа лгуном, а Ллойд-Джордж чуть ли не схватил его за воротник, потребовал извинений, так что Вильсон, почти одинаково ненавидевший обоих, еле их разнял; французский премьер отказался принести извинения английскому премьеру, но выразил полную готовность дать ему удовлетворение, по его выбору, на шпагах или на пистолетах (это очень понравилось Тонышеву). Со смехом говорили о мерах, принимавшихся в Париже иностранными полициями к охране своих высокопоставленных особ: хватали всех, чьи лица казались подозрительными. Так американские сыщики, уж совершенно никого в Европе не знавшие, приняли Клемансо за анархиста и арестовали его у входа в отель «Крийон»; а их товарищи, по той же причине, задержали в холле «Мажестика» маршала Фоша, явившегося в штатском платье на завтрак к начальнику британского генерального штаба.

⁸¹ Нельзя иметь такое имя – Али-Мардан-бек! (*франц.*)

Все эти рассказы очень веселили Париж и еще способствовали радостному оживлению. Об условиях мира никто в населении не думал. Важно то, что войны больше никогда не будет. С удовольствием узнавали о создании новых государств и спрашивали друг друга, какие у них столицы и есть ли у них уже гимны. Тем не менее французам нравилось, что «Отец Победы» покрикивает на представителей малых стран; орал на Венизелоса в споре о греческих делах, обвиняя его в непонимании и в невежестве. Клемансо, особенно после покушения на него анархиста, был на вершине популярности. Все знали, что он будет президентом республики, и только с тревогой спрашивали, сохранит ли он свои умственные способности до конца президентского срока: все-таки ему тогда будет уже под девяносто лет. Кое-кто по этой причине нерешительно предлагал кандидатуру Поля Дешанеля. В общем оживлении невольно принимали участие и русские. Некоторые из них, еще имевшие дипломатический паспорт и связи, иногда получали приглашения на приемы. Мог бы добиться приглашения и Тонышев, но он ничего для этого не сделал и почти ни у кого из иностранцев больше не бывал.

Уже после подписания мирного договора, в посольстве, где по-прежнему без большого дела собирались видные люди, он встретил знакомого политического деятеля, только что приехавшего из России кружным путем через Японию и Соединенные Штаты. Тот после доклада крепко пожал ему руку и выразил сочувствие.

– В чем?.. В чем?.. – спросил Алексей Алексеевич, бледнея. Знакомый удивленно на него взглянул и пожалел о своей оплошности.

– Да я слышал... О брате вашей жены... Я не думал... Может быть, я и ошибаюсь?..

– Что такое? Ради Бога, скажите правду!.. Мы ничего не знаем!

Он узнал, что Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна в Москве покончили с собой.

VI

Ласточкиным было сказано, что оставаться в клинике можно «сколько понадобится», но это были слова неопределенные. Разумеется, их не гнали, их по-прежнему очень хвалили врачи и сиделки. Но они сами понимали, что оставаться без конца нельзя. Недели через три Скоблин, встретившись в коридоре с Травниковым, пригласил его в свой кабинет. Никита Федорович испуганно на него взглянул: давно ждал неприятного разговора. Вышло все же не так плохо. Хирург сказал, что необходимо перевести Дмитрия Анатольевича из отдельной комнаты в общую палату и просил его к этому подготовиться:

– ...Вы сами понимаете, как обстоит дело. Я уже, разумеется, отказал по крайней мере десяти человекам, находящимся в таком же положении, как он. Все московские больницы битком набиты людьми. А отдельные комнаты теперь уж величайшая редкость. В прежние времена, до *них*, это было отчасти связано с денежным вопросом, и больные рассматривали перевод в общую палату как какое-то понижение в чине. Но теперь все бесплатно, в этом я отдаю *им* справедливость, так что вопрос уж совершенно не в этом. Дмитрий Анатольевич вне опасности. Лучшим его положение вряд ли станет. Уход в общей палате точно такой же. Я обхожу всех больных каждый день. Кроватей в палате, разумеется, только восемь.

– Значит, в общей палате они могут оставаться сколько угодно?

Скоблин развел руками.

– «Сколько угодно»! Разве теперь можно заглядывать хоть на месяц вперед. Меня и самого могут выставить в любую минуту. Удивляюсь, как не выставили до сих пор... Татьяна Михайловна никогда с вами о «будущем» не говорила?

– Говорила о возвращении домой. Им оставили две комнаты. Тоже могут в любую минуту одну отобрать.

– Две комнаты огромное преимущество. Во всяком случае ей было бы удобнее, чем спать на диванчике.

– Если есть что, о чем она, несчастная, совершенно теперь не думает, то это о *своих* удобствах!

– Да, я понимаю. Она очень достойная женщина. Но в общей палате она, разумеется, оставаться на ночь не может... Они, помнится, во втором этаже живут?

– Во втором.

– Разумеется. Костыли и повозочка есть, но о том, чтобы он спускался по лестнице, нет речи. В первое время мы могли бы посылать служителей, чтобы они его сносили вниз. Впрочем, и не такая радость ездить в повозочке по улицам... Как знаете. По-моему, лучше ему полежать, пока можно, в общей палате. Жить же ему, разумеется, не очень долго, как, впрочем, и нам всем. Жили и померли, и ничего такого нет. Разве вам, Никита Федорович, страшно?

– А вам нет? – сердито спросил Травников.

– Разумеется, нет.

Татьяна Михайловна мучительно колебалась. Ей казалось невозможным уходить от мужа на ночь. Решил вопрос сам Дмитрий Анатольевич.

– Давно пора вернуться!.. И не надо откладывать! – прошептал он еле слышно, но решительно.

Металлическая мыльница находилась дома. «Да если б была и здесь, то как же можно это сделать в общей палате?» Он думал о самоубийстве с каждым днем больше и только с ужасом поглядывал на жену. «Что я ни сделал бы, *один* из жизни не уйду».

Было решено переехать через два дня. Точно чтобы их утешить, Скоблин разрешил Татьяне Михайловне читать вслух мужу:

– Разумеется, часика два-три в день, не больше. И не газеты, а книги, и такие, которые не могли бы его волновать, – сказал он и сам принес бывший у него в кабинете том Пушкина. Дмитрию Анатольевичу и не хотелось слушать, но это было морально легче, чем разговаривать или молчать с женой. Сначала он только делал вид, будто слушает. Затем стал вслушиваться.

– Какая у него... мудрость, – еле слышно выговорил он. – Всем надо учиться... Да, именно «благословен... и тьмы приход»... – Он вспомнил эту музыкальную фразу Чайковского, всегда сильно на него действовавшую, и незаметно смахнул слезу. Руки у него уже работали сносно. «Чтобы проглотить, сил хватит...» И тотчас та же фраза отозвалась в памяти Татьяны Михайловны.

Его перевезли домой в карете в сопровождении младшего врача и сиделки. Служители подняли его в квартиру. В передней подростки молча смотрели на него, как на диковинку. Доктор обещал навещать часто. Сиделка обнялась с Татьяной Михайловной и сказала, что будет приходить каждый день. «Скоро будете, Дмитрий Анатольевич, совсем в порядке», – обещал врач. Приехал и Никита Федорович с какой-то едой. Он посещал Ласточкиных ежедневно, и, как их ни любил, уходил от них всегда с облегчением.

Они остались одни. За стеной шумели подростки. «Верно, обмениваются впечатлениями», – подумал Дмитрий Анатольевич. Жена подошла к нему, спросила, удобно ли лежать, было ли лучше в клинике. Он чуть наклонил голову и глазами дал понять, что хочет поцеловать ей руку. Чувствовал к ней все большую жалость. «Господи! Если б не она, как было бы просто!.. Ведь выходит: почти убийство...»

Как ни худо было в клинике, дома оказалось неизмеримо хуже. Быть больным в Морозовском городке казалось естественным. Вернее, там все пациенты жили искусственной, *временной* жизнью. В определенные часы приходили врачи и сиделки, измеряли и записывали температуру, давали лекарства, делали впрыскивания. В случае надобности можно было немедленно вызвать дежурного врача. Он тотчас делал необходимое и действовал одним своим успокоительным видом. В определенные часы приносилась больничная еда, о ней заботиться не приходилось, и она была все же несколько лучше той, которую можно было достать дома. – Теперь была *окончательная* жизнь, и все лежало на Татьяне Михайловне.

Она уходила на час или два и кое-как доставала еду. Весь остальной день сидела так же при муже. По-прежнему приезжал Никита Федорович и говорил одно и то же: «Вид нынче у вас прекрасный. Вот видите, барынька, поправляется богдыхан! Ведь и более больше почти нет...» Просил не беспокоиться о деньгах. Между тем совершенно не знал, где их достать. Об университетской пенсии говорить не приходилось. Дмитрий Анатольевич прочел всего одну лекцию. Все же Травников немного надеялся, что могут, ввиду исключительных обстоятельств, дать единовременное пособие, и искал хода к народному комиссару. Татьяне Михайловне ничего об этом не говорил. Провожая его в переднюю, она благодарила, иногда со слезами:

- Вы относитесь к Мите просто как родной брат. Век буду жить – не забуду!
- Полноте, барынька, – отвечал он и думал, что едва ли она будет «век жить».

Знакомые говорили о Дмитрии Анатольевиче: «Он несет свой крест с великим достоинством». Это до него доходило. «Да, крест, – думал он. – Но откуда же взяться великому достоинству? Живу милостыней... А эти грязные ужасные заботы о моем обрубленном теле, об его отправлениях!..» Теперь и жизнь после октябрьской революции, его прогулки по старой Москве – все казалось ему чуть не раем.

VII

«Каждое поколение занимает в истории человечества приблизительно одну сотую ее долю», – думал Дмитрий Анатольевич. Устало проверил: «Да, приблизительно одну сотую... Едва ли было когда-либо поколение, подобное нашему. Мы как-то отвечаем за полвека истории. Виноваты? Да, вероятно, но в чем? И что же я и лично сделал уж такого дурного? Жил честно, никому не делал зла, по крайней мере умышленно или хотя бы только сознательно. Работал всю жизнь много, помогал работать и жить другим, старался приносить пользу России. За что же именно меня так страшно покарала жизнь? Правда, покарала лишь под конец. До того и я, и Таня были счастливы, на редкость счастливы. Неужто именно за это покарала? В России теперь почти все несчастны, но не все и не так несчастны, как мы. А в других странах счастливы тысячи, миллионы людей хуже, чем *был* я, неизмеримо хуже, чем Таня».

Против его воли, он замечал, в его душу прокрадывалось то, что называли ядом материализма. «Что же делать, как *они* ни гнусны, но кое-что у них правильно, по крайней мере в отрицательной части их ученья. Как можно было бы объяснить мое несчастье с религиозной точки зрения? Никак нельзя: не «испытанием» же! А с точки зрения нашего учения? Какое же было наше ученье? Лавров, Михайловский, Плеханов, Милуков? Ведь, со всеми различиями между ними, они в каком-то смысле одно и то же. Вера в прогресс? Эта вера моего случая не предвидит и к нему не относится. Большевики, по крайней мере, откровенно думают: личность не имеет значения, пропал человек, ну и пропал, какое кому дело? И так оно и есть: никому, кроме Тани, до меня никакого дела нет. И даже Травников уже, вероятно, немного нами тяготеет и в душе, бессознательно, желает, чтобы я умер поскорее, а то слишком много забот... Нет, несправедливо и гадко так думать, я знаю. Но чем же я виноват, если этот яд уже проникает в мою душу, как, верно, проникает в душу всех. Разве недавно люди не мечтали при мне вслух о германской интервенции, о войсках Гинденбурга в Москве! Мне теперь и Гинденбург ничем помочь не мог бы... И никакой свободный строй... Но все-таки, вдруг все-таки есть загробная жизнь? Ах, дай-то Бог!!! И как же я об этом, о самом главном думаю так мало!»

Ему не раз приходилось читать, будто люди на пороге смерти, например смертельно раненные в сраженьи, думают необычайно напряженно, в какую-нибудь одну минуту вспоминают всю свою жизнь. С ним в день несчастья этого не было. Тогда на мостовой он мгновенно потерял сознание. Затем в клинике как будто на мгновение пришел в себя, как будто даже узнал Скоблина, и скользнула мысль: «Хорошо, что он здесь... Кажется, со мной несчастье... Где же Таня?..» Слышал негромкие голоса, слов не разобрал. «Не операция ли!..» Успел еще подумать, что, быть может, в жизни больше ничего не увидит, кроме этого серого потолка с люстрой, с режущим глаза светом. Показалась рука в белом рукаве. «Анестезист!» И все померкло. Он пришел в себя лишь в маленькой комнате клиники. Но твердо помнил, что никаких воспоминаний о жизни, никаких важных мыслей, ни даже желанья что-то вспомнить, о чем-то думать у него на операционном столе не было. Не было их и в первые дни после ампутации ног, когда он понял, что навсегда стал калекой, обрубком.

Мысли о самом важном пришли позднее. Теперь он больше всего думал о *будущем*. «Если в самом деле есть будущее? Ведь в это твердо верят миллионы людей!» Думал и о настоящем, меньше о прошлом. Думал о житейских делах. Он догадывался, что Никита Федорович не мог выручить за картину три тысячи. Догадывался, что для него собирают деньги. В первую минуту это причинило еще новую душевную боль. Представил себе, как ходит по знакомым Травников, как некоторые дают, другие отказывают, быть может, ищут предлога для отказа: «У меня, к несчастью, у самого сейчас очень мало»... «Я сердечно сочувствую, они хорошие люди, но кругом так много горя, а я ведь их и мало знал». Особенно больно ему было за жену: «И через это прошла!..»

«Что ж, я, когда мог, немало помогал людям», – тяжело дыша, отвечал он себе, не решаясь взглянуть на сидевшую рядом жену. Не хотел сказать ей, – «может, она не догадывается?». Если она прежде и не догадывалась, то теперь точно прочла его мысли, по той же все усилившейся между ними телепатии. И он прочел ее слова, почти такие же: «Сколько ты сделал для других! Чем мы лучше? И мы все отдадим, когда падут большевики». Он теперь твердо знал, что не доживет не только до падения большевиков, но и до будущей недели: беспрестанно думал, что нельзя откладывать *дело*: «Чем скорее, тем лучше и легче». И еще подумал: «Мы не отдадим, но Аркаша отдаст. И действительно *теперь* это уже и неважно».

Когда-то, еще до войны, Ласточкин решил составить завещание. Сказал об этом жене, та отнеслась к его решению иронически:

– Самое неотложное дело! Перестал бы ты думать о пустяках!

– Вовсе это не пустяки. Все под Богом ходим. Мало того, надо и место нам купить на кладбище. Это многие делают.

Мысль о покупке общего места на кладбище была ей менее неприятна, но она продолжала шутить:

– Хорошо, тогда и я составлю завещание. Ты ведь мне подарил немало денег. Только я завещаний составлять не умею. Составь сам. Разумеется, в свою пользу. Так и быть, все отдам тебе, а не душе Собинову и не футуристам.

– Я тоже не знаю, как составляются завещания. Приглашу Розенфельда, – сказал Дмитрий Анатольевич. Это был его деловой адвокат и их приятель.

Адвокат одобрил мысль о двух завещаниях.

– Каждый из нас обязан об этом подумать. И я подумал, хотя я лишь ненамного старше вас. Помню, что мне говорил мой знаменитый коллега, покойный Спасович: «Я понимаю, что можно без завещания умереть, но не понимаю, как можно без него жить», – смеясь, сказал Розенфельд.

– Это верно. Ну, а если б, Олег Ефимович, я умер без завещания? Кому тогда все достанется? Моей жене?

– Нет, ей только часть. Ведь могут быть и другие наследники по закону.

– Тогда составим два завещания.

Они и были составлены. Ласточкин поделил треть своего состояния между Московским университетом, Техническим училищем и Академией наук, две трети завещал жене: она все завещала ему. Они побывали на кладбище и приобрели два места.

Теперь у него ничего не было. Отпали и прежние законы. Можно было только надеяться, что после освобождения России завещание будет признано действительным. Имея это в виду, Ласточкин мысленно составил письмо Рейхелю. Просил его «когда будет можно» уплатить его долги, о которых ему скажет профессор Травников, – знал, что его воля, при безукоризненной честности Аркадия Васильевича, будет непременно исполнена.

Никита Федорович пришел в обычный час. Принес, как почти всегда, подарок, и дорогой: кусок белого хлеба. Татьяна Михайловна обычно пользовалась его приходом, чтобы выйти из дому за покупками: не хотела оставлять мужа одного. Ласточкин продиктовал Травникову письмо. Тот смущенно увидел упоминание о долгах и что-то, растерявшись, пробормотал.

– Какие долги! Может, будут, но пока их нет. Увидите, я и пенсию вам выхлопочу. – Сказал он и пожалел, что сказал. – Пенсию от университета, – поспешно добавил он. Безжизненное лицо Ласточкина чуть дернулось: «Получать и от них милостью!» Он ничего не ответил.

– Еще к вам... просьба, – прошептал он. – Не привезете ли мне... книг... Из университетской библиотеки?

– С большим удовольствием. Но у вас так много своих. Неужели все прочли?

– Я всегда читал... то, что покупал, – выговорил он и подумал, что это было некоторым преувеличением. «И перед... этим... не вся правда». Кое-как объяснил, что хотел бы *теперь* прочесть лучшие философские книги о смерти.

Никита Федорович сердито запротестовал. Но обещал завтра же все принести. Вернулась Татьяна Михайловна, быстро взглянула на них и поправила мужу подушку.

На следующий день Травников привез книги Платона, Шопенгауэра, что-то еще.

– А все-таки читайте их поменьше, – сказал он неохотно. – Они утомительны, да и ни к чему.

После его ухода Татьяна Михайловна стала вслух читать «Федон». Ласточкин слушал внимательно, но в самом деле скоро утомился.

– Кажется, Никита Федорович был прав... Отложим это... Почитай мне лучше... вечного утешителя... Толстого.

– «Войну и мир»? – радостно спросила Татьяна Михайловна.

– Нет... «Смерть Ивана... Ильича».

– Ради Бога, не надо! Это такая страшная книга!

– Прочти, пожалуйста... И не с начала... Конеч. Болезнь и смерть... Ну, пожалуйста...

Татьяна Михайловна начала читать. Скоро она заплакала.

– Не могу... И ведь это совершенно не похоже на то, что с тобой. Ты, слава Богу, не умираешь, и нет у тебя этих страшных болей...

– Конечно, нет... Хорошо... Тогда потуши лампу... «Он думает: «все было не то»... И я так думаю, и, верно, очень многие другие. Да, «не то». Но что же «то»? Этого Толстой не объяснил, и нечего ему было ответить... В конце сказано: «Вместо смерти был свет... Какая радость!»... Нет света и нет радости. Но ведь не мог же Толстой лгать... Он был полубог. Иван Ильич три дня подряд кричал от боли ужасным непрекращающимся криком... И я буду так кричать?.. Нет, не хочу. Насколько разумнее покончить с собой! – думал Ласточкин. – Только поскорее!..» В этот вечер он сказал жене о металлической мельнице.

VIII

Все было тщательно обдуманно. Обдумывалось уже второй день.

Накануне еще приводились доводы. Татьяна Михайловна почти не спорила. В душе была с мужем согласна: действительно другого выхода нет. Понимала, что долго так жить нельзя. «И нельзя, и незачем», – шептал Дмитрий Анатольевич. Вдобавок профессор Скоблин в разговоре с Татьяной Михайловной проговорился. «*Непосредственной опасности я не вижу. Я знаю людей, которые с такими увечьями живут уже несколько лет*», – сказал он. И на доводы мужа Татьяна Михайловна теперь с искаженным лицом только шептала:

– Но ведь *это* никогда не поздно...

– Может быть, и поздно. Даже в менее важном... Пока мы честные люди... А если... если будем жить их милостыней... То деградируем, как все, – сказал Ласточкин и вспомнил о «теории самоубийства», которую приписывали Морозову: самоубийство всегда для человека – самый достойный способ ухода. «Он так думал в то время, что же он сказал бы теперь, в моем положении? Хорошо, что достал тогда яд. Без него было бы трудно: газ открыть – взорвется весь дом. И заметят жильцы, закроют, будет лечение, грязь, мука...»

Когда решение было принято, обоим стало немного легче. Вернее, они скрывали друг от друга ужас и нестерпимую боль. Говорили *спокойно*. Дмитрий Анатольевич говорил, что смерть от цианистого калия наступает мгновенно, без мучений. Татьяна Михайловна отвечала, что не беда, если мученья продлятся несколько минут: при естественной смерти бывает неизмеримо хуже. *Деловито* обсуждали подробности. Написать ли Никите Федоровичу?

– По-моему, не надо.

– Да, это могло бы привлечь к нему внимание властей.

– Именно... Его вызывали бы...

– Все-таки не написать ничего, это было бы ему обидно. *Мы* стольким ему обязаны.

– Это так... Что ж, попробуй... Напиши...

Она попробовала, начала писать: «Дорогой друг, Никита Федорович. Нам тяжело причинять вам горе, которое...» Но махнула рукой и, несмотря на деловитость, вдруг заплакала. Горе Никиты Федоровича было ничто по сравнению с мукой этого последнего дня их жизни. Слезы полились и у Дмитрия Анатольевича. Она налила ему воды из графина, налила и себе.

– Из этих самых стаканов, – сказала Татьяна Михайловна уже опять «спокойно». «Господи, зачем мы ждем? Сейчас, сейчас, сию минуту!»

Было решено покончить с собой в одиннадцатом часу вечера, когда лягут спать жильцы. Они могли бы что-либо услышать, заглянуть, позвать врача, полицию. Ласточкин знал, что цианистый калий легко разлагается: если хоть немного разложился в мельнице, то и смерть наступит не сразу.

– Пусть лучше узнают завтра. Сиделка зайдет и увидит. Она знает адрес Никиты Федоровича, – говорила Татьяна Михайловна. – И он поймет, почему мы не написали. Не пишем ведь ни Люде, ни Нине, ни Аркаше... А вот властям надо написать несколько слов. А то еще подумают, что нас отравили!

– Ах, да! – сказал Дмитрий Анатольевич и почему-то очень взволновался. – Непременно!.. Я тебе... продиктую.

Задыхаясь, он продиктовал записку:

– «Не надо искать... виновных... Это – самоубийство... В стаканах... в мельнице, на... ложечке... остатки яда... Все вымыть... Самым тщательным... Убедительно просим... похоронить нас... непременно вместе... Подчеркни «непременно».

Оба заплакали.

– Подпиши, дорогая.

– Мы пропустили «образом». Самым тщательным образом... И за тебя подписать.
– За нас обоих... Все было... за нас обоих... Нет, лучше, я тоже... А то подумают... ты меня убила, – сказал он и постарался улыбнуться; вышла страшная гримаса
– Тогда я достану твои очки, – из последних сил сказала Татьяна Михайловна.
– Найди, пожалуйста... Нет, дай мне твои. У нас ведь... один номер... Даже номер очков... был общий. Так... Спасибо...

Она положила свою записку на том Платона и, придерживая ее на переплете, поднесла ему с пером. Он вывел: «Дм. Ласточкин»; по привычке вывел даже росчерк, который делал столько лет на бумагах.

– Теперь в порядке... Не подумают... что ты меня убила... На самом деле... я тебя убил, милая, дорогая моя, – прошептал он. И слезы снова покатались по его щекам.

– Не говори, ни слова не говори!.. Обо всем поговорили, нет другого выхода... Это я тебя убила... Тогда... Трамвай. – Она теперь задыхалась почти как муж. – Митя, Митенька, выпьем сейчас.

Он чуть наклонил голову.

– Да.

– Сейчас? Сию минуту?

– Сию минуту.

Она быстро подошла к столу, открыла мыльницу и высыпала яд в стаканы.

– Я высыпала... пополам.

– Пополам... Достаточно на... сотню людей... Размешай... Хорошо размешай.

Стараясь не дышать, она размешала. Почувствовала миндальный запах. Расширенными глазами он следил за ней.

– Размешала?

– Размешала. Не все растворилось.

– Это неважно... Положи записку на стол... Положи на нее часы... Так... Теперь... в последний раз...

Она поставила оба стакана на ночной столик и обняла его.

– Ну, вот... Прощай. Митя... Прощай, мой ангел...

– Прощай, милая... Золотая... Прости меня, прости за все...

– Не за что... Ты меня прости... Сейчас, а то не хватит сил...

– У тебя глаза... Точно такие... Какие были... тридцать лет тому назад... Прощай, дорогая... Нет, до свиданья... Есть вечная жизнь.

– Есть... Есть... Не может быть, чтоб не было. До свиданья, Митя, мой Митя.

IX

Всю зиму 1921–1922 годов Ленин чувствовал себя нехорошо. Врачи качали головой: сосуды в очень плохом состоянии, сильный склероз. Советовали поменьше работать и в особенности поменьше волноваться. Он смотрел на них с усмешкой, но согласился уезжать иногда на отдых. Было выбрано имение Горки, принадлежавшее до революции вдове Саввы Морозова.

Оно понравилось Ленину: хорошо устраивались буржуи. Впрочем, дом был не очень роскошный: двухэтажное здание с шестью колоннами, в высоту обоих этажей, с балюстрадой, с несимметричными пристройками слева и справа. Был парк. Ленин велел устроить электрическое освещение. Выбрал себе комнату, – вместе спальную и кабинет. В ней был хороший письменный стол, – такой, о каком он мечтал за границей, с пятью ящиками, – пожалуй, такого у него не было и в Москве: в Кремле он поселился в самом скромном помещении. Другие сановники тоже устроились там скромно, – это было лучше: часто принимали «представителей рабочих, крестьянских и общественных кругов», – те всегда назывались именно «представителями», – так уж повелось с очень давних времен. Зато многие сановники облюбовали себе для отдыха великолепные княжеские подмосковные, – туда «представители» не приглашались. Ленин же исторических подмосковных не хотел. Горки были от Москвы всего в тридцати пяти километрах, люди могли ездить к нему и туда, и он от них не скрывал: да, утомлен, врачи велют отдыхать, как прежде буржуи, ничего не поделаешь.

Ездили к нему и сановники, делали доклады, он слушал внимательно, но с меньшим вниманием, чем прежде, без прежнего страстного интереса, – сам этому удивлялся с очень неприятным чувством. Впрочем, иногда еще приходил в бешенство. Раз, прочитав в газете какое-то заявление Чичерина, с яростью написал в Москву (даже без «совершенно секретно», зато с «очень срочно»): «Отправьте Чичерина в санаторию». Впрочем, это приказание было символическим: надо было, чтобы виноватый народный комиссар понял весь его гнев (иногда и он дружески советовал усталым подчиненным поехать куда-нибудь отдохнуть). Но ему и в голову не могло прийти отправить *большевика*, даже грешного, в ссылку, в тюрьму или в застенки Лубянки. Такая мысль показалась бы ему дикой: ведь они были не просто какие-то люди, а большевики, его сподручные, помогавшие ему создать партию.

Из посещений сановников ему доставляли удовольствие приезды Пятакова. Его докладами тоже не восхищался и ставил его лишь немногим выше, чем большинство своих сотрудников: почти всех считал болванами и горестно удивлялся тому, что так мало у него настоящих людей. Но лично Пятакова да еще Бухарина «любил», хотя и их часто очень ругал. Главное же: Пятаков был прекрасный пианист и, по его просьбе, целый вечер играл ему Баха, Бетховена, Шопена. Он наслаждался, – новую музыку терпеть не мог. Велел прислать в Горки собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Толстого, – вероятно, это вызвало в Кремле общее изумление. Читал тоже с наслаждением и сожалел: наше дурачье так не пишет.

С гораздо меньшей злобой он думал о старой России вообще. Вспоминал свое детство в Симбирске, их дом, Волгу, деревню, и, как всем пожилым, особенно больным, людям, ему казалось, что тогда он был гораздо счастливее, чем теперь. Случалось, приезжавшие к нему гости осматривали дом и парк, насмехались над дворянчиками-помещиками, угнетавшими до их революции народ. Он хмуро говорил, что сам вышел из дворянства – и не он один. Думал, что не так хорошо живется народу и при них. Этого не говорил, но гости смущенно умолкали.

Иногда он ездил по соседним селам и разговаривал с крестьянами. Расспрашивал их, как они живут. В этом было что-то от прежних либеральных помещиков, и, должно быть, он сам это чувствовал, хотя, как и помещики, верил, что мужики говорят ему правду. Они смотрели на него испуганно, старались угадать, что нужно барину, жаловались на дела, стараясь все же не слишком поносить бурмистров: еще осерчает. После таких поездок он возвращался домой

в угрюмом настроении. Стоявшее в кабинете-спальне трюмо отражало бледное, очень усталое лицо. Он старался не смотреть в зеркало: знал, как изменился и состарился.

То, что голодала прежняя буржуазия, разумеется, могло быть ему только приятно. Нисколько не жалел он и интеллигенцию – она незаметно с буржуазией сливалась, так что иногда и различить было нельзя. Но лишения крестьян были другим делом. И уж совсем тяжело ему было то, что в еще худшей нищете, чем при старом строе, жили рабочие, тот самый пролетариат, о котором он говорил и писал всю свою жизнь. За исключением небольшого числа добравшихся до власти выходцев, рабочие действительно помирали с голоду, – прежде эти слова были все-таки лишь очень хорошим фигуральным выражением в полемике. Разумеется, можно было уверять, что это временно, что скоро они будут жить превосходно. Но их положение все ухудшалось, и они сами больше в будущий земной рай не верили. Он еще продолжал что-то твердить об исторической миссии пролетариата, но эти слова, вообще означавшие немного, теперь превращались в насмешку над собой. Вдобавок, выходцы из «рабоче-крестьянской бедноты» на работе оказались не лучше, а хуже, чем большевики, вышедшие из буржуазии. Кухарка, оказывалось, не умела править государством.

Экономическую политику пришлось изменить. Он не мог не понимать, что это значило признать свою собственную ошибку: правы оказались враги, – их тем не менее нужно было по-прежнему всячески поносить. Разумеется, он, как всегда, *посоветовался* с Карлом Марксом и, тоже как всегда, Маркс поносил его врагов и очень одобрял нэп. Ленин мог думать, что таким же нэпом все и кончится. Колоссального резервуара потенциальной энергии, открытого в восемнадцатом веке Французской революцией, хватило для очень больших дел – и он привел к религии Наполеоновского кодекса. Такой же религией десятого тома царских гражданских законов, торжеством идеи частной собственности, вероятнее всего, хоть и не скоро, могла кончиться и советская революция.

15 мая 1922 года ему представили на рассмотрение проект нового уголовного уложения, – последний законопроект, который он видел до болезни. Он рассмотрел и внес поправку: надо расширить применение смертной казни за контрреволюционную деятельность. Через десять дней с ним случился удар, правда, относительно легкий. У него отнялась правая рука и расстроилась речь.

Переполох в Кремле вышел большой. Люди и прежде, конечно, замечали, что Ильич как будто чувствует себя нехорошо, очень устал. Но слово «удар» всех потрясло: что, если кончен? Что тогда – или, вернее, *кто* тогда? Начиналась новая эра. Сановники допрашивали врачей и сообщая, и порознь. Врачи отвечали скорее уклончиво; говорили, что есть надежда на выздоровление.

Происходили секретные и секретнейшие совещания. Возможные преемники усердно работали в свою пользу. Обсуждались главные кандидаты: Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев, Рыков, Бухарин. Первых трех все ненавидели, даже многие их «сторонники». Кое-кто втихомолку говорил, что для должности главы правительства не очень удобны евреи и грузины. Быть может, на Каменеве все-таки сошлись бы. Еще легче на Рыкове. И все понимали: кто бы ни был посажен, падение – после Ленина – будет огромное, очень опасное.

Вождя больше не было. Ленин был всемогущ, перед ним склонялись беспрекословно, почти безропотно: Ильич! Его и прежде некоторые считали гением. Назвал его гениальным и человек противоположного лагеря, царский министр Наумов, просидевший с ним несколько лет на одной гимназической парте в Симбирске. Действовал на людей и гипноз. Теперь большевистские сановники, кроме Сталина и Троцкого, его боготворили, хотя не было среди них ни одного, которого он, в тот или другой момент, не осыпал грубой бранью. Каменев и особенно Бухарин на заседаниях не сводили с него влюбленных глаз. Теперь предположения (всегда начинавшиеся со слов «если» – если Ильич не поправится) склонялись к тому, что должен

править «коллектив». Выбрать несколько человек было много легче, чем выбрать одно лицо, но это было очень трудно.

Троцкого и в коллектив сажать никто не хотел: да, прекрасный оратор, хороший, хотя и раздутый искусной саморекламой, организатор, но большевик с 1917 года, прежний враг Ильича, честолюбец, фразер, шарлатан, невыносимый человек. Разумеется, он это знал: понимал, что ни в какие коллективы не пройдет, и его злоба все росла.

Сталина особенно поддерживали именно те, кого он впоследствии погубил. Поддерживали преимущественно для того, чтобы не нажать очень опасного врага, – партийный аппарат. Но втихомолку говорили, что Ленин, когда-то его открывший и долго к нему благоволивший, в последние годы очень его невзлюбил. Со слов Крупской кое-кто грустно шепотом сообщал, что Ильич собирается публично порвать со Сталиным личные отношения. Все втайне на это надеялись: это означало бы конец сталинской карьеры.

Комбинации коллектива менялись. Кандидаты с бо́льшей или меньшей откровенностью считали себя совершенно необходимыми и обычно называли еще двух человек, менее им ненавистных, чем другие. Не-кандидаты говорили, что, собственно, коллектив существует с первых дней революции: Политбюро, – зачем же устраивать еще что-то новое? Другие высказывали мнение, что коллектив должен назначить сам Ильич, – но как с ним теперь об этом заговорить?

Говорить было незачем: Ленин и сам об этом достаточно думал. Сознание почти его не покидало. Крупская, еле сдерживая рыдания, учила его говорить: «Ре... во... Так, так, во. Правильно!.. лю... Совершенно правильно!.. люция... Ну, да, революция! Молодец, Володя! Bravo! Огромный успех! Увидишь, скоро все пройдет!..» Успех в самом деле был: способность речи понемногу вернулась.

Он снова стал работать. Как прежде, председательствовал на правительственных заседаниях, но *не так*, как прежде. Народные комиссары смотрели на него испуганно.

Несмотря на все запрещения и протесты врачей, он решил выступить на Четвертом конгрессе Коминтерна.

Бесчисленная толпа в зале встретила его долгой бурной овацией, небывалой и среди многих оваций революции, вдобавок совершенно искренней (что случалось редко). Наконец, оркестр заиграл «Интернационал». Все запели. Он делал вид, что поет, – выходило непохоже. Музыка кончилась. Загремела новая овация. Медленно, с усилием, толчками, он стал поднимать дрожащую левую руку. В зале мгновенно установилась мертвая тишина. Он «заговорил»: сначала тихо, с большими перерывами, произносил отдельные слова, потом стал произносить их громче, быстрее, – вдруг его голос превратился в еле слышный шепот и оборвался. Клара Цеткин, которую он еще не очень давно назвал в письме «мерзавкой», бросилась на эстраду и поцеловала ему руку. Он посмотрел и на нее безжизненным взглядом, махнул левой рукой и, сильно шатаясь, направился к лесенке.

Через месяц произошел второй удар. И врачам и сотрудникам и ему самому стало ясно, что дело идет к концу. Отнялась вся правая часть тела. Пришлось допустить сиделок. Прежде он решительно от них отказывался и старался все делать левой рукой. Но сознание у него осталось, и это было самое ужасное. Он вызвал секретарей и составил свое знаменитое завещание.

Иные исторические деятели ничего не имели против того, чтобы их преемниками становились люди незначительные: для *дела* (если дело было) это было, конечно, нехорошо, но для их собственной славы в потомстве очень выгодно, как фон. У него этого чувства не было. Он старательно обдумывал достоинства и недостатки других вождей. Были более или менее подходящие люди, но не видел ни одного, кто мог бы его заменить. Наиболее выдающимися были Троцкий и Сталин. Он отметил в завещании их достоинства и недостатки. Удивительно, что главный недостаток Сталина он видел в грубости. Смутно догадывался, что именно к этому человеку перейдет вся власть. Эта мысль была чрезвычайно ему неприятна и даже страшна.

Знал, однако, что и Троцкого все терпеть не могут. «Нет людей, никого нет, некому оставить дело!»

Вскоре после этого на заседании Политбюро, где были Троцкий, Каменев и Зиновьев, Сталин сообщил, что Ленин желает покончить с собой: требует присылки ему яда. «Я помню, – рассказывает Троцкий, – каким странным, загадочным, несовместимым с обстоятельствами мне показалось выражение лица Сталина. Просьба, которую он нам передавал, была трагична, между тем по его лицу, как по маске, бродила нездоровая улыбка». У Троцкого возникло подозрение, что никакой просьбы от Ленина не было и что Сталин просто хочет его отравить. Было ли это верно? Сталин мог догадаться, что Политбюро во всяком случае не положится на него одного, пошлет к Ленину других, поедет к нему в полном составе. С другой стороны, позднее, Ленин, уже впав в полуживотное состояние, видя это при проблесках сознания, действительно просил товарищей, гораздо более ему близких, доставить ему яд. Вероятно, тоже из-за смутных подозрений Зиновьев поддержал решительное возражение Троцкого. Дело формально и не обсуждалось. «Поведение Сталина, весь его вид были непонятны и зловещи». Он не настаивал.

Что-то еще произошло: телефонный разговор Крупской со Сталиным. По поручению мужа она обратилась к генеральному секретарю с каким-то запросом. Оттого ли, что он считал Ленина уже полумертвым, или просто потому, что был на этот раз не в силах скрыть свою к нему ненависть, Сталин ответил грубо и оскорбительно. Крупская заплакала и сообщила о разговоре мужу. Ленин пришел в ярость и продиктовал, наконец, записку.

Через четыре дня его разбил третий удар.

X

Теперь все было кончено. Больше он ни в чем не участвовал. Потерял способность речи. «Не мог выразить самой простой примитивной мысли», – говорит профессор Авербах. И очень сердился, что его не понимают. Знаменитые врачи, и русские, и выписанные из Германии больше ничего не могли и посоветовать. Он почти не спал. В Москве ходила глухая молва, будто по ночам Ленин «воет как собака», случайные прохожие в ужасе прислушиваются издали. Вместе с тем сознание и после трех ударов иногда ненадолго восстанавливалось. Жена и сестра находились с ним в Горках безотлучно. Приезжали сановники. Пятаков играл на рояле, и, по его словам, лицо Ленина преображалось и выражало детскую радость.

И вдруг он, к общему изумлению, стал как будто поправляться! Сознание вернулось. Чем было занято? Можно лишь догадываться. Едва ли много думал о далеком прошлом. Его детство было очень счастливым. Не мог пожаловаться и на отрочество, оно было самое обыкновенное, «буржуазное»; в гимназии был первым учеником, любил деревню, ее развлечения, ее радости. Но зачем думать о том, что было когда-то? Не вспоминал и о товарищах юности, тоже было, да сплыло. Едва ли много думал об отдаленном будущем: знал, что далеко заглядывать в будущее никто не может, – мог разве один Маркс?

Вероятно, больше всего он думал о себе, о человеке Ленине, дни которого сочтены. Думал, что оставляет жену одну. Вспоминал Инессу Арманд, – не все было глупо в том, что она порою робко говорила о «моральном начале». Он видел, что принес в мир больше страданий, чем кто бы то ни было другой в истории. Это особенно мучить его и теперь не могло: были готовые и совершенно бесспорные ответы. Да и прежде он не пользовался изречениями о «любви к ближнему» и «любви к дальнему»: не любил ни ближних, ни дальних.

Не могли особенно удручать его и принятые, беспрестанно повторявшиеся в публицистике слова о готтентотской морали. Для Ленина уже больше двадцати лет хорошо и «нравственно» было то, что шло на пользу его делу, партии, пролетариату, а плохо и безнравственно то, что было им во вред. Следовательно, переоценки, кроме чисто словесной, не было. То, что прежде всеми и им самим называлось деспотизмом, злом, безобразием, теперь оказывалось прямо противоположным. Это было в порядке вещей и вытекало из истинного смысла его учения: *говорить* прежде надо было иначе, только и всего. И на него несколько не действовали обвинения в том, что он прежде *говорил* другое: да, разумеется, прежде восхвалял свободу, проклинал гнет, клялся вести борьбу против смертной казни, распинался за идею Учредительного собрания; но только дураки могли не понимать, что теперь все было совершенно иным: к власти пришли он и его партия.

В самый день третьего удара он заканчивал диктовку статьи, которую неуклюже назвал: «Лучше меньше да лучше». Не от нее ли и случился удар? Это последняя написанная им статья. В ней сказано:

«Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвостовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас есть сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительно нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и т. п.»!!

Ему и раньше случалось призывать партию к «самокритике», к борьбе с собственным хвостовством, к проверке собственных действий, к сомнению в «элементах», – под ними, верно, разумел людей. В той «речи», которую он произнес на Четвертом конгрессе Коммуни-

стического Интернационала, тоже были слова: «Надо учиться и учиться». Все же так он отроду не говорил и не писал. Все это – каждое слово – могли сказать и говорили меньшевики, социалисты-революционеры, либералы: именно «лучше меньше да лучше». И как он, самоувереннейший из людей, мог высказать сомнение в том, «что мы хоть что-нибудь знаем»? Значит и *он* не знал? И Карл Маркс не знал? Было ли *это* его настоящим завещанием, а не бумажка с оценкой качеств его помощников? Не было ли и других сомнений?

10 октября он вдруг, ни с кем и ни с чем не считаясь, велел подать автомобиль, сел, тяжело опираясь левой рукой на палку, и, к общему ужасу, велел везти себя в Москву, в Кремль. Там его встретили, как встретили бы привидение. Он вошел в свой кабинет, опустился в кресло, посидел – и вышел.

«Накануне рокового дня Владимир Ильич чувствовал себя вялым, – писал Семашко. – Он проснулся в нерасположении, жаловался на головную боль, плохо ел. Проснулся на следующее утро он также вялым, отказывался от пищи, и лишь по настойчивой просьбе окружающих он съел немного утром, за чаем, и немного за обедом. После обеда он лег отдохнуть. Вдруг домашние заметили, что он как-то тяжело и неправильно дышит».

В шесть часов вечера он потерял сознание. Температура быстро повысилась. Через пятьдесят минут он умер «от кровоизлияния в мозг, вызвавшего паралич дыхания».

Верно, половина человечества «оплакала» его смерть. Надо было бы оплакать рождение.

Послесловие

«Самоубийство» – последнее произведение Алданова. Роман печатался в нью-йоркской газете «Новое русское слово» с 11 декабря 1956 г. по 2 мая 1957 г. Писатель не дождался конца этой публикации: 25 февраля 1957 г. он скоропостижно скончался.

Не случайно, думается, приведен в романе девиз португальского поэта Камоэнса: «Плыть по морям, по которым никто никогда не плавал». Впервые в литературе русского зарубежья Алданов поставил в центр повествования тему: Ленин и Октябрьская революция. К этой теме множество раз обращались в СССР, но книги, прежде всего написанные в годы сталинщины, были деформированы жесточайшей регламентацией, воспринимались как литературные иллюстрации к «Краткому курсу». Алданов полностью разрушает устойчивые стереотипы.

Роман был начат до XX съезда КПСС, набросок одного из фрагментов появился в газете «Новое русское слово» 1 января 1956 г. Но в широком смысле «Самоубийство», несомненно, связано с эпохой разоблачения «культы личности». Хрущевские разоблачения, при всей их бесспорной смелости и огромной важности для судеб страны, трактовали сталинщину как явление случайное, не характерное для гуманной в целом социалистической системы. Алданов же брал тему революции в широком историческом контексте, писал о всесии тоталитарного мышления, о том, что в самом замысле перехода к утопическому справедливому обществу через насилие был нравственный изъян, зародыш будущей исторической трагедии.

Два десятилетия, изображенные в романе, от II съезда РСДРП до смерти Ленина, охватывают три революции и гражданскую войну в России и Первую мировую войну. Но Алданов меньше всего стремился иллюстрировать общеизвестные исторические факты. Его тема – перелом эпох. Перед читателем проходят портреты кайзера Германии Вильгельма II и императора Австрии Франца-Иосифа, одного из крупнейших политиков предоктябрьской России – Витте, миллионера Саввы Морозова. При всем разнообразии человеческих типов у Алданова в них есть нечто общее. Он цитирует одного из придворных Вильгельма: «Я живу в доме умалишенных». Как умалишенные, сильные мира толкали Европу к войне, к самоубийству.

В романе идет речь о самоубийстве трех персонажей, одного реального, Саввы Морозова, и двух вымышленных, супругов Ласточкиных. Но центральная тема – самоубийство России в революции.

Главное действующее лицо романа – Ленин. О Ленине Алданов-публицист писал много раз начиная с 1918 г., с книги «Армагеддон». В «Самоубийстве» он впервые создает его художественный образ. Алданову превосходно удается передать специфические интонации ленинской речи, он рисует революционного вождя в различных ситуациях, в кругу сподвижников и в борьбе с политическими противниками. В очерке «Картины Октябрьской революции» Алданов писал, что Ленин проявил в Октябре «замечательную политическую проницательность (о силе воли и говорить не приходится)»⁸². Эти же черты присущи и Ленину – герою романа. Однако уже на первых страницах звучит: «Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый».

Нетерпимость, по Алданову, роднит революционеров разных эпох, в ней источник их силы; люди одной страсти, мноманы, способны, как никто другой, подчинять себе ход событий. Но нетерпимость – разрушительная, а не созидательная сила, и ее пагубность рано или поздно обнаруживается. Писатель размышляет о герметизме революционного сознания: уметь не помнить о жертвах, о крови, не жалеть ни близких, ни дальних; насильственный ввод людей в царство предполагаемого социализма должен быть осуществлен любой ценой. Эпизод тифлисской экспроприации призван подтвердить авторскую мысль о безнравственности

⁸² «Последние новости», Париж, 1935, 14 сентября.

революционного насилия. В другом эпизоде революционер-кавказец, отошедший от революционной деятельности, вспоминает, как в молодости убил провокатора: «Это не «романтизм»! От меня, революционера, был только один шаг до гангстера». На заднем плане повествования проходят зловещие фигуры Сталина и Муссолини, их исторический час еще не пробил.

В «Самоубийстве» десятки вымышленных персонажей, в их судьбах отражается движение истории. Парное самоубийство супругов Ласточкиных, быть может, самых обаятельных алдановских героев, – кульминационная сцена романа, прообраз гибели русской интеллигенции в революции. Писатель утверждал нравственность самоубийства, когда жизнь становится невыносимой. Но за трагической этой темой звучала непривычная для скептика Алданова тема мажорная и возвышенная: оправдание бытия – в одухотворенной, связывающей на долгие годы любви; любовь сильнее смерти.

Заканчивает роман сильно написанная сцена смерти Ленина. Она разительно контрастирует со сценой добровольного ухода из жизни супругов Ласточкиных. В первой повести Алданова «Святая Елена, маленький остров» Наполеон, подводя итоги прожитого, задается вопросом: «Если Господь Бог специально занимался моей жизнью, то что же Ему угодно было сказать?» В последнем романе Алданов возвращается к этому извечному вопросу. Ответ писателя содержит и оценку содеянного его героем: преступно ради интересного социального опыта жертвовать миллионами жизней, человек живет на земле во имя красоты и добра.

Отдельным изданием роман вышел в Нью-Йорке после смерти писателя, в 1958 г., с предисловием Г. Адамовича. Критик писал, что роман полон живого дыхания, повествовательная манера Алданова никогда не бывала убедительнее и своеобразнее.

Роман «Самоубийство» публикуется по изданию: «*Самоубийство*» – Нью-Йорк, изд. Литературного фонда, 1958.

А. Чернышев